

Роман-газета
7(91)



Л. ЗАЙЦЕВ, Г. СКУЛЬСКИЙ
В ДАЛЕКОЙ ГАВАНИ

ГОСЛИТИЗДАТ

1953

ЛЕОНИД ЗАЙЦЕВ

Леонид Михайлович Зайцев родился в 1909 году в Белгороде Курской области в семье рабочего. В 1926 году по окончании семи классов началась его трудовая жизнь. Работал кочегаром, слесарем. Закончил курсы финансовых работников и несколько лет служил в финансовых органах.

В 1936 году призван в кадры военно-морского флота. С 1948 года и по настоящее время — флотский офицер-политработник. За безупречную долголетнюю военную службу награжден орденом Красной Звезды. В 1942 году принят в члены партии.

Как корреспондент военной газеты в 1945 году принимал участие в войне против империалистической Японии.

С 1938 года систематически сотрудничал в дальневосточных периодических изданиях. С тех пор в печати начинают появляться его литературные произведения (Рассказы «Товарищ», «Старик» и др.).

В годы Великой Отечественной войны напечатал ряд рассказов и повесть «Как это было». В 1947 году во Владивостоке вышла его вторая повесть «На рассвете», а через два года в журнале «Октябрь» опубликован роман «Простор». Это произведение издано отдельной книгой.

В 1950 году совместно с Г. М. Скульским начал работать над романом «В далекой гавани», который впервые напечатан в 1951 году на страницах журнала «Октябрь».

ГРИГОРИЙ СКУЛЬСКИЙ

Григорий Михайлович Скульский родился в 1912 году в Миргороде Полтавской области в семье врача. С 1922 года жил и учился в Киеве. В 1937 году окончил факультет языка и литературы Киевского государственного пединститута. Учительствовал в средней школе. Закончил аспирантуру при Киевском университете, сотрудничал в украинской «Литературной газете».

В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом армейской печати. Был редактором дивизионной газеты. В качестве военного журналиста принимал участие в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды и несколькими медалями.

Около восьми лет (1944—1952) служил в военно-морском флоте в качестве журналиста и политработника. В 1943 году принят в члены партии.

Григорий Скульский начал писать в 1933 году, печататься — в 1936 году. В 1941 году на украинском языке выпустил сборник литературно-критических статей «Судьба героев». В 1944 году напечатал небольшую книгу рассказов «Счастье смелых», а после этого опубликовал еще несколько рассказов о морях.

Роман-газета

7(91)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР. ГЛАВИЗДАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1953

Леонид Зайцев

Григорий Скульский

В ДАЛЕКОЙ ГАВАНИ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Океанский пароход, протяжно гудя, входил в гавань Белые Скалы. Перед взором Высотина раздвигалась панорама опромной бухты. Ее причудливо изрезанные берега, каменистые острова и мысы образовывали множество небольших бухточек и заливов. В них стояли пассажирские и грузовые суда с выкрашенными в белый, серый и зеленый цвет надстройками и трубами, рыболовецкие шхуны и сейнеры, угольные и нефтеналивные баржи, низко сидящие в воде транспорты, груженные машинами, станками и лесом. Эти бухточки и заливы, полные своей особой жизни и своеобразной красоты, медленно проплывали, открываясь то справа, то слева, подобно предместьям большого города-порта. А сам город-порт уже подымался вдали, дымя заводскими трубами, сверкая стеклами многоэтажных зданий, еще пока высившихся одиноко среди бревенчатых бараков и возведенных наполовину каменных стен будущих домов, окруженных строящимися лесами, над которыми виднелись медленно движущиеся стрелы подъемных кранов.

Высотин вспомнил, что, собираясь в дорогу, читал в лоции: «Бухта Белые Скалы хотя и удобна для стоянки кораблей, но находится в глуши, далеко от населенных пунктов».

Он тогда представил себе пустынный берег, одинокие рыбацьи избышки и лежащую на тысячу верст обрест непроходимую тайгу, высокие горы, подступающие к самому берегу...

«Как я ошибался», — подумал Высотин.

Он вытащил из кармана записную книжку, раскрыл ее на странице, где был записан адрес: «Тигровая, 26». Какая же улица могла носить такое экзотическое название? Он попросил бинокль у стоявшего рядом с ним пассажира, однако и через окуляры бинокля не мог разглядеть улицы, которая напоминала бы звериную тропу.

«Ведь на этой улице живет Анна!» — промелькнула у него радостная мысль.

Направо от торговой гавани виднелись стоящие у пирсов военные корабли. Развсвались флаги и вымпелы, доносился перезвон склянок. «На каком из этих кораблей придется служить? Какой из них станет родным домом, как примет меня семья здешних моряков?» Сердце Высотина забилось учащенно и тревожно.

К пароходу подошли два больших портовых буксира. Желтые, широкобокие, они напоминали спящих по воде неуклюжих жуков. Буксиры завели швартовы и, задымив трубами, переключаясь гудками друг с другом, потащили пароход к пристани. Высотин спустился в каюту, надел плащ-пальто, застегнул его на все пуговицы и вновь растегнул. «Волнуюсь, как школьник перед экзаменом».

Он опять подошел к прямоугольному, как окно, иллюминатору. Теперь виден был пляж, на котором под грибовидными зонтиками, сделанными из фанеры и раскрашенными в яркие цвета, сидели люди; у берега пловучая водная станция с вышкой. Шлюпка под парусом входила в залив, а рядом со шлюпкой женская голова золотой маковкой мелькала среди волн. «Кто она? — подумал Высотин. — Этаким молодец! Далеко заплывла, не боится волны». И хотя женщина совсем не была похожа на Анну, Высотин вернулся к мыслям о ней: «Как-то Анна меня встретит? Обрадуется или только удивится? Трудно ей полюбить. Трудно, а может быть, и невозможно?» Сразу погрузившись, Высотин взял чемодан и поднялся на палубу.

...Его знакомству с Анной предшествовали трагические обстоятельства.

Муж Анны, Петр Субботин, с которым Высотин был дружен, командовал канонерской лодкой на Волге, под Сталинградом. В августовские дни 1942 года над Волгой и над пыльной от движения множества людей, машин и орудий знойной степью в небе, затянутом дымом пожара, летали «юнкерсы». Маленькие боевые корабли Волжской флотилии, уведенные в протоки и плавни, отставались, ожидая ночной темноты. В ту пору Высотин часто встречался с Петром. Обычно это происходило в землянке, в шутку названной «салонем». Здесь играли в домино и в шахматы, писали письма, спали, чистили оружие.

Фронтная жизнь хотя и властвовала безраздельно, диктуя свои суровые законы, определяя судьбы людей, но люди, подчиняясь этим законам, оставались все теми же людьми, со своими радостями и печалью, надеждами и счастьем...

Однажды за шахматами Субботин вел себя необычно: он вздыхал, много курил и делал одну ошибку за другой. «Понимаете, даже играть не могу... Письмо из дому. Сын родился. — Хорошо знать, что о тебе думают, ждут тебя, — добавил Субботин, рассеянно смешая на доске фигуры. — А холостякам, вот как вы к примеру, — он сочувственно поглядел на Высотина, — на войне вдвойне тяжело. У вас нет ни о ком заботы, и о вас никто не печется. Как будто бы видимая легкость, а на самом деле — душевное одиночество». Тонем человека, внезапно разбогатевшего и потому щедрого, он закончил: «Вот разгромим фашистов, приезжайте во Владивосток погостить ко мне. Жена у меня великая мастерица медовуху варить. Эх, и шопируем с вами тогда». Счастливым, уверенным в будущем, Субботин ушел, кивнув головой на прощанье.

Спустя месяц Высотин узнал, что канонерская лодка Субботина, высадившая десант, получила прямое попадание и затонула. Никто из экипажа лодки не вернулся. Ни у кого не было сомнения, что моряки погибли.

В 1944 году, когда Высотина перевели на Тихоокеанский флот, он решил навестить семью Субботина. Ему хотелось ободрить жену погибшего друга и, если нужно, оказать ей помощь. Однако, как это часто бывает со сдержанными людьми, он долго колебался, побавляясь, что при встрече не сможет успокоить удрученную горем женщину и только лишней раз потревожит незажившую рану. Поэтому Высотин со дня на день откладывал тя-

гостный визит. Но вот однажды на корабль пришло письмо на его имя. Жена Субботина просила притти к ней. Свою просьбу она объясняла тем, что в штабе ей указали на Высотина как на бывшего сослуживца Петра.

На другой день Высотин зашел к Анне.

Он увидел стройную молодую женщину. Стремительно приподнявшись из-за стола, на котором лежала чертежная доска, она вопросительно и ожидающе посмотрела на него.

Ее лицо побледнело и словно застыло. Только губы морщились, вздрагивая, как у ребенка, готового расплакаться. Высотин почувствовал, как велико ее горе. Ему захотелось если не успокоить Анну, то хотя бы на время отдалить самое страшное... Он назвал себя и заговорил о Петре как о живом, точно вчера расстался с ним.

Она благодарно поглядела на него и приветливо усадила за стол. Анну интересовало все, вплоть до мелочей.

Высотин подробно рассказал об изнуряющей жаре августовских дней, о том, как уставшие бойцы, не знавшие отдыха, находили в себе силы итти снова в бой; о радости и тревоге, охватывавшей бойцов, когда на передовую линию приходил письмомоносец; о коротких встречах с Субботиным, о его всем известной забавной привычке каждую лестницу в блиндаже называть трапом, пол — палубой, скамью — банкой, веревку — шкертом.

Анна сосредоточенно слушала. По просветленному выражению ее лица, по ее блестящим глазам он понял, что она переживает что-то особенно хорошее и гордое, будто муж был рядом с ней.

В душе Высотин подивился ее выдержке. С удовлетворением пловца, благополучно перебравшегося через реку, полную опасных водоворотов, Высотин поднялся, чтобы уйти, но его остановила Анна.

— Теперь скажите, что вы думаете об этом?

Она поспешно достала из перламутровой шкатулки, где хранились письма, адреса, рецепты, лист бумаги и подала Высотину. Это был ответ на ее запрос — стандартный бланк извещения о том, что Петр Субботин числится без вести пропавшим.

Высотин молчал. Анна настойчиво смотрела ему прямо в глаза, и он чувствовал, что не в силах ей солгать. Видимо, по выражению его лица, по тому, как затянулась пауза, Анна догадалась о мыслях Высотина. Подняв руку, будто защищаясь, она сказала одновременно и просяще и требовательно:

— Молчите и никогда не смейте говорить мне, что Петра нет в живых. Это моя клятва для него, — Анна указала на играющего сына. На ее глаза навернулись слезы, и она, досадуя на свою слабость, смахнула их, а затем, стараясь овладеть собой, продолжала:

— Если я вам скажу, что безгранично люблю мужа, вы можете не поверить, хотя это сущая правда. И это никому, кроме меня, не нужно и не важно. Это — мое... — Голос ее дрогнул.

Он тогда ушел взволнованный, растерянный и смущенный. Однако через несколько дней зашел к ней снова.

Удивленная его неожиданным приходом, Анна спросила:

— Зачем вы пришли?

Багровый закат мягко озарял комнату, отгороженную ширмочкой детскую кроватку, в которой спал ребенок, стопку книг на этажерке. И от этого вечернего, косо падающего света лицо Анны казалось худощавым и очень усталым. Субботина стояла, гордо подняв голову. В зеленых глазах Анны Высотин заметил недоверчивость. «Обиделась, наверно, на мое непрошенное вмешательство в ее жизнь». И ему захотелось сразу же уйти.

Он неловко опустил на стол два пакета. Из одного вывалилась плитка шоколада.

— Подарки от моряков вашему сыну, — сказал он, запинаясь, но, подумав, добавил твердо:

— Анна Ивановна, я хотел сказать вам: вернется или не вернется Петр — все равно товарищи помнят о его семье.

— Хорошо, — сказала она, помолчав. — Садитесь и расскажите мне все, что вы не успели рассказать о моем муже в прошлый раз.

...Между ними установились дружеские отношения. Заботясь о семье погибшего друга, Высотин испытывал неизведанную радость — ведь сам он был одинок. Бывая на берегу, он старался хотя бы на несколько минут заглянуть к Анне. Некоторое время она еще продолжала относиться к нему настороженно, но постепенно поверила в искренность его дружеских чувств.

В том же году Высотин уехал учиться. Анна пришла проводить его. Падая крупными хлопьями снег. Он pokrыл крыши станционных построек пуховыми дорожками, лег на проводах и ветвях деревьев. Ветер был влажный и мягкий, будто весенний. Анна опустила платок низко на лоб. Высотин видел ее затемненные ресницами большие глаза. Прощаясь, он сказал:

— Не знаю, придется ли нам когда-либо встретиться. Если разрешите, я буду писать?

— Пишите... — спокойно ответила она, смахнув с шубки тающие хлопья. — Приятно, когда человек идет вперед.

Анна подошла к ограде, зачерпнула из сугроба снег, сжала его в комок и, надкусив, сказала:

— Пахнет весной, слышите?

Когда поезд тронулся, она помахала рукой, а Высотин впервые ощутил, что ему очень будет грустно без Анны. И вскоре он не мог уже скрывать от себя, что полюбил ее.

Он писал Анне не часто. Письма были почти деловые и чисто дружеские. Такими же были и ответы Анны. Все, что он переживал, оставалось за пределами писем и не могло быть ей известно. «Так будет лучше для нас обоих», — думал Высотин. Но вот однажды — это было на четвертом году его учебы — Анна сообщила, что вместе с младшей сестрой переезжает на жительство в Белые Скалы.

В ту пору уже шла подготовка к выпускным экзаменам.

«А что, если мне попросить назначение туда же?» — мелькнула мысль у Высотина. Он отогнал ее. Но она возвращалась снова и снова, и желание увидеть Анну стало непреодолимым. «Будь что будет в конце концов», — ре-

шил Высотин. Он не стал писать Анне о своем намерении. «Для нее это явится сюрпризом!»

«Как-то примет она этот сюрприз?» — думал теперь Высотин, медленно поднимаясь на верхнюю палубу.

С борта парохода спустили трап, широкий, как парадная лестница, с поручнями, окованными медью.

В толпе пассажиров Высотин сошел на берег.

Все еще представляя себе мысленно картину предстоящей встречи с Анной, он торопливо шагал, направляясь к военному порту. Вдали он заметил большого, грузного человека. По металлическим дубовым листкам на козырьке его фуражки можно было сразу определить, что это был старший офицер. Он вытащил из кармана трубку, остановился, широко расставив ноги, зажег спичку, тщательно прикрыв ее огонек ладонями, хотя не было ни малейшего ветерка.

Что-то знакомое уловил Высотин в походке, жестах, во всем облике офицера, но тут же подумал, что человек, который, по его воспоминаниям, обладал такой же походкой и такими же жестами, должен был выглядеть как-то иначе.

«Кого же он мне напомнил?» — Высотин задумался.

Между тем офицер неторопливо шел навстречу. Теперь уже можно было разглядеть его широкоскулое лицо, большой мясистый нос, полные, немного выпяченные губы.

«Золотов! Ну, конечно, это он, только растолстел и отяжелел!»

— Товарищ капитан второго ранга! — вырвалось у Высотина.

— Да? — Офицер рассеянно окинул Высотина взглядом, и вдруг лицо его расплылось в широкой улыбке.

— Неужто Андрей?

— Я, Терентий Иванович.

Они стояли, пожимая друг другу руки, оба обрадованные этой неожиданной встречей.

— Какими судьбами? Надолго ли?

— Может, на год, а может, и на десяток лет, — весело ответил Высотин. — А вы, Терентий Иванович, давно здесь?

— Пионер в этих краях. Как пришел я сюда на своем «Державном», еще труба над верфью не дымилась. А теперь я, можно сказать, старожил, вон сколько выстроили заводов. — Золотов кивнул в сторону города. — Так-то, батенька! — закончил он вдруг устало. Немного помолчав, он предложил: — Вижу, вы еще с чемоданом, Андрей. Пойдемте ко мне. Полину Васильевну, надеюсь, не забыли?

— Помню, конечно. — Перед глазами Высотина возникла приветливая, красивая жена Золотова. «И стройна и величава, выступает точно пава», — вспомнил он строки из сказки, всегда приходившие ему на ум при виде Полины Васильевны. «Какова-то она теперь? Ведь десять лет назад и сам Терентий Иванович был молодым осанистым командиром». Высотин посмотрел на двойной подбородок Золотова и поредевшие волосы на его висках.

— Любит Полина старых друзей принимать, любитесь теми, кто вырос.

— Да я ведь и раньше ростом был с коломенскую версту, — пошутил Высотин.

— Большая звезда на погонах, война за плечами, а теперь, наверное, из академии? — серьезно спросил Золотов.

— Да, из академии, Терентий Иванович.

— Корабль, надо думать, получите.

— Да, наверное.

— А почему только «наверное», — удивился Золотов. — Разве в Москве назначение не вручили?

Высотин пожал плечами.

— Так уж случилось.

Он вспомнил свой последний разговор в отделе кадров флота. Полный, но очень подвижной контр-адмирал в пенсне, рассматривая рапорт Высотина, в котором тот просил направить его в Белые Скалы, сказал:

— Послать бы вас туда можно. Вакансии там на командирские должности предвидятся. — Контр-адмирал снял и бросил на бумагу пенсне, достал из ящика стола какую-то папку. — Да, предвидятся и на новостроящихся кораблях и на плавающих, возможно... Только надо немного обождать. — Он отложил папку и спросил: — А можете, поедете куда-нибудь поближе — в Севастополь или на Балтику, например. А? Тоже места неплохие...

— Я настаивал бы на Белых Скалах, — сказал Высотин.

Контр-адмирал сочувственно кивнул головой.

— Понимаю, на океан, значит, очень хочется...

— Да, очень, — признался Высотин.

— Что же, раз так, поезжайте хоть сегодня. — Контр-адмирал улыбнулся и протянул Высотину руку.

— А назначение?

— А назначение следом пойдет. Может, даже опередит вас. Во всяком случае обещаю, что офицер, окончивший академию на отлично, и корабль получит не из последних...

— Так уж случилось, Терентий Иванович, — повторил Высотин. — Здесь должен меня приказ ждать.

— Что ж, и так бывает, — примирительно сказал Золотов и добавил: — А в общем рад я за вас. В гору пошли, ненароком и меня обгоните! — Улыбаясь, он взял Высотина под руку. — Право, не отказывайтесь, Андрей. До моей квартиры рукой подать.

— Надо бы раньше в штаб явиться. Представиться, — заколебался Высотин.

— В штаб так в штаб, — охотно согласился Золотов. — Я провожу вас, покурую и подожду, а потом уж затащу к себе и не выпущу.

Высотин думал прямо из штаба отправиться к Анне. Однако сказать об этом Золотову было неловко, потому что неизвестно было, как назвать ее. Ведь Анна не была ни родственницей, ни невестой, а отказываясь от приглашения своего бывшего учителя ради просто знакомой — значило кровно обидеть его. Поэтому Высотин, поблагодарив Золотова, согласился.

Они пошли по пирсу вдоль линии кораблей.

И офицеров, встречавшихся по дороге, и строителей порта — инженеров в легких пиджаках и рубашках с расстегнутым воротом, рабочих в синих пыльных комбинезонах Золотов приветствовал, как старых знакомых, и они отвечали ему, как старые знакомые, с дружеской улыбкой: военные — отдавая честь, гражданские — кивая го-

ловой и снимая кепки. Высотин чувствовал, что эти дружеские приветствия относились и к нему, и было приятно, что, прибыв за тридевять земель в далекую гавань, он ни минуты не чувствовал себя здесь чужим и одиноким.

— Хорошо на краю земли встретить учителя-друга, Терентий Иванович.

— И друга-ученика — тоже хорошо, — ответил Золотов.

Высотин и Золотов не были друзьями в общепринятом смысле этого слова. Еще перед войной Высотин, тогда курсант военно-морского училища, проходил практику на тральщике, которым командовал Золотов. Золотов был строгим и обстоятельным учителем, никогда не прекращавшим объяснений, пока он не убеждался, что его поняли; Высотин — настойчивым и пытливым учеником, стремившимся постигнуть каждый вопрос до тонкости. Эта характерная для них обоих черта особой, даже подчеркнутой добросовестности в отношении к делу сближала их. Командир стал приглашать курсанта к себе домой. Высотин бывал у него охотно. В доме Золотовых все отношения покоились на любви, взаимном уважении и доброжелательности, и пребывание в их семье, как, впрочем, и в каждой счастливой семье, было приятным и даже радостным.

Высотин привык советоваться с Терентием Ивановичем, доверяя спокойному и рассудительному командиру. Золотову нравилась горячность Высотина. Они частенько спорили, спорили о будущем флота, о развитии советского кораблестроения. В этих спорах Золотов если и не одерживал верх над Высотиним, то во всяком случае приводил доводы более основательные и казался много старше Андрея, хотя разница в возрасте между ними была не так велика.

Золотовы дружески проводили Высотина. Однако война сразу оборвала между ними переписку, годы постепенно затушевывали память о хорошей, но короткой привязанности. И все же где-то в затаенном уголке сознания она продолжала жить. И то, что Золотов и Высотин встретились вот так неожиданно, и не в Ленинграде, не в Москве, а в отдаленном от центра страны уголке родной земли, где люди особенно тепло относятся друг к другу, показалось знаменательным им обоим. Воспоминания сразу нахлынули на них, и прошлое, как бы стремительно преодолев расстояние десятилетней разлуки, вошло в сегодняшний день.

— Теперь, если мне будет трудно, я снова к вам за помощью буду обращаться, — сказал Высотин.

— Теперь трудно не будет, — ответил Золотов. — Опыт и знания у вас есть, а организация флота столетиями проверена. Выдумывать особенно нечего. Сколько веков матросы по тревоге на бак по правому борту бегут, а на ют — по левому, столько же веков будут так бегать, — закончил он полушутя.

— Так ли просто, Терентий Иванович?

— Чем проще, тем лучше. Знаете: «О воин, службою живущий! Читай устав на сон грядущий и поутру, от сна восстав, читай усиленно устав». Вот и смысл философии сей.

Высотин улыбнулся.

— Посудите сами, — продолжал Золотов, — у меня, например, на «Державном» старший помощник капитан-лейтенант Кипарисов — человек молодой, с гонором, характеры у нас с ним разные, а доверяю я ему, как себе, потому что он хороший службист. А это ведь для офицера — главное. Вот и выходит, что и я, и он, и вы, и все мы, в конечном счете, должны службу править одинаково...

Золотов произнес все это так уверенно и спокойно и вместе с тем так бесстрастно, что Высотин не удержался от возражения.

— Нет, Терентий Иванович, далеко не все столетиями проверено. Каждый новый день свои задачи перед командирами ставит, так как же может быть, чтобы все их одинаково решали?

— Ну, вы спорщик известный, — с оттенком неудовольствия перебил Золотов.

Высотину стало неловко. «Только что встретился после долгой разлуки с человеком и уже на рожон лезу», — подумал он.

— Оленька ваша, наверно, в шестой класс ходит? — круто переменял Высотин тему разговора.

— В восьмой этой весной перешла. Учится отлично и матери по хозяйству помогает. А Ваня и Витя в детском саду. С этими молодцами вы ведь еще не знакомы... Увидите, Андрей, весь мой колхоз, — оживился Золотов. — Хорошо я живу. Ну а вы, поди, тоже обзавелись семьей?

— Нет... Все еще холостяк...

— У меня погостите, так сразу холостяцкая жизнь вам опротивеет.

— Может быть, мне и так уже опротивела, — признался Высотин.

Ему хотелось заговорить об Анне. Чувство к ней переполняло его, и велика была потребность с кем-либо поделиться. Но он понимал, что говорить о своей любви к Анне никому нельзя. Нельзя потому, что его отношения с Анной, возможно, будут совершенно не такими, к каким он стремился. А если это так, он не имел права ставить ее в ложное положение.

Золотов почувствовал, что задета тема, которой почему-то не следовало касаться, и не задавал больше вопросов.

Воздух над гаванью постепенно сгущался и из прозрачного и бесцветного становился синеватым. Наступали сумерки. Светлосерые корпуса кораблей слились с цветом моря. Казалось, их палубные надстройки подымались прямо из волн.

— Вон и штаб, — сказал Золотов. — Он кивнул на возвышавшуюся у пирса громаду флагманского корабля. — Я подожду вас здесь, Андрей.

Они подошли к большому обломку скалы. Золотов сел.

— Чемодан оставьте, — посоветовал он Высотину.

— Может ведь случиться, что меня там задержат?

— Ничего. Дожидаюсь вас, лишний раз «Державным» полюбуюсь. — Он указал рукой в сторону гавани, где на рейде стоял, точно врезанный в синюю воду, стройный и легкий корабль. — Привык я, Андрей, к «Державному», — продолжал задумчиво Золотов, — ведь вот, кажется, ничем мой корабль не лучше других, а

как-то по-особому он мне дорог и люб. Седьмой год уже таким красавцем командую! — с гордостью закончил Золотов.

— И правда, красавец, Терентий Иванович, — согласился Высотин, неотрывно смотревший в даль бухты.

— Ну, ну, ступайте, Андрей. И у вас такое же счастье впереди.

— Возможно, Терентий Иванович, возможно... Я бегом...

Провожая глазами Высотина, Золотов позавидовал упругой и твердой походке, той легкости, с какой Андрей взбежал по сходне на корабль. Невольно пришла мысль о том, как по-разному сказались на них обоих годы разлуки. «Он стал из юноши мужчиной в полном расцвете сил, а я уже перевалил через вершину и покатился к старости». Золотов посмотрел на город: даль потемнела, мгла надвигалась из тайги, проглатывая одну за другой сереющие улицы. Вдруг, будто по сигналу, зажглись фонари, на набережной и на улицах вспыхнула длинная цепь огней. Город засиял, словно вымытый, принаряженный электрическим светом.

Золотов удивился накатившейся на него грусти. «Почему я грущу, чему завидую? У него своя жизнь, у меня своя. Свои приливы, свои и отливы». Он подумал о том, что, собственно говоря, должен бы только радоваться, наблюдая, как входят в жизнь его ученики, как преодолевают они те препятствия, которые он уже давно преодолел, учатся тому, что он уже давно постиг, волнуются из-за того, что он уже привык воспринимать спокойно. «Да, спокойствие, если знаешь, что все, что сделал вчера, делаешь сегодня и будешь делать завтра, проверено и испытано, — великое дело! А чего еще в мои годы желать? Держись на рубеже, куда вынес прилив. Держись крепко — и ладно!»

«Что ж это Андрей так долго...» — Золотов перевел взгляд с «Державного» на флагманский корабль. — Командующий, наверно, с ним беседует. Старый мой знакомый и сослуживец, почти друг — контр-адмирал Серов. Почти друг. — Золотов горько усмехнулся. За последние месяцы все встречи с командующим были тягостны для командира «Державного». С каждым разом все резче высказывал контр-адмирал неудовольствие тем, что «Державный» выполняет задачи только на «удовлетворительно».

«По разве это так плохо? — думал Золотов, вспоминая свой недавний неприятный разговор с Серовым. — Что командующему от меня надо? Чего он на меня нажимает? Почему недоволен? Ведь требования растут, и удовлетворительную оценку с каждым годом получить все трудней». Золотов окинул взглядом корабль, стоящие в бухте. «Загляни, попробуй, в любой кубрик, каюту, рубку — разве есть хоть один моряк, у которого по службе все шло бы гладко? — продолжал он мысленно оправдываться перед Серовым. — Эх, да что там, — решил он, наконец, отмахнуться от неприятных воспоминаний, — я если не лучше, так и не хуже других».

С берега подул легкий ночной бриз. Электрический фонарь над головой Золотова начал раскачиваться. Тучи заволокли небо. Вода в гавани совсем почернела. Над ней,

как порхающие светляки, мелькали огни бороздящих бухту катеров, доносился шум их моторов.

Золотов поднялся. Он увидел Высотина, спускавшегося на пирс, и шагнул навстречу.

— Ну как успехи?

Лицо у Высотина было расстроенное.

— Неладное что случилось? — спросил Золотов.

— Не знаю, как вам сказать, Терентий Иванович. —

Высотин замаялся, взял Золотова за руку.

— Да в чем же дело?

«Ведь все равно он узнает сам, и тогда, если я ему ничего сейчас не скажу, он дурно будет думать обо мне», — пронеслось в мыслях у Высотина.

— Мне приказано принять у вас «Державный», — сказал он.

— У меня? Не может быть! — Золотов отступил и нахмурился.

— К сожалению, правда. Только что прибыл приказ из штаба флота. — В голосе Высотина слышалось сочувствие. — Разве вас не предупреждали?

До Золотова теперь только дошло, что Высотин не шутит.

«Почему же?» — хотел он спросить. Но понимая, что Высотин не может ему ответить, только повторил:

— Значит, сдавать приказано вам?

— Мне, Терентий Иванович.

— А как же я? — Лицо Золотова выражало крайнее недоумение и растерянность.

— Может быть, повышение...

Золотов отрицательно покачал головой.

Высотин не мог возражать, не покривив душой. Командующий соединением сказал ему: «Надеюсь, что в кратчайший срок вы выведете «Державный» в передовые».

2

Высотин и Золотов еще довольно долго стояли на пирсе, будто забыв о том, куда собирались идти. Их отношения, до сих пор ясные и простые, сразу запутались. И хотя Андрей сейчас больше, чем когда бы то ни было, сочувствовал Терентию Ивановичу и хотел бы подчеркнуть свое уважение к нему, он не мог найти нужных слов. Сам того не замечая, он невольно стал подбирать предлог, чтобы отказаться от сегодняшнего визита к Золотову. Пока в их отношениях снова не установятся прежняя искренность и простота, жизнь под одной крышей была бы тягостной и для хозяина и для гостя.

Что касается Золотова, то он просто не мог думать ни о чем, кроме известия, ошеломившего его так, что единственным его желанием было остаться наедине с самим собой, разобраться в собственных мыслях.

В темноте откуда-то набежала туча. Начался мелкий теплый дождь. Тихо шелестели волны, перекатываясь через прибрежные камни. Золотов, не замечая дождя, смотрел на гавань, где в темноте блестели огни «Державного». Он словно позабыл о Высотине.

— Да, — сказал он вдруг, резко всем корпусом обернувшись к нему, — вот такая она, жизнь, Андрей...

Высотин не ответил.

Наступила длинная тягостная пауза. Поэтому Высотин обрадовался, когда к ним подошел пожилой, немного сутулящийся капитан первого ранга, оказавшийся начальником политотдела соединения Звенигоровым.

Узнав, кто такой Высотин, Звенигоров пригласил его к себе, и как-то само собой получилось, что Андрей распрощался с Терентием Ивановичем, ни о чем не условившись.

— Вы давно знаете Золотова? — спросил Звенигоров, когда они вошли в его просторную каюту.

— Я проходил практику на тральщике, которым он командовал. Учился у него, и мы подружились.

— Вот оно что!.. — многозначительно протянул Звенигоров. — Что ж, тем лучше, — добавил он, посмотрев на Высотина оценивающим взглядом.

Высотин молча ждал дальнейших разъяснений. Но Звенигоров уже начал расспрашивать о прежней службе, учебе, жизни.

Высотин отвечал коротко, не вдаваясь в подробности, в паузах с любопытством поглядывая на незнакомую ему карту океанского побережья, висевшую на переборке каюты. Звенигоров перехватил его взгляд.

— Не видели? — спросил он и, не ожидая ответа, пригласил: — Ну, давайте-ка посмотрим вместе.

Множество бухт и гаваней, разбросанных на бескрайнем океанском побережье, было рельефно изображено на карте. Но бухты и гавани были Высотину знакомы. Внимание его привлекло другое. Обычно на морских картах показывалась лишь береговая линия. А на карте Звенигорова по белому полю суши цветными карандашами были нанесены четкие линии, голубые и черные, силуэты зданий, еще какие-то цифры, знаки. «Этого нет ни в каких лоциях, какими бы совершенными они ни были», — подумал Высотин.

— Верфь, склады, рабочий поселок, железная дорога, авиалинии, — называл начальник политотдела, — одним словом, все, что уже сейчас создается и будет создано в этих далеких, диких и пустынных местах... Да, много здесь дела для нас с вами.

Высотин все внимательней всматривался в карту, дивясь гигантскому размаху замыслов и проектов, которые открывались за скупыми иероглифами топографических знаков, а Звенигоров говорил о строительстве, развернувшимся здесь по пятилетнему плану. Разговор для Высотина был не новым, но все же он до сих пор смутно представлял свое участие в этом строительстве. Почему? Да очень просто!

Все его время было поглощено военной службой. Эта служба была ограничена своими твердыми рамками, и то, что лежало за ними, как бы оно в общем ни интересовало Высотина, не касалось его непосредственно. Конечно, его сердцу был близок и дорог труд миллионов советских людей самых различных профессий, но ведь в своей повседневной жизни он по большей части сталкивался не с процессом этого труда, а только с его конечными результатами.

На военной службе материальные ценности получают в готовом виде и использование их заранее предусмотрено. Командиру вручают оснащенный и вооруженный корабль. Корабль делает максимально столько-то узлов,

пушка — столько-то выстрелов, в топках сгорает столько-то горючего в час, в минуту, в секунду. По штату назначается такое-то количество людей, у каждого строго определенные обязанности: каждый знает, когда он должен проснуться, когда завтрак, обед, ужин — минута в минуту; указано даже, сколько положено на человека калорий в день — сегодня, завтра, все время, пока ты на военной службе. Для флота добываются уголь, руда, хлеб, хлопок... Ученый читает лекции в военно-морском училище, сталевар выплавляет для строительства кораблей сталь, колхозника выращивает лен для парусины, швея пришивает пуговицу к обмундированию. «Да, все это делается для нас, — думал Высотин, — но ведь сами мы военные люди. И труд наш — особого рода».

Звенигоров будто прочитал его мысли.

— Принято считать, что мы, военные люди, не заняты производительным трудом. Но если поглядеть в корень, в нашей стране это не совсем так... Без нас не мог бы советский народ спокойно жить и работать. Есть ли наша доля в любом труде? Есть, конечно! А теперь возьмите другое. Хороши наши люди? Хороши, нет слов. А стране нашей надо, чтобы были лучше, еще гораздо лучше. Как чистые зерна — одно к одному — без шелухи. Разве не мы с вами таких людей воспитываем?.. Разве не они после демобилизации уходят в промышленность и сельское хозяйство и становятся передовыми рабочими и хлеборобами?! Ну вот и прочитал вам лекцию, не удержался, — улыбнулся Звенигоров.

Начальник политотдела стоял у карты с указкой в руке. Яркий свет лампы падал на его мужественное лицо, узкое, длинное, с большим подвижным ртом.

Высотин подумал, что такие лица обычно бывают у нервных, резких и порывистых людей. Между тем Звенигоров и говорил медленно, и двигался не быстро, и глаза его смотрели спокойно и задумчиво.

«Странное несоответствие, а может быть, и образец того, как длительная привычка к дисциплине меняет характер человека».

Звенигоров отложил указку, подошел к тумбочке, на которой стояла бутылка боржома, налил стакан до краев и выпил.

— Душно в каюте, — сказал он и приоткрыл дверь.

Из глубины коридора эхо донесло обрывки какой-то фразы, дробный стук каблуков спускавшегося по трапу матроса, чьи-то четкие шаги. Начальник политотдела взглянул за дверь.

— Вот кстати, заходите, заходите! — сказал он кому-то в коридоре. И сама эта фраза, и мягкий тон, каким она была произнесена, свидетельствовали о расположении начальника политотдела к тому, кто должен был войти.

В каюту, твердо и вместе с тем почти неслышно ступая, вошел молодой офицер. Несколько смущенно приложив руку к козырьку, он остановился у порога.

— Знакомьтесь, лейтенант Озеров — секретарь партбюро на «Державном», сейчас временно исполняет должность замполита, — сказал Звенигоров.

Высотин с удовольствием оглядел ладную, крепкую и легкую фигуру Озерова, фигуру, какая бывает только у спортсменов, его полное румяное лицо.

Лейтенант Озеров крепко, даже чересчур крепко, пожав Высотину руку, отступил назад. Его внимание сразу привлекла Звезда Героя на груди высокого, разглядывавшего его в упор человека, на строгом лице которого заметно выделялись широкие густые, будто взъерошенные брови.

— Капитан третьего ранга Высотин, назначенный командиром «Державного», — продолжал меж тем Звенигоров.

— Командиром «Державного»? — удивленно вырвалось у Озерова.

— Да, капитан второго ранга Золотов получает новое назначение, — обыденно, как показалось Высотину, даже чуть сухоовато пояснил Звенигоров.

Озеров весь подался вперед. Его лицо мгновенно изменилось. Десятки вопросов готовы были сорваться у него с языка.

Но Звенигоров сделал вид, что не замечает душевного состояния Озерова, достал из ящика письменного стола толстую тетрадь в зеленом переплете, полистал ее задумчиво и захлопнул.

— Я внимательно прочитал ваш дневник и сделал на полях свои замечания, — сказал он, подавая тетрадь Озерову. — Подумайте над моими советами, потом потолкуем.

— Значит, я правильно делаю, что веду записи? — обрадованно спросил Озеров.

— Да, я считаю, что это принесет пользу... Сейчас вам и отчасти мне, а когда-нибудь и многим. Ну, вот пока и все.

Звенигоров отпустил секретаря партбюро.

Прощаясь, Озеров еще раз посмотрел на Высотина и теперь заметил тонкий шрам, пересекающий его высокий лоб, немного выдающийся твердый подбородок и, уловив доброе выражение в прямом, неотступном взгляде своего будущего командира, подумал: «Видно, моряк бывалый... Да и глазастый какой...»

— Чудесный парень, люблю его. Но как политработник молод и еще не уверен в себе, — сказал начальник политотдела, когда Озеров ушел, — дневник партработы вот свой мне приносил, душу открывал. — Звенигоров задумался... — То робеет, тушуетея без нужды, то нового ищет, увлекается, ошибается часто. А знаете, интересно ведь такого направлять и учить.

Высотин согласился. Озеров сразу завоевал его симпатию. «А все-таки лучше было бы, если бы секретарь партбюро оказался и старше и опытней», — подумал он.

— Ну, а теперь я вас познакомлю кое с кем лично, — сказал Звенигоров, усаживаясь и приглашая сесть Высотина. Закурив, он стал не спеша рассказывать о командном составе «Державного», припоминая биографии офицеров, их личные склонности и черты, однако избегая чисто служебных характеристик. «И правильно, — решил про себя Высотин, — я сам сначала должен разобратся в своих подчиненных».

Когда Высотин собрался уходить, Звенигоров сказал, как бы подводя итог:

— В общем на корабле у вас много хороших моряков. Если сумеете по-настоящему сплотить их вокруг себя, уверен — горы свернут! — Немного помолчав, начальник политотдела добавил: — Кстати, скоро вернется

из отпуска ваш заместитель по политической части — капитан-лейтенант Парамонов. Он, как и вы, на «Державном» человек новый.

Звенигоров не договорил. В дверь постучали. Вошел Золотов. Он выглядел осунувшимся и усталым.

Высотину стало больно за него.

— Я только что ознакомился с приказом, товарищ капитан первого ранга, — сказал Золотов, обращаясь к Звенигорову, — командующий не мог меня принять, а многое мне хотелось бы выяснить.

— Садитесь, Терентий Иванович! — Звенигоров вышел из-за стола и подвинул Золотову кресло. Потом он прошлепал по каюте. Остановился рядом с Золотовым и, положив ему руки на плечи, сказал: — Контр-адмирал выезжает по срочному делу, вернется через три дня. Он очень хотел сам все объяснить вам.

Звенигоров замолчал и задумался, но рук с плеч Золотова не снял, видно было, что он хочет как-то ободрить командира «Державного», хоть и не находит сейчас нужных слов.

— Дела я начну сдавать завтра, — сказал глухо Золотов.

— Торопитесь?

— Что ж тянуть?

Звенигоров кивнул головой. Он хорошо понимал все, что переживал Золотов.

— А вы где устроились? — спросил он Высотина.

— Я его к себе приглашал, — сказал Золотов.

— Ну вот и отправляйтесь вместе на «Державный», — посоветовал Звенигоров, сделал вид, будто не понял, что Золотов приглашал Высотина не на корабль, а к себе домой. — Вам о многом потолковать придется... Потолковать по-дружески. Ведь это так? — Звенигоров пристально взглянул на Золотова.

— Да... — твердо ответил Золотов. Он вдруг выпрямился, подтянулся, видно было, как заиграли желваки на его скулах, и, обратившись к Высотину, горько пошутит: — Зачисляю вас, как бывало раньше, на все виды довольствия. Сегодня вы ведь пока только гость на «Державном», а я, хоть и последний день, но еще хозяин.

3

Из каюты в открытые иллюминаторы тянулся сизой пеленой табачный дым. На море свежел ветер. Солнце низко висело над пенистой водой, над островами. «Державный» покачивало. Солнечные блики растекались светлыми лужицами по цветному ворсу ковровой дорожки.

Золотов, в парадной тужурке, бряцая при каждом движении кортиком, неторопливо укладывал в чемодан свои вещи. Высотин сидел за столом, просматривая личные дела офицеров.

Все формальности по сдаче и приему «Державного» были уже выполнены. Представитель штаба отбыл к флагману. Золотов ожидал утверждения акта контр-адмиралом, чтобы сойти с корабля.

В каюте стояла тишина. Слышно было, как за иллюминаторами, словно к непогоде, кричали чайки; пронзительно гудели портовые буксиры.

Уложив вещи, Золотов взял с письменного стола рамку, украшенную морскими раковинами, с фотографией жены и детей, бережно обернул ее газетой, положил в чемодан и, опустив крышку, сказал:

— Шабаш! — Он сел в кресло, хлопнул ладонью по кожаному подлокотнику: — Верно говорят: каждый капитан свой камешек найдет!

Высотин отодвинул лежавшие перед ним документы и посмотрел на Золотова.

— Много камешков попадаете на жизненном пути, — сказал он задумчиво, — один разглядишь во-время, о другой спотыкнешься, да снова выправишься, а все идешь вперед. — Высотин включил настольный вентилятор. — Ну и накурили мы!

— Нервничаю, — признался Золотов, — обычно я курю меньше. — Он вынул из кармана резиновый кисет, сунул в него трубку и, уминая пальцем табак, продолжал: — В том-то и дело, Андрей, что камешка во-время не разглядел, да и сейчас, признаться, его не вижу. Посудите сами: списывают меня, а за что? Я понимаю, если бы «Державный» был отстающим...

Высотин не знал, что ответить. Те несколько дней, в которые проходила сдача и прием корабля, отдалили их друг от друга больше, чем годы разлуки. Внешне, по манере обращаться, говорить, еще сохранялись прежние, определенные прошлым взаимоотношения между учителем и учеником, а по существу положение коренным образом изменилось. Любое замечание, хотя бы и высказанное от чистого сердца, казалось Золотову нетактичным и даже грубым. Высотин уже убедился в этом.

Золотов продолжал смотреть на него вопросительно, и Высотин сказал:

— Мне очень трудно ответить на этот вопрос. — Он не солгал. В самом деле, Высотин ждал, что найдет на «Державном» всяческие прорехи и ошибки. Правда, он не понимал, как мог бы Золотов их допустить. Но должна же была быть веская причина, по которой его отстраняли. Меж тем, осмотрев «Державный», как говорят, от кила до клотика, побывав во всех трюмах и отсеках, в тех корабельных закоулках, куда и голову удается протиснуть с великим трудом, он убедился, что всюду царил порядок. Да и служба здесь шла не хуже, чем на многих других кораблях. Правда, было у Высотина ощущение какой-то внутренней неудовлетворенности, но чем оно вызывалось, он не мог бы еще четко объяснить.

— Да, очень трудно, — повторил Высотин и, желая сделать приятное Золотову, добавил: — Многому я у вас и на этот раз научился.

Золотов, однако, пропустил эти слова мимо ушей. Он был поглощен своими мыслями.

Снова наступило молчание, и Высотину стало не по себе. «Как же мне с ним разговаривать, как держаться? Почему он не идет мне навстречу, когда я пытаюсь сгладить неловкость? В какое он ставит меня положение? Что ж, скажу ему об этом прямо».

— Терентий Иванович!

— Что?

— Я понимаю, вы глубоко переживаете уход с «Державного»...

— Еще бы! — подхватил Золотов. — На меньший корабль меня списать неудобно — ранги мои высокие, да и грехи не ахти какие, а на повышение нет оснований. Ума не приложу, как дальше моя судьба сложится...

— А что я должен чувствовать? — неожиданно преврал его Высотин.

— Вы? Я не психолог... — Золотов удивленно поглядел на собеседника. — А что у вас может быть? Молодой офицер после учебы получает командование большим кораблем. Повышение по службе, блестящая перспектива...

— В ладоши хлопать от радости?

— Странный разговор!

— Нет, не странный. Вот вы и вчера и сегодня все о себе: «не упрекали до сих пор», «тяжело мне», а о корабле и не вспоминаете: ведь ваш ученик им будет командовать. Легко ли ему сейчас у вас принимать дела, легко ли ему будет командовать? Вам разве дела нет?

— Корабельное хозяйство сдано без малейшего изъяна — так записано в акте. Ни на что не можете жаловаться: я рассказал обо всем, что сделано и что есть. Остальное зависит от вас! — Золотов говорил назидательно и равнодушно, как говорил все последние дни о том, что не касалось его непосредственно.

— Я думал, — Высотин встал и прошелся по каюте, — что вы подскажете мне кое-что и на будущее... И потом, — он сделал секундную паузу, — очень хочется, чтобы у вас было другое настроение...

— Спасибо! Об этом уже слышал. — Золотов поднялся с кресла и, держась рукой за поясницу, с усилием выпрямился: кровь прилила к его гладким, до синевы выбритым щекам, поблгровел мясистый затылок. — Раньше ежедневно гимнастичкой занимался, как сбитень ходил, а сейчас... — Он, тяжело ступая, подошел к иллюминатору. — Вот у окошечка подымяю...

Он постоял немного, посасывая трубку, потом, выколотив ее о край бронзовой пепельницы, снова сел в кресло.

— Плохой из меня советчик.

— А почему? — не удержавшись, спросил Высотин.

— Не знаю уж... Может, вы сами подскажете.

— Изменились вы как-то непонятно для меня, Терентий Иванович. Вот кажется мне, что сидите вы, смотрите на меня и думаете: «Все мне известно, знакомо, проверено. Вот так служил я, так служат мои товарищи, выполняя свое большое или маленькое дело, и ты так же служить будешь, и нет ничего нового под луной». Странно и, простите, больно мне видеть таким человека, которого я раньше ставил себе в пример...

Высотин остановился, почувствовав, что краснеет. Никак не удается ему отучить себя от дурной привычки краснеть и говорить слишком резко, когда его что-либо задевает за живое. Раньше, по молодости, получалось даже очень мило. Это нравилось девушкам: «Ах! Высотин всегда высказывается от всего сердца!» А на фронте ему с упреком указал на это старший командир, на экзаменах в академии — старичок профессор в военном мундире. «Что они, в самом деле? Не могу же я держаться идиолом, холодным и бесстрастным во всех случаях! У Золотова — вот у кого учиться выдержке! Сидит, курит

трубку, лицо — как камень, только пальцами пуговицу крутит на тужурке».

— Значит, вы считаете, что я изменился в худшую сторону? — Золотов нахмурил брови, подумал и добавил: — Колочий вы все-таки человек.

— Какой уж есть! — и Высотин развел руками.

— Новая метла всегда чище метет, — с иронией продолжал Золотов, — а, глядишь, обтреплется, хуже старой будет. Так-то оно в жизни...

— Ну, это уж, простите, нелепица, Терентий Иванович, — снова не удержался Высотин. — Вам ли это мне говорить? Метла может обтрепаться, а человек не имеет права.

Золотов слушал и чувствовал, как легкое раздражение, возникшее у него во время разговора с Высотиным, перерастает постепенно в гнев.

Первый раз его бывший ученик разговаривал с ним в таком тоне, и потому в первый раз Золотову изменила выдержка. Он поднялся и резко сказал:

— Не вам меня учить, Андрей! — Золотов отвернулся. Наступило молчание, слышно было только, как засопела его прокуренная трубка.

Высотин подошел к иллюминатору. «Не терпит Терентий Иванович критики, больше о форме, о тоне думает, чем о смысле». Он задумчиво посмотрел на море.

«Да... если он так со мной разговаривает, то каково же было его подчиненным...» Высотин нахмурился.

Погода резко менялась. С океана тянулась в бухту пелена тумана. Она качалась над водой полосами — редкими и плотными, ветер рвал их в клочья, они неслись облачками на острова и мысы, и тогда там, где проносились такое облако, виднелись, как в половодье, только верхушки деревьев и скал. Над берегом было еще ясное небо и сияло солнце.

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Высотин стал думать об Анне. Ему все-таки удалось вчера ее повидать. С замиранием сердца ждал он ее появления, постучав в дверь. В первый момент ему показалось, что Анна смущена и даже недовольна. Но это длилось только одно мгновение. Улыбнувшись, она сказала:

— Какая, однако, встреча! Никогда бы не подумала: из столицы — сюда!

Высотин только крепко пожал ей руку, не найдя сразу, что ответить.

Анна ввела его в комнату, предложила стул, устроилась сама напротив на низкой и широкой тахте.

— Так что же вас все-таки потянуло... или просто приказ? — Она подложила под спину подушку и оперлась затылком о закрывавший стену цветистый ковер.

— Океан. Кто из моряков не мечтает об океане! — ответил Высотин. Анна могла бы понять по его взгляду, устремленному на нее, взгляду, немного встревоженному, ласковому и смущенному, что он сказал только часть правды. Но она не обратила внимания или, может быть, не захотела обратить внимания на этот взгляд.

— Понимаю, — сказала Анна, — я сама люблю океан. — И вдруг погрузившись, она добавила: — Петр тоже его очень любил. Когда мы уезжали хоть на время с этого побережья, он скучал и рвался назад, словно оставил здесь что-то самое дорогое. — Анна задумчиво посмотрела

мимо лица Высотиба в раскрытое окно, за которым виднелась похожая на разлитые синие чернила полоска залива.

«Не виделись четыре года, а едва переступил я через порог, уже забыла обо мне. Все осталось попрежнему, — с грустью подумал он, — мое присутствие заставляет ее вспоминать о Петре. Так уж, значит, сложилось, что она не может не связывать меня с мыслями о муже. Это как будто и сближает нас с ней и одновременно стоит между нами». Он почувствовал себя неловко в наступившем молчании. «Что же ей сказать?» Высотин боялся воспоминаний о прошлом, которые могли еще больше растревожить Анну, и в то же время ему казалось неуместным заговорить сейчас о себе, о своих делах.

— Где теперь Сережа? Что Наташа? Хотелось бы их повидать, — сказал он наконец.

— Сережа в детском саду и сестренка тоже, — Анна улыбнулась, почувствовав, как странно прозвучала эта фраза, и пояснила: — Наташа воспитательницей работает. Совсем взрослой стала.

— А вы все еще верфь строите?

Анна тряхнула головой и будто очнулась.

— Давно закончили, Андрей Константинович. Этаким гигантище вырос в тайге! Суда теперь строим. — Глаза у Анны заблестели. Она заговорила о своем заводе, как о чуде.

Высотин, однако, слушал ее не очень внимательно, думая не столько о том, что говорила Анна, сколько о ней самой. Похожа ли она была на ту Анну, которая запечатлелась в его памяти, похожа ли на тот образ, который создало его воображение за годы разлуки? Та, воображаемая Анна была, пожалуй, красивой и молодой. У этой залегли морщинки в уголках глаз, от чего сами глаза стали строже; прорезалась синяя жилка в маленькой ямочке на смуглой открытой шее. Высотин поймал себя на том, что любит как раз этими строгими глазами, что и морщинки, расходящиеся лучиками, и пульсирующая жилка ему бесконечно дороги. И как ни любил он образ, созданный воображением, теперь ему казалось, что он по-настоящему увидел Анну впервые, что она, конечно, гораздо лучше всего, что он мог себе представить.

— Вы согласны со мной? — вдруг спросила Анна.

Застыгнутый врасплох, он ответил, очевидно невпопад, первой пришедшей на ум фразой:

— Да, идут годы...

Она засмеялась.

— Годы вперед, а не назад идут. Это же чудесно, сколько нового видишь. — Анна была радостно возбуждена. «Может быть, потому, что я приехал», — с надеждой подумал Высотин.

Он продолжал молча любоваться ею, а она все рассказывала и рассказывала. Так мог бы он просидеть очень долго. Но Анна, взглянув на часы, прервала свой рассказ. Дружески просто она сказала, что торопится на совещание в производственном отделе верфи, где должна делать доклад.

— Хочу в последний раз перелистать тезисы, волнуясь немного, — призналась она.

Высотин вздохнул и взялся за фуражку.

Он посмотрел на Анну, стараясь отыскать в ее взгляде хоть что-нибудь, выходящее за границы простого дружеского расположения, и не нашел ничего.

— Не забывайте друзей, — сказала Анна, прощаясь. Мог ли он забыть ее!

«...Анна, Анна, — думал теперь Высотин, следя за выплывающими из тумана и разбивающимися о берег волнами, — как же трудно мне без тебя!»

...Золотов первым нарушил молчание:

— Существует неписаное правило, что в споре с товарищем офицер должен держаться так, чтобы слова его были мягкими, доводы твердыми, а мысли ясными. Я пренебрег этим правилом... — Он встал, официальный и строгий.

— Что вы, право, Терентий Иванович! Я ведь тоже виноват, — смущенно сказал Высотин, с трудом оторвавшись от своих мыслей.

— С вашей стороны была деловая критика. Как старший офицер, считаю своим долгом...

«Нелепо же это», — подумал Высотин, а вслух сказал:

— Давайте-ка лучше закурим, Терентий Иванович. — Он достал портсигар.

— Хотя я всегда курю трубку, но... — Золотов, поколебавшись, взял папиросу и, взглянув на Высотина, что-то прочитав в его лице, вдруг доверительно сказал:

— Все от недопонимания. Критику мы не любим. Терпеть, уважать научились, а любить — ни-ни... — Он рассмеялся тихо и добродушно.

«Вот ты какой бываешь, — подумал Высотин, — совсем прежний, тебя только расшевели!»

В каюту постучали. Вошел дежурный и доложил:

— «Дерзновенный» швартуется по правому борту. — Хорошо, — сказал Высотин.

За иллюминаторами проплыли орудийные башни, зенитные пушки с зачехленными стволами, надстройки, блестящие свежей краской. Послышались громкие слова командны, шум бурлящих вод винтов.

— Лихо швартуется! Гвардия! Однако рискованно... — заметил Золотов. — На «Дерзновенном», знаете, кто командиром? Светов.

— Слышали уж. Однокашники мы, — сказал Высотин. — Он подошел к столу и нажал кнопку звонка. — Предлагаю, Терентий Иванович, чай пить. Хотя по распорядку дня и не время, но сегодня у нас не совсем обычный день.

— Люблю я горяченьким побаловаться, — согласился Золотов и приказал появившемуся в дверях вестовому: — Мошкин, чай заварите круто — по моему вкусу, с ароматом. У нас, Андрей, на «Державном» особый чай, ни на каком другом корабле подобного в помине нет. Верно, товарищ Мошкин?

Вестовой, молодой матрос, одетый в белую куртку и белые брюки, с веселым, усыпанным веснушками лицом, шмыгнул носом и, молодцевато вытянувшись, громко сказал:

— Так точно! Этим и славимся!

— Вот, вот... — сказал Золотов и вдруг осекся. Улыбка сбежала с его лица. Он подумал о том, что нужно было бы одернуть матроса. Но Мошкин смотрел на него

так открыто и просто душно, что Золотов понял: «Повторяет чьи-то чужие слова». И им снова овладело безразличие. «Ладно, чего уж тут, в последний день все равно ничего не изменишь», — решил он.

4

В то время как в каюте происходил разговор между Золотовым и Высотинным, старший помощник командира «Державного» капитан-лейтенант Кипарисов стоял на палубе и, не отрывая глаз от бинокля, следил за находящейся в бухте далеко от корабля шлюпкой.

Несколько часов назад Кипарисов приказал боцману Головенченко получить из шкиперского склада паклю и ветошь. Склад был расположен на противоположной стороне бухты, в нескольких милях от пирса, где стоял «Державный». В хорошую погоду доставка груза не представляла никакого труда, но погода неожиданно резко изменилась, и сейчас гребцы с трудом боролись с волнами и ветром.

В бинокль видны были гора пакли, похожая на стог сена, затянутая потемневшим от брызг брезентом, задравшийся нос шлюпки, спины гребцов. Навалившийся на руль боцман на кормовой банке сидел, казалось, по пояс в воде.

«Опять, наверно, Головенченко пожадничал, лишнее на складе прихватил», — подумал Кипарисов. Он был обеспокоен, но в то же время не мог не восхищаться мастерством и смелостью боцмана, решившегося выйти в свежую погоду на перегруженной шлюпке. Ведь стоило рулевому допустить малейшую неточность, стоило кому-нибудь из гребцов поймать «щучку» — и люди могли бы очутиться в воде.

Стоявший неподалеку от Кипарисова старшина Зеленцов, не спуская глаз со шлюпки, сказал:

— Ползет, как черепаха, как бы овер-кльз не сделали, — и добавил по-английски: — very dangerous!¹

На корабле недавно организовали кружок по изучению английского языка. Консультантом и руководителем его был Кипарисов. Вот Зеленцов и решил повторить вслух слова, усвоенные им на прошлом уроке, чтобы обратить на себя внимание.

Кипарисов, однако, не ответил. Он понимал, чем рискует боцман. Пакля и ветошь, на которые попадали брызги воды, быстро сырели, от этого осадка шлюпки становилась все более глубокой.

Над морем густел туман. Ветер то стлал над водой серую мглу, то разрывал ее, и тогда показывались очертания бухты, каменной подковой врезавшейся в океан; опромные белые скалы, стоящие, как часовые, у входа в бухту; здание брадхвахты на мысу, где раскачивались на ветру штормовые сигналы.

Вдруг из пелены тумана стремительно вырвался узкий и длинный корпус боевого корабля под гвардейским флагом.

Корабль отдал якорь. Волна, поднятая им, ударила в борт шлюпки, и она черкнула воду.

Пробежавший по палубе вестовой Мошкин поглядел на шлюпку и, до крайности взволнованный, дернул Зеленцова за рукав форменки.

— Что же это боцман наделал? — вырвалось у него. — Ведь потонуть могут!

— «Боцман наделал!»! — передразнил Зеленцов и добавил шопотом: — Чего авралишь? Мало тебя старший помощник учил: «На военном корабле каждый сам за себя ответчик». Понял?

Мошкин взглянул на Кипарисова. Красивое лицо старшего помощника, обрамленное бакенбардами, какие носили еще при Ушакове и Нахимове, не выражало ничего, кроме сосредоточенности и холодного внимания.

«Державенный» находился теперь между «Державным» и его шлюпкой. На несколько секунд она исчезла из поля зрения. Кипарисов, обернувшись к Зеленцову, небрежно сказал:

— Вы скверно произносите «very»; в английском языке главное — фонетика.

Затем он спокойно отдал приказание — на случай аварии приготовить к спуску катер — и только после этого вновь поглядел на шлюпку. Длинный клок пакли свисал с ее правого борта и тянулся по волнам. Кто-то из матросов беспрерывно вычерпывал воду. Казалось, только чудом перегруженная шлюпка еще держится на плаву.

— Ну, молодцы! — невольно вырвалось у Кипарисова, но, тут же вспомнив, что нарушил принятое для себя правило: скрывать свои чувства, он лениво вынул из кармана надушенный платок и вытер им вспотевшую под воротником кителя шею.

Шлюпка ошвартовалась у борта «Державного». На палубу поднялся Головенченко и тяжелой походкой направился к старшему помощнику. На усталом, обветренном, с огненно-рыжими усами лице боцмана появилась самовольная улыбка.

Выслушав доклад Головенченко, Кипарисов пожал ему руку и объявил благодарность команде шлюпки. Затем он направился к Высотину, чтобы доложить о происшедшем. «Чорт побери! Пусть знает новый командир, что на «Державном» моряки не лыком шиты!»

5

Золотов, раскрасневшийся от чая, снял талстук и, расстегнув воротник рубашки, говорил Высотину:

— Хотелось бы, чтобы вы достигли того, что мне не удалось.

Высотин не успел ответить. Раздался телефонный звонок. Золотов снял трубку. Дежурный доложил, что на корабль прибыл командир «Державенного» капитан третьего ранга Светов. Почти тотчас же бархатная занавесь над дверью широко распахнулась, и в каюту стремительно вошел худощавый офицер. Из-под козырька фуражки виднелось бледное лицо с узкими монгольскими глазами. Тонкие губы офицера улыбались. Остановившись на пороге, Светов громко и весело сказал:

— О чем это шумят народные витии? — Он дружески козырнул Золотову, быстро подошел к Высотину, протя-

¹ Очень опасно!

живая руку. — Еще в море узнал новость! Первым по трапу с корабля к тебе. Рад, Андрей, что нашего полку прибыло! Да ты еще длиннее стал? Этак мне придется задрать голову, разговаривая с тобой! — Он говорил быстро и слегка картавил, не спуская с Высотина насто-роженного взгляда.

— Э, да ты ведь тоже Герой! — воскликнул он радостно, увидев «Золотую Звезду» на груди у Высотина. — Поздравляю от души!

— И тебя с тем же, — ответил Высотин. — А мы только что говорили о тебе, Игорь.

— Обо мне? Что-нибудь плохое, из зависти, Терентий Иванович рассказывал? Ему мои успехи — как белому на глазу.

— Не криви душой, Игорь Николаевич, — сказал Золотов. — На «Державном» ты — желанный гость. Присаживайся к столу, чайком попейся да расскажи, как по-ход.

— Нашли чем соблазнять! Черти вы морские! Чай пьете, потсете, как кушцы, и это в такую минуту? Ведь я с корыстной целью мчался сюда — думаю: если новый командир не догадается, так прежний обязан исполнять традиции. Где на столе добрый коньяк, лимоны, шпроты? На море туман и зверский ветер, корабли зашли в бухту Звездочка, а я от флагмана получил «добро» и сюда пожаловал... Мои матросы давно в городе не были. — Он снял фуражку и небрежно бросил ее на диван, встряхнул головой перед зеркалом, закидывая назад пышные русые волосы, провел пальцем по переборке каюты, словно проверяя, нет ли пыли, и, подмигнув Высотину, спросил:

— Ну, так как же?

— И не думай и не мгай — маковой росинки на «Державном» не сыщешь, — сказал Золотов.

Высотин усмехнулся.

— Придется отложить, Игорь, до встречи на берегу.

— А жаль. — Светов подошел к креслу, в котором сидел Высотин, оперся руками о спинку, потом щелкнул в воздухе пальцами. — Морскую честь соблюдать надо по русскому обычаю. Хотел бы я выпить за то, чтобы в походах и у стенки под килем у «Державного» всегда было три фута чистой воды!

Золотов только руками развел. Светов уже стоял у шкафа и рассматривал книги.

— Игорь Николаевич, да ты сегодня словно ртуть! Ну и неседе!

— Гвардеец должен в тонкости знать свой маневр! Так что же вы говорили обо мне?

— Красиво и чисто «Дерзновенный» швартовался, — ответил Высотин. — Позавидовали мы... Однако, Игорь, боевой корабль не личный велосипед, на котором куда хочу, туда и качу! Много ненужного риска в твоей лихости, вот что!

— Что касается вашей зависти, то она мне приятна. — Светов сел за стол. — В морском искусстве я сторонник творческого вдохновения. И прежде всего я верю в самого себя! — Он кивком подозвал вестового: — Мошкян, стакан вашего... знаменитого, с пылу, с жару! — и обратился к Золотову: — Не хмурься, Терентий Иванович! Спор у нас давнишний. Вспомним-ка лучше, как Петр

Первый говаривал: «Не держись устава, яко слепой стены», и как там дальше, кажется, так: «В уставе правила писаны, а случаи и времен нет».

— Верно, — перебил Золотов, — случаи и времен, конечно, нет, а кто против правил шел, тех Петр линейками беспощадно драл, — закончил он назидательно.

Светов рассмеялся.

— Строг Терентий Иванович. А ты как на сей счет думаешь? — обратился он к Высотину.

— А я думаю, Игорь, что устав у нас такой, какого в истории не было, и выполнять мы его должны так, как никто еще не выполнял.

— Ух, как ты серьезно, — сказал Светов.

— А я о таких вещах несерьезно говорить не умею.

— Ну, ладно, — отмахнулся Светов, — как бы там ни было, а все комбинации, возможные в кораблевождении, предусмотреть нельзя. Даже в таком простейшем случае, как отход и подход к стенке — раз на раз не приходится. В общем, на командирском мостике моя воля, мой разум решают все... Так я воевал, так и сейчас служу... — он коснулся рукой «Золотой Звезды», поблескивавшей на груди.

— Воевал ты, конечно, неплохо и говоришь красиво, — сказал Золотов. — А все же, Игорь Николаевич, нельзя этакие курбеты со швартовкой проделывать. Вот мы, дескать, какие гвардейцы! Тщеславие свое командирское тешишь? — Золотов стал раздраженно чиркать спичкой, собираясь раскурить трубку. Светов насторожился и подтянулся, но, сдержавшись, с деланным равнодушием спросил:

— А как на «Державном» живут? Есть победы? Их записали уже в исторический журнал?

— Силу накапливаем помаленьку, — уклончиво буркнул Золотов.

— Долго уж очень копите! Этак и к шалочному разбору не управитесь.

— Каждому овощу свое время... — Золотов, вобрав голову в плечи, отчаянно дымил трубкой. Высотин понимал, насколько тяжело ему отстаивать честь корабля. Он поглядел на усталое лицо Золотова, на пальцы, вкрутившие пуговицу на тужурке, и ему стал неприятен Светов, каждым словом стремившийся подчеркнуть свое превосходство. Неожиданно для самого себя Высотин сказал:

— Ни к чему этот разговор, Игорь! Цыплят по осени считают.

— Дело, дело говорит новый командир! — вставил, оживившись, Золотов.

— Люблю, когда наперекор идут! Что же, славное желание!... — Светов вскочил с кресла и, указывая рукой на иллюминатор, за которым виднелась палуба стоящего рядом «Дерзновенного», запальчиво, и от этого еще сильнее картавя, продолжал: — Вон мои матросы приборку после похода делают, флаги, белье сушат. Заурядное дело? Нет! Я воспитываю так, чтобы гвардейцы у меня были все, как один. Чтоб работали, как часы. Каждым своим шагом гордились бы: и когда палубу драят, и когда в бой пойдут!

В дверь постучали. Вошел Кипарисов и доложил:

— Команда на шлюпке при перевозе груза проявила самообладание и показала высокую морскую выучку.

Три командира внимательно слушали Кипарисова. И поэтому докладывал он особенно четко и скупно, тщательно подбирая слова. Говорил Кипарисов, обращаясь к Высотину, а глазами косил на Светова. Очень уж хотелось ему знать, какое впечатление произведет на командира «Дерзновенного» случай со шляпкой.

Когда Кипарисов окончил, наступила пауза.

— Молодцы! — не сдержавшись, прервал молчание Светов. — И мои гвардейцы лучше бы не справились!

— Значит, шляпка была перегружена сверх нормы? — переспросил Высотин.

— Я уже доложил... Боцман проявил высокое мастерство...

Кипарисов, высказав похвалу, сразу же о ней пожалел. Что-то осуждающее уловил он в тоне, каким задал вопрос Высотин.

— Э, да что там, победителей не судят! — примиряюще сказал Золотов и поднялся с кресла.

— Бывает, что и судят, Терентий Иванович, — сдержанно ответил Высотин. — Без нужды нельзя рисковать жизнью людей...

Золотов с сомнением почесал затылок.

— Случай-то мелкий, пустяковый, Андрей, — где уж тут «жизнью рисковать».

— Один раз пустяк, другой раз пустяк, а потом, когда несчастье случится, только руками разведешь. Словхватаешься, да уж поздно... И вообще нельзя, по-моему, допускать на корабле положение, чтобы каждый был сам себе хозяин и делал бы все, что захочет.

Кипарисов при последних словах нового командира вытянулся, лицо его приняло официальное, бесстрастное выражение.

— Вот что, Ипполит Аркадьевич, — мягко продолжал Высотин, обращаясь к старшему помощнику, — матросы от вас благодарность получили по заслугам, а боцмана Головенченко за нарушение инструкции следует наказать. Здесь, мне кажется, вы допустили ошибку. Согласны?

Кипарисов хотел было возразить, защищать боцмана, но за мягкостью тона Высотина он чувствовал непреклонную волю. «Мягко стелет, да жестко сплет».

— Это совет или приказание? — только и решился он спросить.

— Лучше, если примете как совет, Ипполит Аркадьевич.

— Есть. Разрешите идти?

Старший помощник повернулся по-уставному, вышел из каюты.

«...Да, непонятный человек Высотин, и поступки его неэтичны, — думал Кипарисов, поднимаясь по трапу. — Что же это? Хочет, наверно, все на корабле принизить, чтобы потом всякий успех в заслугу себе поставить. Недаром при приемке корабля цеплялся за каждую мелочь».

Кипарисов вздохнул и с раздражением распахнул дверь своей каюты.

Стараясь успокоиться, он нарочито медленно достал из ящика письменного стола коробку сухумского отбор-

ного табаку, сделал папиросу и оставил ее в янтарный мундштук.

Ему не хотелось думать о корабельных делах. Откинувшись в кресле, он задумчиво выпустил несколько колец дыма и вспомнил о женщине, с которой познакомился недавно и с которой он уже мысленно как-то связывал свою судьбу. «Интересная женщина — Анна Ивановна Субботина! — Кипарисов заглянул в висевшее над столиком зеркало. Достал гребенку и расчесал свои бакенбарды. — Да, она может сделать человека счастливым... Если бы я был свободен...»

Он поднялся, вытащил из мундштука окурок, с ожесточением раздавил его в пепельнице. Затем позвонил вестовому и послал его за боцманом.

7

Светов, Высотин и Золотов поднялись на палубу.

Город перед ними лежал, как в чаше. Прибрежное полукольцо скал смыкалось с высокими вершинами гор, образующих начало хребта, тянувшегося вдоль побережья. Сверкая брызгами, срывался водопад с отвесной, как стена, скалы, по отрогам хребта к городу со всех сторон спускались шоссевые дороги.

Туман, наплывший с океана, не дошел до города; он затопил островки, бухточки, залег в ущельях между скал, повис колышущейся пеленой над гаванью. К вечеру ветер повернул с берега, и его ровное дыхание было сухим и жарким.

— Край контрастов! — сказал Светов. — Только что я продрог от стужи в море, а сейчас — слышите, на берегу соловьи щелкают?

— Богатый край, удивительный! — подтвердил Золотов. — Сюда, знаете, прилетает птица ибис — сродни священному египетскому ибису — и здесь, на болотах, встречается с северной полярной совой.

— Много труда придется вложить в эту землю, — проговорил задумчиво Высотин. — Большой город будет здесь когда-нибудь. Может быть, такой же, как Севастополь, Одесса, даже Ленинград... — Он поглядел на берег.

Территория порта напоминала строительную площадку. Сложенный в клетки кирпич, штабеля досок и двутавровых балок, бочки с цементом виднелись повсюду. Несмотря на то, что уже вечерело, в порту былолюдно: каменщики в длинных фартуках возводили стены строящегося здания, слесари и водопроводчики в синих комбинезонах укладывали трубы, по крыше длинного пакгауза ходили маляры с кистями.

Неподалеку от порта, в излучине долины, подымались куполообразные крыши огромных эллингов и трубы судостроительной верфи. Выкрашенные в черный цвет, напоминающие гигантские коробки без крышек, стояли на якорях пловучие доки...

— Большой город... — повторил Светов слова Высотина. — Возможно, спорить с этим не приходится. По его постройке и без нас. А вот океан!.. — Светов сделал широкий жест в сторону горловины бухты. — Там наш простор, там наша сегодняшняя и будущая слава и честь!

Офицеры, разговаривая, шли по палубе. При виде их вытянулся в струнку командир орудия Ташыбаев; будто окаменела грузная фигура боцмана Головенченко, так и не успевшего выпустить из рук конец свернутого в бухту троса; замер, едва показавшись из дверей рубки, радист старший матрос Петров; дежурный по язам Донцов, спешивший с поручением старшего помощника, остановился на бегу и проводил командиров взглядом.

«Державный», до отказа натянув швартовы, будто стремился вырваться из гавани на просторы океана. Строгие очертания палубных надстроек, широкие трубы торпедных аппаратов, стволы орудий, лица матросов, загоревшие, спокойные, волевые, — все это Высотин отметил с удовольствием.

— А ведь придется еще, пожалуй, скомандовать, — продолжал Светов, идя рядом с Высотиным: — Полный вперед! Самый полный! Пусть туман, шторм, вокруг разрывы снарядов... И радиogramма флагману: торпедировал, таранил... пустил на дно врага! — Узкие глаза Светова заблестели, ноздри затрепетали, и казалось, будто он вырос.

Высотин только улыбнулся в ответ чуть насмешливо, но в то же время тепло. В Светове его всегда привлекала буйная сила, неудержимая жажда деятельности, энергия, бившая через край.

Высотин вспомнил, как еще, бывало, в училище Светов, занимавшийся неровно, частенько позевывавший даже на уроках тактики, вдруг предлагал свое оригинальное решение какой-нибудь задачи. Оно редко бывало грамотным во всех деталях, но главная мысль, неожиданная, дерзкая, план, рассчитанный на исполнителей бесстрашных и самоотверженных, находчивых и хладнокровных — этот план, изложенный с таким огнем и убеждением, как будто дело происходило не в стенах класса, а в штабе перед боем, захватывал и увлекал всех. Сам же Светов, высказав все, что хотел, снова сидел за столом скучающий и равнодушный.

Высотину, тогда секретарю партийной организации курса, частенько доводилось, беседуя с Игорем, упрекать его за излишнюю самоуверенность, за привычку делить предметы на любимые и нелюбимые, нужные и ненужные, за срывы в учебе. Ему и тогда очень хотелось, чтобы талантливый, дерзкий одноклассник нашел в жизни правильный путь.

«Что ж, видимо, за эти годы многому научился Светов. Выдержал экзамен войны. Стал Героем Советского Союза, командиром гвардейского корабля». Ход мыслей Высотина нарушил едва слышный, но все нарастающий гул самолета. Большая крылатая тень мелькнула в разрывах облаков.

— «Пе-2», что ли? — сказал Светов.

— Нет, не похоже, — заметил Золотов.

Самолет шел в облаках, направляясь к городу.

— Я пойду к себе в рубку. Чорт его знает, что такое! — сказал озабоченно Высотин.

— Что ж, пойдем и мы на главный командный пункт, — с шутиливой торжественностью предложил Светов Золотову.

На корабле внезапно зазвучали колокола громкого боя, извещающая о боевой тревоге. Почти сразу же вслед за этим

из люков и дверей стали появляться матросы. Стремительно пробегали они по палубе, громыхали каблуками по трапам, зажав зубами концы ленточек бескозырок, чтобы не сорвало ветром. На юте выросла массивная фигура боцмана и загремел его голос. Четко, как на параде, прошагал Кипарисов. С орудий слетели чехлы, из погребов подали боезапас. Прошла минута, другая, третья... и на «Державном» все замерло в напряженном ожидании. Только медленно двигались, прощупывая небо, стволы зенитных пушек и пулеметов.

— Красиво сделано! — сказал несколько удивленный Светов. — Эффектно, а? Превосходный предлог проверить боевую готовность.

— А по-моему, блажь. Люди и так намаялись за день, — ответил Золотов.

— Блажь, говорите? — Светов рассмеялся. — А знаете, блажь командира — тоже ведь вещь серьезная, так сказать, категория объективная. Ну, пойдемте-ка к нему. Я, пожалуй, распрощаюсь, да и к себе, на «Дерзновенный».

— Пойдите, пойдите!.. — прервал встревоженно Золотов.

Он, да и все находившиеся на палубе глядели в сторону берега. Низко над тайгой, над дымящейся трубой судоверфи, над эллингами шел тяжелый, незнакомой конструкции бомбардировщик.

Со стороны аэродрома, ревя моторами, мчалось ему наперез звено истребителей. Бомбардировщик резко повернул и пошел над портом.

Жерла пушек и пулеметов «Державного» повернулись ему навстречу. Командиры зенитных расчетов были готовы отдать решающий приказ. Казалось, в это мгновение перед летящим бомбардировщиком встанет завеса огня.

Но этого не случилось...

Истребители настигли бомбардировщик. Отрезая ему путь к морю, они как бы приглашали его на аэродром для посадки. Надсадно ревели их моторы.

Издали это походило на воздушную игру, на какое-то необычайное соревнование между большим и грузным самолетом и маленькими юркими истребителями.

От бомбардировщика вдруг протянулись огненные нити, затем в небе возникли белые облачка; они появились сразу в нескольких местах, набухая и растекаясь, как вляксы на промокательной бумаге. Рев моторов смешался с трескотней пулеметов.

Чужой самолет, упрямо прорывая круг осаждающих его истребителей, вначале круто взмыл вверх, затем равновесие вынул и понесся на крыло, к океану.

Все это произошло так быстро и так неожиданно, что Светов не успел принять никакого решения. Инстинктивно он поспешно обернулся в сторону «Дерзновенного» (так воин ищет свое оружие в минуту опасности); первое, что бросилось ему в глаза, было раздуваемое ветром, сушившееся на леерах «Дерзновенного» матросское белье.

Светов в ярости заскрипел зубами.

— Шляпа! — выругался он по адресу своего старшего помощника.

Задев плечом стоявшего рядом Золотова, он рванулся к сходням. Но в эту минуту на «Дерзновенном», наконец,

раздался сигнал боевой тревоги. Светов поднял голову. Небо было пустынным. Бомбардировщик и несущиеся над ним истребители уже скрылись в тумане.

Светов раздосадованно махнул рукой и, обернувшись к Золотову, бросил насмешливо:

— Ну, как насчет командирской блажи, Терентий Иванович? Выходит, враги-то не дремлют! — Не ожидая ответа, он сбежал по сходням, спеша на свой корабль.

8

Летелко было все эти минуты на душе Высотина. Он объявил тревогу, как только убедился, что никаких оповещений о самолетах не поступало. Объявил просто потому, что так полагалось, будучи в то же время уверен, что появился свой, заблудившийся в тумане самолет.

Высотин внимательно наблюдал за тем, как экипаж занимал посты по боевому расписанию... И вдруг это неожиданное возвращение бомбардировщика, появление истребителей. Секунду он еще сомневался: может быть, это учения? Но нет, бомбардировщик был явно чужой, и летел он по направлению к кораблю. Сомнения сразу исчезли. Да, перед Высотиным был враг — враг его Родины, его корабля, его личный враг.

Высотин швел ладонью по лицу, словно отменяя сомнения, снова взглянул на небо — над гаванью уже начался воздушный бой. Когда самолеты скрылись в тумане, Высотин спокойно сказал Кипарисову:

— Составьте донесение флагману.

— Есть! Думаю, однако, контр-адмирал выразит нам неудовольствие... — Голос у Кипарисова был скучным, и лицо его выражало разочарование.

— Почему?

— Очень просто. Могли бы этот вражеский бомбардировщик записать на свой боевой счет.

— У меня самого руки чесались, — признался Высотин. — Да нельзя ведь, Ипполит Аркадьевич, сами понимаете — инструкция.

— Эх, да что там инструкция! Подходящий момент упустили. Ведь он мог бы спикировать на нас, а в таких случаях разрешается стрелять.

— Когда бомбардировщик шел над нами, он еще не открывал враждебных действий, — сказал Высотин. — Еще не было до конца исключено, что это просто заблудившийся самолет чужой страны. Что же вы хотели, Ипполит Аркадьевич, чтобы я первым открыл огонь? За «Державным» ведь Родина стоит, мирный народ наш...

9

После отбоя тревоги матросы собрались на полубаке у железного бачка с водой, называемого «обрезом».

Вдали над океаном расцвела вечерняя заря. Меняя оттенки от багрово-красного до нежнозолотистого, она все никак не могла погаснуть. Вереница перистых облаков тянулась низко над прибрежными скалами, напоминая стаю летящих сизокрылых птиц. А море, казалось, дремало. Водяная гладь бухты то поднималась, то безмятежно опускалась, отражая тускнеющий свет заката.

Матросы курили медленно, отдыхая и наслаждаясь тишиной. Разговаривали негромко.

Со свернутого в бухту треса поднялся рослый, плечистый секретарь комсомольской организации Донцов. Затянувшись глубоко последний раз, он бросил окурок в «обрез» и отошел к стоявшему несколько поодаль Шермату Ташыбаеву, своему закадычному другу.

— О чем задумался, Шермат?

— Как тебе сказать, — Ташыбаев поднял глаза на Донцова, — ведь я сегодня первый раз в жизни живого врага увидел. — Почувствовал, что Донцов не улавливает хода его мыслей, Шермат пояснил: — Когда война была, я в школе учился. В газетах я читал о войне, еще с бойцами ранеными разговаривал, из Ленинграда учительница в нашем колхозе жила, но фашист был за тысячи километров, а сегодня он над головой у меня летел. Понимаешь?

Донцов кинул головой, поняв и то, чего не договорил его друг.

— Я видел, как бомбы в Одессе разрывались, — сказал Донцов. — В моей Одессе, на Дерибассовской. Думал, как победим, никто уж против нас никогда воевать не захочет. Он вытащил из кармана пачку папирс. — Курить будешь?

— Нет! — Ташыбаев смотрел на тихий в этот час город. Огней еще нигде не зажигали. В наступавших сумерках и здания, и деревья, и скалы теряли резкие очертания, становились легкими, округлыми, почти воздушными, и воздух был такой чистый и звонкий, что каждый звук разносился далеко-далеко. Все дышало мирным спокойствием.

До Донцова и Ташыбаева донесся насмешливый голос длинноногого радиста Петрова.

— Теперь, как пить дать, пошлют заграничные брехуны запрос Советскому правительству: заблудился, мол, наш самолет, — так не скажете ли, где он пропал?

— И во всем нас же будут обвинять. — По характерному, окающему волжскому говору Донцов, не оборачиваясь, определил, что эту фразу произнес Зеленцов.

— А кто им поверит? Рядился волк в шкуру овечью, да без толку: по запаху все почувяли волка.

«Это уж, кажется, Мошкин», — улыбнувшись, подумал Донцов.

— Слушай, Шермат, а как с твоим изобретением? — обратился он снова к Ташыбаеву.

— Ты же знаешь, к экзаменам готовился, — нехотя отрываясь от своих мыслей, ответил тот, — некогда и вздохнуть было. А вот сейчас отдохну немного и снова займусь.

Донцов посмотрел на скуластое, осунувшееся за последнее время лицо друга и задумался.

Ташыбаев был заочником судостроительного техникума и учился упрямо, настойчиво, пользуясь каждой свободной минутой. Недавно, используя предоставленный ему в виде поощрения отпуск, он уезжал за несколько сот километров, чтобы досрочно, до начала летней кампании, сдать зачеты. Уже больше месяца Донцов не давал Шермату никаких комсомольских поручений, чтобы не отвлекать его от занятий, и теперь понимал, что надо дать другу хоть отдышаться. Но сегодняшний случай был особый.

— Слышишь, Шермат, — сказал он осторожно, — над-то все толкует о самолете. Нам мимо этого пройти нельзя. О бдительности напомнить надо, а ты ведь агитатор неплохой. Возьмешься?

— Хорошо, — ответил Ташыбаев. — Время я найду.

— Вот и ладно! — Донцов поглядел в сторону океана. Над выходом из гавани все еще колыхалась туманная пленка, скрывающая даль. Донцов подумал о том, что теперь в плавание «Державный» поведет новый командир. «Лучше или хуже с ним служить будет, кто знает?» Вспомнился Золотов, который последние дни ходил по кораблю угрюмый, замкнутый.

— Как думаешь, Шермат, наверное, «бате» жаль с кораблем расставаться?

Ташыбаев задумался. «Батя» — так на флоте матросы часто называют за глаза своих командиров, независимо от их возраста, иногда даже совсем молодых, но только тех, к которым относятся с уважением и любовью. Еще не так давно и к Золотову не шло это прозвище, а все же без него не обходились в разговорах на полубаке. Зато в последнее время, хотя отяжелевший Золотов и стал внешне гораздо больше похож на солидного отца большого семейства, словечко «батя» почти исчезло из употребления на «Державном». И то, что Донцов, вообще недолюбливающий жаргонных выражений, назвал старого командира именно так, многое открыло Ташыбаеву.

— И нам ведь тоже жаль, — ответил он наконец. — Может быть, новый командир и лучше будет, да ведь все равно он новый. Правда?

— Верно! — Донцов обрадовался тому, что друг думает так же, как и он. — Вот и пришла мне мысль, Шермат, на память ему от комсомольцев модель «Державного» сделать, чтоб все точно, — от клокотка до кила. Согласен? Ведь ты дока в этом деле...

Шермат не успел ответить. На полубак вышел лейтенант Озеров и позвал к себе Донцова.

Снова донеслись до Ташыбаева голоса матросов, продолжавших обсуждать сегодняшнее происшествие.

— Чего там было чикаться?! — шумел, воинственно размахивая салфеткой, вестовой Мошкин. — А то к бою первыми изготовились, а стрелять — кишка тонка.

— А может, он и вправду заблудился? — спрашивал Зеленцов.

Ташыбаев шагнул к разговаривавшим.

— Вам надо бы в степях у нас пожить, — сказал он спорщикам.

— Это еще зачем? — удивился Зеленцов.

— А затем, — продолжал совершенно спокойно Шермат, — что дали бы вам стадо овец пасти. День, другой, третий человека б не видели. Привыкли бы больше думать, меньше говорить. Если бомбардировщик заблудился, почему вежливо на посадку не пошел, как приглашали? А насчет того, чтоб «чикаться», как вы говорите, насчет этого давайте потолкуем.

Озеров в это время говорил шагавшему рядом с ним Донцову:

— Большую работу нам надо будет провести, беседы организовать. Собрание комсомольское. Подумайте, пошлее обсудим.

— Так что, сегодня народ соберем? — спросил Донцов. — Нет, это надо подготовить. А пока пусть матросы отдыхают. — Озеров ушел в кают-компанию.

Донцов постоял немного, прислушиваясь. Говор на полубаке умолк. «Заскучили, наверно, ребята». Донцов спустился в кубрик и вышел оттуда с баяном в руках. Растянув меха, заиграл непромко песню о «Заветном камне», потом, опершись спиной о шпиль, вдруг перешел на «Флотское яблочко» с переборами.

Лица у задумчиво сидевших матросов повеселели. Петров, не подымаясь с бухты троса, в такт музыке застучал подметками.

— Ну-ка, Мошкин! — крикнул Донцов.

Вестовой, отбросив салфетку, выскочил в круг.

— Эх!.. — и понесся гоголем по палубе.

Все быстрее играл Донцов, а Мошкин плясал с упоением, выкидывая невиданные коленца, шел вприсядку, взлетал почти на высоту человеческого роста.

— ...Давай, давай! — хлопая в ладоши, шумели матросы.

Кто-то озорно и громко свистнул.

10

Офицеры в кают-компании ждали Высотина и Золотова. Разговор, касавшийся истории с самолетом, постепенно угас. Штурман Россинский сидел у пианино и одной рукой лениво наигрывал собственного изобретения полурри из вальсов. Рядом стоял, задумчиво пощипывая маленькие черные усики, командир электромеханической боевой части инженер-капитан-лейтенант Махотин. Кипарисов, опершись локтями о стол, рассеянно наблюдал, как командир артиллерийской боевой части Гаранин и фельдшер Плакуша играли в шашки. Озеров в чем-то убеждал корабельного лейтенанта, потупившего глаза и задумчиво водившего тупым концом столового ножа по скатерти.

— Значит, прощаемся сегодня с Терентием Ивановичем?! — неожиданно громко сказал Россинский.

Ему никто не ответил. Только Плакуша, напряженно обдумывавший очередной ход, пробормотал машинально:

— Прощаемся, прощаемся...

Россинский обвел глазами кают-компанию и, повернувшись на стуле, с грохотом захлопнул крышку пианино. Он начал службу на «Державном» вместе с Золотовым. Они вместе прошли через войну. И хотя он не был близок к командиром, не мог он себе представить «Державный» без Золотова. Россинскому казалось странным, что не Золотов, с трудом сгибающая свое полное тело, будет склоняться над столом штурмана, контролируя прокладку курса, а кто-нибудь другой; что услышит он не обычную фразу: «Формальность выполняю, а так мы, штурман, старые волки, могли бы без проверки доверять друг другу», а какую-нибудь другую, может быть, даже и обидную для него — на службе ведь всякое бывает. Наконец, вообще приятней и привычней подчиняться своему сверстнику, который в неслужебное время называет тебя Николаем Арсентьевичем, ценит в тебе хорошие качества и охотно прощает маленькие слабости,

чем человеку молодому, который, как это свойственно молодым людям, захочет все и всех переделать на свой образец.

Россинскому было грустно, его возмущало равнодушие окружающих. Он резко спросил:

— Разве вы не любите Терентия Ивановича? Ну, вот вы, лейтенант? — обратился он к Плакуше.

— Я очень уважаю и люблю капитана второго ранга, — сказал, с недоумением посмотрев на штурмана, Плакуша.

— А вы, лейтенант Гаранин? — продолжал опрос штурман.

— И я, конечно.

— А вы, Озеров?

— Погодите, штурман, — перебил Россинского Кипарисов, — мы все уважаем нашего бывшего командира. Он много знает, ценил нас за то, что служим, как положено.

«Говорят, как об «уважаемом цкафе», — вспомнив чеховский образ, подумал Россинский, — будто не занимал Терентий Иванович никакого места в их жизни».

В коридоре послышались шаги. Кипарисов замолчал.

Не в правилах старшего помощника было высказывать вслух свои сокровенные мысли. Да и вообще был он сторонником того, чтобы отношения между офицерами на службе возможно реже выходили за рамки строгой официальности. Однако, пресекая затеянный штурманом разговор, Кипарисов отнюдь не был таким спокойным, каким хотел казаться. Не то чтобы он любил Золотова или очень сожалел о разлуке с ним. Нет, подобные чувства он счел бы ненужной сентиментальностью, но просто многие личные его, Кипарисова, планы теперь приходилось пересматривать. При Золотове Кипарисов был на виду. Он обладал почти неограниченной свободой действий на корабле. Золотов, всегда спокойный и уверенный в непоколебимости своего авторитета, всегда расхваливал старшего помощника — его выдержку и точность, исполнительность и знание им дела. Сам Золотов знал военно-морское дело, конечно, получше Кипарисова, да и вообще немногие из командиров кораблей в соединении имели такой опыт, как он, но знания Золотова лежали, как забытый клад, в глубине поросшего тиной пруда. Золотов не совершал грубых ошибок, но и ничем никого не удивлял. Кипарисов же умел и почерпнутое у командира выставить, как свое, напоказ. Вот и получалось, что все положительное на «Державном» частенько в штабе незаметно относилось на счет старшего помощника, все отрицательное объясняли инертностью командира. Кипарисов был убежден, что это впечатление вполне соответствовало действительности, что Золотов по самой своей природе человек ограниченный, без полета, что будь он, Кипарисов, командиром «Державного», его корабль ни в чем не уступал бы, например, «Державенному». И «делать по-кипарисовски» звучало бы в соединении несколько не хуже, чем «делать по-световски». Рано или поздно и это должны были понять в штабе. Кипарисов терпеливо ждал близкого, как ему казалось, часа, когда он из свободного в своих действиях, но все же только старшего помощника превратится в полноправного хозяина «Державного». Поэтому отстранение от должности Золотова

в общем не было неожиданностью для Кипарисова. Неприятной неожиданностью было другое — назначение Высотина, прибывшего в Белые Скалы из Москвы. Каков новый командир? Как сложатся с ним взаимоотношения? Эти и подобные этим вопросы тревожили Кипарисова с каждым днем все больше. А главное — мечту о командовании кораблем приходилось откладывать на неопределенный срок. Пока нужно было вновь завоевывать доверие, зарекомендовать себя перед Высотиным образцовым офицером.

Дверь в кают-компанию распахнулась. Кипарисов вытянулся, как струна.

Старый и новый командиры вместе вошли в кают-компанию.

— Прошу к столу! — сказал Высотин и жестом предложил Золотову занять командирское место во главе стола.

Пока офицеры рассаживались, Золотов стоял, смотря через иллюминатор куда-то вдаль.

— Товарищи офицеры! — сказал он тихо. — Вместе мы много потрудились. Хочу пожелать вам с новым командиром служить еще лучше, совершенствоваться, идти вперед...

Золотова слушали спокойно. Высотин, наблюдавший за кают-компанией, не заметил ни в ком, кроме разве штурмана, следов волнения.

Пытливо поглядев на офицеров и обратив внимание, вероятно, на то же, что и Высотин, Золотов вздохнул. Этот глубокий вздох, казалось, сломал лед в кают-компании. Офицеры почувствовали, что их старому командиру по-настоящему тяжело с ними расставаться.

Потеплели глаза у Гаранина, беспокойно задвигался Плакуша.

— Помните, Терентий Иванович... — произнес Россинский.

И начался разговор, весь состоявший из воспоминаний. Теперь каждый искал в памяти такие эпизоды, которые особенно приятно было бы вспомнить старому командиру. Золотов оживился, даже как будто повеселел. Но Высотин обратил внимание на то, что все, о чем говорили, относилось только к прошлому. Все эпизоды, о которых вспоминали, имели трехлетнюю, а то и четырехлетнюю давность. Никто не касался сегодняшнего дня корабельной жизни. Эту тему обходили. «Будто стесняются. Будто каждый считает неинтересными для других свои служебные дела. Что же это они так, неужто связывает их с командиром только прошлое?!» — подумал Высотин. Потом он с надеждой посмотрел на Золотова. «Может быть, он сам переменит тему разговора». Но Золотов, целиком отдавшийся воспоминаниям, видимо, ничего другого не желал и не ждал.

Между тем воспоминания постепенно иссякли, и тогда вдруг наступила неловкая пауза, которую, казалось, нечем было заполнить. Каждый занялся собой. Застучали ножи. Вестовые бесшумно сменяли тарелки. Гаранин, наклонившись, шепнул что-то на ухо Плакуше, и тот засмеялся. Озеров продолжал начатый еще до ужина разговор с интендантом. Золотов несколько секунд еще ждал чего-то, смотря на офицеров поверх сверкающего в электрических отвесах, уставленного хрусталем стола, но

ништо к нему не обращался. Тогда и он опустил глаза и нехотя принялся за еду.

«Может быть, и был когда-то Золотов душой кают-компани, — подумал Высотин, — но только это было давно». Высотин почувствовал, что и он, сидевший рядом с Золотовым напротив Кипарисова, оказался как бы изолированным от всех остальных офицеров. Поэтому он даже обрадовался, когда в кают-компанию вошел радист Петров и подал полученную из штаба радиограмму. На следующий день назначалось совещание командиров кораблей, на которое флагман вызывал командира «Державного» с докладом.

— Не легко у вас начинается служба, — сказал Золотов, прочитав радиограмму.

Высотин только пожал плечами.

11

Кипарисов сидел у себя в каюте и перечитывал письмо, уже две недели ждавшее ответа.

«Ты бы, вероятно, хотел, чтобы я написала тебе так: «Уважаемый Ипполит Аркадьевич, деньги на содержание вашей дочери я, как всегда, своевременно получила. Уважающая вас Мария Краева». А я так не могу. Я смотрю на нашу Светланку и узнаю в ней твои черты. Когда она сердится, у нее такие же, как у тебя, холодные, чуть прищуренные глаза; когда думает, она так же, как ты, ладошкой поглаживает волосы, и губы у нее твои, и спрашивает она: когда придет папа? И я не могу ей ответить, что папы нет, что папа погиб. Я уверена, если бы ты увидел ее теперь, ты бы ее полюбил, ты не смог бы с ней расстаться. Я вспоминаю, как на пороге последнего месяца войны ты сказал мне: «Мы знаем друг друга только неделю», но сказано это было так, что мне хотелось добавить: «А кажется, будто любим друг друга уже давно».

Я бы хотела увидеться с тобой. Ты не подумай только, что я навязываюсь. Я просто убеждена, что и у тебя, как у меня, было искреннее чувство, а если это так, оно не могло совсем исчезнуть. Я до сих пор не понимаю, что случилось с тобой. Мы должны увидеться хотя бы ради нашей дочери, чтобы жить вместе или, если уж расстаться, то расстаться без сомнений.

Я буду ждать твоего письма. Денег не посылай. Я брала их раньше, чтобы Светланка не нуждалась ни в чем. Теперь у нас с ней всего достаточно.

Мария».

Кипарисов провел рукой по волосам и вдруг нервно отдернул руку. «Светланка... Ей уже больше четырех лет... До чего все-таки бывает странной и запутанной жизнь».

Всего два месяца провел он с сестрой из военного госпиталя Марией Краевой. Чувство, возникшее между ними, казалось ему самому сильным и искренним. Может быть, оно продолжало бы развиваться и крепнуть, оставайся они вместе. Но вскоре окончательно выздоровевший после легкого ранения Кипарисов получил назначение в Белые Скалы. Он уехал один.

В дороге пришли первые сомнения. Вспоминая историю своей любви, он вернулся к первой ночи, проведенной с Марией.

Это произошло в окружавшем госпиталь яблоневом саду. Сначала Мария стояла, прислонившись к стволу старого дерева, осыпаемая белым цветом. Он видел только ее лицо, круглое, доброе, милое, свернутую кольцами — одно на другом — толстую золотистую косу в высокой прическе, широко раскрытые глаза.

«Все это произошло слишком быстро, по-фронтальному», — подумал Кипарисов. Стало сразу же обидно и горько. «Почему же я раньше никогда об этом не думал?» — задал он себе вопрос. И ответил: «Чепуха». Но сомнения уже не оставляли его. Чем больше отдалялась от него Мария, тем чаще он задумывался над тем: была ли это настоящая любовь?

Была в его сомнениях и другая сторона. Кипарисов любил помечтать о своем будущем. Мечтая, он всегда представлял себя в адмиральском мундире. Он мысленно ставил рядом с собой Марию и разочарованно вздыхал: «Да, она слишком проста. Обыкновенная медицинская сестра, каких тысячи, с семилетним образованием, без особых перспектив. Она будет все больше и больше отставать от меня».

Постепенно убеждение в том, что Мария для него не пара, окрепло в Кипарисове. Колебания кончились, и он, твердо решив вычеркнуть ее из своей жизни, написал ей: «Возвращения к прежнему быть не может».

Ответ прибыл неожиданный. Мария сообщала, что она беременна. Затем родилась дочка. Сначала это не произвело на него особого впечатления, но потом, когда он получил фотографию крохотной девчужки с большим бантом, чем-то неуловимо напоминающей его самого в детстве, он вдруг снова почувствовал, что от Марии к нему тянется какая-то необорванная, связывающая их нить.

Из месяца в месяц Кипарисов переводил Марии половину своего денежного содержания, но писем не писал, ограничиваясь двумя-тремя скучными фразами на обратной стороне почтового перевода.

Кипарисов примирился с этим неопределенным положением, и, может быть, так продолжалось бы еще долго. Но теперь перед его глазами вставала Анна.

Кипарисов спрятал в бумажник фотографию дочери, еще раз перечитал письмо. Закурил. Прошелся по каюте. Снова сел в кресло, сжав голову руками.

«Надо как-то кончать», — тоскливо подумал он.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Поздно вечером, когда из штаба было получено «добро», Золотов взял чемодан и вместе с Высотиным поднялся на верхнюю палубу.

Небо казалось бездонным. Звезды отражались в черных волнах, тяжело бившихся о гранит набережной.

— До свидания, Андрей, не поминайте лихом, — сказал Золотов.

— Я провожу вас, Терентий Иванович!
— Не надо, Андрей. И посылать со мной никого не надо.

После прощального ужина ему не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. «Уже ни к чему, да и слишком тяжело». Золотов отвернулся от Высотина.

— А я вам матросов выделил — вещи помочь донести, проводить до квартиры...

— Нет, нет...

На кораблях перезванивали склянки. Синий огонь горел на мачте «Державного». Он указывал на то, что корабль является дежурным. Над темным, похожим на верблюжий горб далеким мысом восходила луна, и свет ее был неестественно красным, словно за скалами, в море, разгорался пожар.

— Наведывайтесь, Терентий Иванович.

Золотов ничего не ответил. Махнув рукой, он пошел к сходням. Дежурный офицер, увидев Золотова, подал команду «смирно!» Это последний раз ему — как командиру корабля.

На корме тонкой иглой чернел в сумерках флагшток. У сходней замер часовой; поблескивал над его плечами граненый штык.

Под ногами Золотова закрипели сходни. Первая... шестая... двенадцатая перекладина — их счет Золотов знал наизусть. С каждым шагом он будто что-то живое отрывал от себя... Наконец — теплая и безмолвная земля, закованная в асфальт и гранит, с вмурованными чугунными тумбами для крепления швартовых тросов. Светлая усыпанная гравием дорога, тянувшаяся мимо длинных пажаузов, мимо сияющих огнями зданий портовых мастерских к лестнице, ведущей в город.

С моря слышались звуки баяна, кто-то молодо и звонко пел: «На рейде большом легла тишина, и море окутал туман...» В песне таилась грусть. Потом послышался смех и дурашливый возглас: «Эх ты, Дуня, моя Дуня!» — это на баке «Державного» веселились матросы. Обычно Золотов любил слушать их песни. Укрывшись где-нибудь в тени палубных надстроек, посасывая трубку, он стоял долго и неподвижно, задумчиво смотря в океан. Постепенно настроение матросов передавалось ему. Он забывался, мурлыкал под нос мотив «Варяга» или слегка прислукивал ногой в такт лихому матросскому «Яблочку» и всегда возвращался к себе в каюту будто помолодевшим и полным сил. Но сейчас чужое веселье вызывало только досаду и обиду: «Прошел я в их жизни, как катер по морю, пошумел, воду взбурлил, а исчез — и следа не осталось».

Из тени, отбрасываемой пажаузом, вышли трое моряков, поравнявшись с Золотовым, четко отдали честь.

— Товарищ капитан второго ранга, разрешите помочь вам?

Он был так углублен в мысли, что от неожиданности вздрогнул.

Моряки стояли молодцеватые, подтянутые. Золотов внимательно посмотрел на них. Один — высокий, широкоплечий — Донцов из боцманской команды, секретарь комсомольской организации, другой — тоненький, почти юноша, Ташыбаев, матрос-изобретатель. Третий — коре-

частый круглоголовый старшина — его фамилию Золотов припомнить не мог.

Все-таки, помимо воли, было приятно, что они были здесь, что подошли к нему.

— Позвольте, — старшина нагнулся и взял из рук Золотова чемодан.

— Спасибо! Как ваша фамилия?

— Я Зеленцов...

— Не помню, — чистосердечно признался Золотов.

— Разве всех упомнишь, товарищ капитан второго ранга? — Зеленцов сказал это без обиды, тоном человека, привыкшего оставаться в тени. И все же Золотов почувствовал себя неловко.

— Кто же вас послал?

— Старший помощник разрешил, — ответил Донцов. — Вы к нам в кубрики не успели зайти попрощаться? Ну, мы и решили проводить вас, пожелать всего хорошего в жизни. У нас между собой разговор был...

— О чем?

— Ведь и нам укор... И мы за корабль ответчики, — сказал Ташыбаев.

Золотов стало не по себе. Матрос говорил так, будто командира списывали за какие-то провинности. «Откуда он это взял?»

Они пошли вместе. Золотов не мог забыть слов Ташыбаева и все поглядывал искоса на него.

— Товарищ капитан второго ранга, — обратился Донцов, — куда назначение получаете?

— Не знаю еще. — Золотов насторожился.

— Хотелось бы, чтоб к нам заходили... — Донцов не договорил.

Золотов почувствовал взволнованность в голосе старшины.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется, — ответил Золотов.

— Это верно. «Державный» для нас — что дом родной.

— Да, — сказал Золотов и вздохнул. Настороженность, возникшая было в начале разговора, исчезла. Они заговорили о «Державном», о его людях, вспомнили прошлое, понимая друг друга с полуслова.

«Вот они какие, — подумал Золотов. — Как же это случилось, что говорю с ними по душам первый раз?..»

Подойдя к дому и распростившись с матросами, Золотов еще долго стоял у калитки и смотрел им вслед.

Деревянный дом стоит среди деревьев, белеет в темноте куст цветущей черемухи. Из окон на траву, на дорожку падает квадратами электрический свет. Неподалеку стоит второй такой же дом, дальше третий, четвертый, пятый... словно близнецы. Здесь живут офицеры и старшины сверхсрочной службы. Носит улица громкое название: Морской проспект, но пока это только прорубленная в тайге просека, вдоль которой тянутся свежие, еще пахнущие сосной дощатые тротуары. Поблескивают в траве рельсы будущей трамвайной линии, а по обеим сторонам улицы, освещенные фонарями, высятся огромные

кедры и дубы в два и три обхвата, обвитые лианами, диким лимонником и виноградом.

Золотов в обычное время любил, приходя сюда, несколько минут побродить между деревьями, потом, не заходя в дом, позвать Полину и, присев с ней рядом на скамейку, сказать: «До чего же хорошо на берегу! Век бы не покидал его». Полина смеялась. Оба они знали, что фраза эта — только фраза, и что уже через час-другой Золотова будет неудержимо тянуть на корабль. Но много лет назад молодой лейтенант сказал так своей жене, считавшей, что любящие друг друга люди совсем не могут расставаться. С тех пор эта фраза и стала чем-то вроде традиционной шутилкой дани семейным воспоминаниям. Он и сегодня здесь вспомнил о ней, но на этот раз она показалась ему неприятной: «Сам накликать беду!»

Золотов, тяжело вздохнув, поднялся на крыльцо, достал ключ, открыл дверь. Медленно прошел через коридор мимо общей кухни — в доме две семьи: его, Золотова, и интенданта Евтерева. Пахнуло знакомым запахом любимых цветов Полины, еще чем-то родным и близким. Он на мгновение остановился у двери: «Ну, вот и дома».

В столовой тишина. Из щели в двери, ведущей в спальню, пробивается узкой полоской свет.

У окна маленький письменный стол. На нем стопочка книг рядом с бюстом Ленина, в вазочке букет полевых цветов.

«Неужели Полины нет?» Золотов помрачнел. Он привык к тому, что жена, как бы ни была она занята, всегда ждала его, когда он сходил на берег. «Сегодня уж во всяком случае ей не следовало задерживаться на заводе», — подумал он. Все эти дни, занятый передачей «Державного», Золотов так и не решился навестить домой.

Секунду-другую он постоял в темноте, стараясь подавить в себе возникшую досаду, затем прошел в спальню.

Старшая дочь, взобравшись с ногами на кушетку, читала книгу. Увидев отца, она вскочила, бросилась ему на шею.

— Где мама, Оленька?

— Мы не ждали тебя сегодня. Витю и Ваню я сама уложила. Мама звонила, что придет поздно...

«Конечно, меня никто не мог ждать. Так отчего же все-таки так досадно?..»

Золотов нащупал было в кармане трубку, но вспомнил, что Полина пресила не курить в спальне, ласково погладил дочь по голове и заглянул в детскую. Там горел ночник, освещая разметавшихся во сне сыновей-погодков. Ребята спали, закинув друг на друга руки и ноги; взлохматились их русые волосы, головы сползли с подушек. «Богатыри мои!» — подумал Золотов.

— Папа, ты ужинать будешь? Есть холодное мясо, молоко... — Дочь говорила озабоченно, подражая матери. У нее такой же, как у матери, высокий открытый лоб и светлые волосы, только у Полины они лежат пышным узлом на затылке, а у Оли заплетены в тоненькие косички.

— Ставь, Оленька, все, что есть в буфете...

— Если хочешь принять ванну, папа, я пойду готовить.

— Спасибо, не надо. Накрывай уж стол, хозяйка ты моя.

Он взял полотенце и пошел в ванную. В соседней комнате играла радиолка. Раскрылась дверь, и в коридор вышел сосед, в пижаме, в туфлях-шлепанцах; в одной руке он нес эмалированную сковороду, в другой — тарелку с яйцами. Следом за ним в легком белом платье шла его жена Любаша.

— Добрый вечер! — сказал Золотов.

— Вот поглядите, Терентий Иванович, — сказал, зловываясь, Евтерев, — во всем я угождаю ей... Когда-нибудь, к золотой свадьбе, книгу напишу, ей-богу: «Пятьдесят лет под каблучком у жены». Неплохо?

— Не слушайте его, Терентий Иванович! — вмешалась Любаша. — Я бы сама могла приготовить ужин, но Михаил, — она кивнула в сторону мужа, — уверяет, что даже яичница требует особого кулинарного искусства...

— Любаша, не разблачай! — воскликнул Евтерев. — Семейная жизнь состоит из жертв, и это только мужчины глубоко понимают... — Он в шутку потряс сковородкой, словно щитом.

— Ты у меня рыцарь... — сказала Любаша.

— О, таким и должен быть офицер, — подтвердил Евтерев, передавая жене сковороду. — Прошу вас на кухню!..

Муж с женой переглянулись и рассмеялись.

Золотов вошел в ванную, разделся и открыл душ. Холодные струи колко захлестали по телу. Даже перехватило дыхание. Кожа покрылась пупырышками. Золотов шлепал ногами по кафельному полу, приплясывал, пожевываясь, подставляя попеременно то спину, то грудь струйкам воды... Потом выскочил из хлещущего, шумящего дождя и, закрыв кран, принялся с ожесточением растирать мохнатым полотенцем. За дверью раздался голос Евтерева:

— Терентий Иванович, вы еще долго?

— Входите, если один, я одеваюсь...

Евтерев вошел, держа перед собой вымазанные в желтке руки.

— Будь, она неладна, эта кулинария! Бабье дело. Яйцо в руке сам не знаю как хрустнуло... — Евтерев подошел к умывальнику. — Сегодня ваш боцман Головенченко получил много шкиперского имущества.

— Хорошо... — сказал рассеянно Золотов.

— Каждому командиру корабля приятно иметь дельного боцмана. А мои интенданты жалуются: не боцман, а вымогатель...

— Зачем же даете?

— То есть?!

— Если не положено по табелям, если интенданты жалуются...

— И-и! — Евтерев снял пижаму и принялся умываться. — Что такое для корабля лишний бочонок краски, бухта троса, тюк пакли? Это же — красота! «Державный» — ваш корабль. Я хочу, чтобы все на нем сияло! — Я сдал «Державный»...

— Что вы говорите?! По какой причине? — Евтерев повернул к Золотову намыленное лицо.

— Без причины ничего не бывает... — Золотов хотел ответить ничего не значащей шуткой, но голос его прозвучал невольно грустно. Евтерев уловил это.

— Да... — протянул он, — так сказать, диалектика жизни... — и сокрушенно вздохнул.

— Не надо об этом... — сказал Золотов и вышел из ванной.

В столовой Оля, надев передник матери, казавшийся на ней широкой юбкой, уже хлопотала вокруг стола. Она налила в стакан молока, поставила тарелку с мясом и хлебом.

— И я хочу есть... — сказала она, садясь рядом с отцом. — Ты был в эти дни в море?

— Нет...

— Почему же ты так долго не был дома? — Дочка удивленно подняла брови.

— Я был очень занят, доченька.

— Значит, ты учился? — Оля решительно тряхнула косичками, отставила в сторону стакан. На верхней губе у нее осталась молочная пенка, она слизнула ее языком. — Мама говорила, что когда моряки не плавают, они учатся на корабле. Это верно?

— Да, Оленька...

— И вам тоже ставят отметки? — спросила она, шаловливо улыбаясь.

— Да, Оленька...

— А я сегодня ответила на пять по физике.

Золотов обычно интересовался успехами дочери и подробно ее обо всем расспрашивал, но сегодня он только кивнул головой. Оля даже обиделась.

— У тебя такой вид, папа, как будто ты тройку получил.

— Я очень устал, Оленька...

— Ты будешь ждать маму?

— Буду. — Разговор с дочерью снова встревожил его.

— Ну, как хочешь. — Оля сняла передник, зевнула. — Спокойной ночи, папа!

— Спи, Оленька. — Золотов поцеловал дочь.

Оля ушла в детскую. Стукнули об пол упавшие ботинки. Вспомнив, что жена придет очень усталой, Золотов собрал со стола посуду, вынес ее на кухню.

Дверь квартиры Евтерева была приоткрыта, сквозь приглушенную музыку слышались голоса. Говорила Любаша.

— И без того мне скучно, когда ты на службе. Всеческие совещания, собрания, командировки... А личная жизнь? Неужели такова участь всех жен офицеров?

«Девчонка, совсем еще девчонка, к тому же капризная. Но что же ответит Евтерев?»

— Милая ты моя! Так живут все!

— Как ты не поймешь? Я чего-то все жду, жду, как перед каким-то розыгрышем, в котором я непременно выиграю...

— Странно, — нерешительно сказал Евтерев.

Золотов положил в таз грязные тарелки и вернулся в комнату. Погасив свет, он подошел к окну и распахнул его. Над тайгой от края и до края разрасталось зарево. Больше всего огней было на окраинах, там, где шло строительство: электрические фонари подымались на сшки, словно далекие сторожевые аванпосты. Где-то пронзительно свистел паровоз узкоколейной дороги, доносились сигналы автомашин... По дощатому тротуару шли рабочие в комбинезонах, в брезентовых куртках, со

свертками в руках. Парни и девушки двигались к заводу веселой гурьбой. Золотов уловил обрывки фраз:

— Здорово отличились наши летчики!

— Научили, чтобы не совался!

— Нужно нам держать ухо востро...

Неожиданно над тайгой возник заводской гудок, откликнулся другой, третий; гудки слились, будто кто-то мощным басом тянул одну бесконечную низкую ноту. Приближалась ночная смена.

Пешеходы заполняли узкие тротуары. Золотову из окна были видны их силуэты. Гудки неожиданно оборвались. Некоторое время еще слышалось шипение пара, потом стало так тихо, что Золотов услышал, как где-то в тайге заревел изюбр.

В коридоре раздались торопливые шаги. В комнату вошла Полина. Она пошарила рукой по стене, ища выключатель, но, заметив у окна фигуру мужа, не стала зажигать света, подошла и прижалась к нему:

— Я очень торопилась. Как будто чувствовала, что ты дома! Ты совсем? Все кончено с «Державным»?

— Да. Теперь я вольный казак, — невесело пошутил Золотов.

Полина заглянула мужу в глаза и, поняв все, что творилось у него в душе, нежно провела рукой по его волосам. Золотов поймал ее руку и крепко сжал. Помолчав немного, Полина сказала:

— Ничего, Тереша, ничего. Чует мое сердце, скоро опять будешь плавать.

— Может, и не доведется... — хмуро возразил Золотов.

— Не говори так, откуда это у тебя? — Полина взяла мужа за руку. — Ты что — узнал, почему тебя списывают?

— Нет. Пока все то же: «В распоряжение штаба...» А ты как сама думаешь, Поля? Только прямо говори.

— Как тебе сказать... — Полина помолчала, подыскивая слова. — Нет, не думаю... Давно мне казалось, что неладно что-то у тебя, давно за тебя тревожилась.

— Но почему же? Почему? Фактов, пойми, фактов я хочу...

— Ты уж прости, родной, — Полина отстранилась, взяла мужа за плечи, — можно иногда чувствовать и без конкретных фактов, — сказала она с болью.

— Да... — протянул неудовлетворенно Золотов. — Такой уж у тебя неудачник муж?

— Ах, Тереша... Разве я упрекаю тебя? Мне только хочется, чтобы ты верил в свои силы, не говорил бы, что ты неудачник. Судьбу свою человек сам творит, и ничто само по себе не приходит. Вот я сегодня страшно устала, но работа так увлекла, что я допоздна задержалась... А по дороге о тебе, о детях думала. И столько всегда есть неотложных дел, что, кажется, остановись на минуту — и все без тебя остановится. А жить, родной, хоть нелегко, но зато как интересно...

— Я рад за тебя, милая... — перебил Золотов.

— Ты опять не понял меня?

— Нет, понял. Но мне тяжело...

В окне показалась луна, на полу комнаты пролегли черные тени от ветвей деревьев, поглубели занавески на окнах.

— Дети спят? — спросила Полина.

Золотов кивнул головой.

— Я ужинал с Олей, а ты есть хочешь?

— погоди! — Полина крепко пожала руку мужа. Помолчала, будто к чему-то прислушиваясь. — Будет у нас еще сын... Ты счастлив?

Золотов привлек жену к себе:

— С тобой мне всегда хорошо, родная.

— Мне очень больно за твои неудачи по службе. — Она чувствовала, что мужу неприятно, но не могла не вернуться к этому разговору. — Что ты решил делать? Как смотрят на твой уход с «Державного» товарищи? Как Высотин относится к тебе и как ты к нему? Вы расстались, как прежде, друзьями?

— Внешне — да. Но мне очень обидно за самого себя. И я не могу скрыть горечи. Не могу! Высотин, наверное, это почувствовал. Пойми, Полина, никогда я и в мыслях не допускал, что так скоро доведется свое место ученику уступить. Это меня особенно угнетает, — с трудом признался Золотов.

— А если бы Высотин принял не «Державный», а другой завод, ты был бы рад за него, своего ученика?

Золотов кивнул головой.

— Ну, это другая статья.

— Нет, не другая, — мягко возразила Полина, — я, например, даже довольна, что именно Высотину, а не кому-нибудь другому ты сдал «Державный».

— Почему? — удивился Золотов. — Вместо того чтобы поддержать, ты еще больше расстраиваешь меня.

— Мы с тобой давно вместе, Тереша, и чем дальше — все ближе становимся друг другу. Правды нам бояться нечего, — Полина говорила взволнованно. — Мы должны жить одной душой, одним сердцем! Я довольна, что на «Державный» вместо тебя пришел Высотин. Ученик обгоняет учителя, если тот сам не растет. И ты должен это понять, как бы ни было тебе тяжело.

Золотов ничего не ответил.

Полина мягко отвела руку мужа, подошла к столу, включила настольную лампу. Зеленоватый свет от абажура осветил ее раскрасневшееся лицо, светлые волосы, по-девичьи заплетенные в две косы и уложенные узлом на затылке. Полина достала из ящика книгу и протянула мужу:

— «Рассуждения по вопросам морской тактики» адмирала Макарова... Я случайно купила у букиниста.

— Заботливая ты у меня! — сказал Золотов.

Высокая, немного располневшая, Полина двигалась по комнате быстро и бесшумно. Золотов невольно залюбовался женой. Она хорошела, становилась все женственнее и привлекательнее после каждых родов, несмотря на то, что почти никогда не отдыхала. Как-то Золотов, видя, что ей тяжело управляться по хозяйству, предложил взять домработницу. Полина отказалась. «Пойми, я люблю это, — сказала она. — Так хорошо, когда знаешь, что до всего дотрагивалась своими руками. Я буду неспокойна, если не буду этого делать...»

Шли годы, росли дети, но время как будто проходило мимо нее. «Она родит еще пятерых ребят и все будет такая же сильная, здоровая, красивая», — подумал Золотов и улыбнулся.

— Ты чего улыбаешься? — спросила Полина.

— Я подумал, что ты будешь матерью-героиней!

— Пожалуй, не успею... — тоже улыбаясь, сказала Полина. Она больше не настаивала на продолжении приятного для мужа разговора.

Полина ни минуты не могла сидеть без дела. Поужинав, сняла жакетку и, присев на диван, принялась пришивать пуговицы к ребячьим лифчикам, одновременно рассказывая о своих заводских делах.

— Сколько у нас талантливых людей, Тереша! На днях, я слышала, приходил на завод один матрос, киргиз. Оказывается, работает над изобретением. В конструкторском бюро работой этого матроса очень заинтересовались.

Золотов почти не слушал, он думал о своем. Пододвинув стул, подсел к жене с книгой в руках. Он любил эти ночные часы, когда в доме тишина, дети спят и можно обо всем поговорить.

— Я думаю, меня пошлют на учебу... — отвечая своим мыслям, сказал он.

— Если это надо, ты, конечно, поедешь, — Полина вздохнула, — хотя нам будет тебя нелегко.

В коридоре раздался звонок.

— Кто это идет к нам в такой поздний час? — Золотов недовольно поднялся.

— Вот и не дали нам поговорить, — сказала Полина, откусывая нитку и откладывая в сторону работу. — Я сама открою.

— Если к тебе по делу, я почитаю на ночь. — Золотов поцеловал жену и прошел в спальню.

Полина вышла на крыльцо. Тоненькая женщина в накинутом на плечи белом газовом шарфе стояла на пороге.

Вглядевшись, Полина узнала жену Светова Татьяну. Световы жили в соседнем доме, но Полина с Татьяной встречались редко. Светова жила замкнуто, сторонясь всего, что выходило за пределы интересов ее дома. Полина давно испытывала чувство симпатии к этой маленькой, красивой и, кажется, слишком застенчивой женщине, несколько раз пыталась привлечь ее к общественной жизни, приглашала в кружок самодеятельности, на лекции, диспуты, но Татьяна всегда отговаривалась занятостью. Вот и сейчас она пришла только одолжить пачку чая: забыла днем купить. Взяла и сразу же заторопилась. А куда ей спешить? Во всем поведении Татьяны чувствовалась какая-то настороженность, в ее огромных до неправдоподобия синих глазах — скрытая боязнь. «Нет, что-то у нее неблагополучно. Нужно узнать, помочь», — решила Полина.

— Погодите, я провожу вас.

Женщины медленно пошли по дорожке, петляющей среди деревьев.

В одном из окон показалась Любаша с гитарой в руке. Забренчали струны. Послышался сонный голос Евтерева:

— Люба, соседей разбудишь!

— Я тихонечко... Михаил, выгляни, что за чудо сегодня луна!

— Завтра мне рано вставать...

— Ты спи, Михаил, а я немного погуляю... — Любаша, перебросив ноги через подоконник, прыгнула в траву.

— Сумасшедшая! — крикнул Евтерев, высовываясь из окна. — Ноги промочишь. Обожди, я сейчас оденусь!

— Хорошо, — сказала Любаша. Она прислонилась к стволу лиственницы, оплетенной вьющимися лозами дикого винограда. Сквозь ветви пробивался призрачный свет, густая трава была в лунных пятнах, в ней то вспыхивали, то гасли огоньки светлячков.

— Итти бы сейчас и итти куда-нибудь... — прошептала Любаша.

На крыльцо, мурлыча, вышел кот, спустился по ступеням и, обходя росистую траву, пошел к кустам, хищно блестя глазами.

Неясные шорохи слышались в кустах. С дороги доносился рокот моторов. Любаша вышла из тени. Белое платье ее стало нежно-голубым, волосы отливали бронзой.

По крыльцу, громыхая каблуками, сбежал Евтерев. «Брысь!» — он откинул ногой кота, пытавшегося перебежать ему дорогу.

— Ни за что мне сегодня не уснуть, — сказала Любаша, идя рядом с мужем.

— Немного прохладно, — он поежился, — ты дрожишь?

— Нет, мне хорошо... Я вот все думаю о самолете, о котором ты рассказал... Вот так ночью посыплются бомбы, и нужно будет прятаться от неба, звезд... — Любаша вздрогнула. — Неужели, Михаил, будет еще война?

— Ее никто из честных людей не хочет, милая.

— Мы и прошлой войны не хотели, а все-таки она началась. Нас бомбили ночью, я выскочила раздетая, прижимая подушку. Дом горел, а на крыше оставался отец. Он дежурил на посту и не мог спуститься, потому что был ранен, а лестница была охвачена пламенем. Разве это можно забыть?..

— Нет. Это уже не повторится на нашей земле, — сказал Евтерев.

— Все равно... Если война, это ужасно!

Евтерев поглядел на бледное и нежное лицо жены, на синие белки ее широко раскрытых глаз и ничего не сказал. Он подумал о том, что все еще не знает жены. Она всегда поражала его неожиданными поворотами в своих настроениях.

На дорожке показалась Полина.

Проводив Татьяну, она возвращалась медленно, опустив голову, целиком погружившись в свои мысли. К тревоге о муже прибавилась тревога о Татьяне. «Игорь будет недоволен», — слишком часто повторяла она эти слова. Хотя Татьяна и сегодня не была откровенна, Полина женским сердцем угадала, с какой стороны идет беда. Это можно было определить по тому, как жадно слушала Татьяна каждое слово Полины о ее семейной жизни.

— Полина Васильевна, и вы гуляете? Правда, какая хорошая ночь? — приветливо прозвучал голос Любаша.

Полина будто очнулась.

— В самом деле... а я и не заметила... — Она остановилась.

— Хорошая-то хорошая, да комары заживо съесть могут, — вставил Евтерев.

— Наверное, я лунатик, — сказала Любаша. — Днем просидела над пьесой, даже голова разболелась, сейчас тянет на волю.

— Как вам дается роль? — спросила Полина.

— Плохо. Не могу представить себя неверной женой. Это для меня пока еще так сложно. — Она лукаво посмотрела на мужа.

— Незачем тебе это представлять, — проворчал Евтерев.

Любаша, не обращая на него внимания, спросила Полину:

— Вы придете на репетицию?

— Непременно. Вы уж постарайтесь, Любаша! Ведь кружок впервые ставит такую большую пьесу.

Евтерев, кашлянув, солидно произнес:

— Люба бредит спектаклем, а таланта нет.

Любаша, отвернувшись от мужа, сказала:

— Вот ты всегда так, Михаил... — В ее словах были и упрек и обида.

— Мужья часто не хотят видеть талантов своих жен, — заметила Полина. — Вам бы, Михаил Сергеевич, надо всячески поощрять Любу.

— Хорошо, — Евтерев тряхнул головой, приняв какое-то решение, — хорошо, тогда и я буду ходить на репетиции.

— Зачем? — удивилась Любаша.

— У меня есть голос, хочу развить!

— Вот и прекрасно! Вместо одного таланта сразу два... Однако мне нужно итти.

Полина, распростившись с Евтеревыми, вошла в дом. «Трудная все-таки штука — семейная жизнь», — подумала она.

В спальне, куда она вошла, стояла тишина. Неяркий кружок света от ночника падал на лежавший у кровати коврик. Золотов спал, повернувшись к стене. На краю постели лежала раскрытая книга. Полина взяла книгу и прочла подчеркнутые рукой мужа слова: «Дело духовной жизни корабля — есть дело самой первостепенной важности, и каждый из служащих, начиная от адмирала и кончая матросом, имеет в нем долю участия».

Полина положила книгу на стол. Вышла в детскую. Младший сын открыл глаза, сказал «мама» и тотчас же заснул. Полина постояла у изголовья, прислушиваясь к ровному дыханию детей, тихонько поцеловала их, собрала разбросанную одежду.

За окном в дощатом курятнике неожиданно хрипло зашел петух.

Полина погасила свет и начала раздеваться. Оконные стекла запотели, стали зелеными. В верхнем углу окна виднелась ветка черемухи, и один листок, казалось, прилип к стеклу.

Почти всю ночь в квартире Световых горел огонь. На фоне белых оконных занавесей то вырисовывался, то вновь пропадал темный силуэт невысокого, энергично жестикуловавшего мужчины, а у самого подоконника ви-

ден был неподвижный женский профиль и часть руки, закрывавшей глаза скомканным платком.

Привычный, годами проверенный уклад семейной жизни Световых вдруг дал глубокую трещину. И это было тем более досадно и неприятно, потому что Игорь Николаевич не видел никаких причин для «трагедии».

Светов в собственном доме вел себя, как на корабле, по раз навсегда установившимся правилам. Подымаясь на второй этаж, он уже знал, что Татьяна ждет его, прислушиваясь к шагам на лестнице. Переступив порог, он касался губами жеманной щеки, клал фуражку на столтик у вешалки и уходил в ванную. Пока он умывался, Татьяна успевала заменить в столовой зеленую пушистую скатерть белой крахмальной, поставить на стол два прибора и одну, напоминавшую чашечку белой лилии, редкую по красоте хрустальную рюмку.

Накинув легкую полосатую пижаму, Светов садился к столу. Накладывал салат в тарелку. Наливая в рюмку вино, спрашивал коротко: «Какие вести?» Потом он молчал, а Татьяна, отложив вилку в сторону, читала ему вслух очередное письмо от сына, учившегося в Нахимовском училище далеко от Белых Скал. Поужинав, Игорь Николаевич уходил работать в кабинет. Татьяна приносила ему туда стакан крепкого чая, забирала наполненную окурками пепельницу. Пока он работал, она ждала его, что-нибудь делая по хозяйству; потом они ложились спать.

Так шло из месяца в месяц по неписаному домашнему уставу. Светов считал Татьяну идеальной женой, не раз говорил ей об этом и был убежден, что, следовательно, оба они должны быть полностью удовлетворены семейной жизнью. Если бы кто-нибудь сказал ему, что Татьяна недовольна своим положением и что она готова возмутиться, для него это прозвучало бы такой же нелепостью, как если бы недовольство выразила картина Айвазовского, висевшая над его письменным столом.

И тем не менее сегодня было так: Светов постучал в дверь раз, другой, но никто не отзывался. Удивленный и даже несколько встревоженный, он отыскал в кармане ключ и открыл дверь.

— Татьяна!

Он прошел в столовую, спальню, кабинет, заглянул даже в ванную. Жены не было. Вернувшись в столовую, Светов опустился в кресло и раздраженно забарабанил пальцами по подоконнику.

«Где же она может быть?»

Татьяна пришла минут через пять, покрасневшаяся, залыхавшаяся.

— Где ты была? — недовольно спросил Светов, едва жена переступила порог столовой.

— У Золотовых. — Татьяна показала глазами на пачку чая. Она чувствовала себя виноватой, но ее покорила тон мужа.

— Неужели трудно сделать свои дела до моего прихода?.. Даже в собственном доме порядка не добьешься.

— Игорь!..

— Ну что — Игорь? — Он чувствовал, что, пожалуй, переборщил, но, вспомнив о сегодняшнем неприятном казусе на «Дерзновенном», рассердился еще больше: — Да, нет порядка! — Он сбросил китель и пошел в ванную.

Возвратившись в столовую, он сразу же принялся за ужин.

Золотов и Высотин вряд ли узнали бы живого, веселого Светова в этом хмуро уставившемся в тарелку офицере, с недовольным видом уплетавшем тонкие ломтики залитой горчицей соленой кеты.

Татьяна придвинула свой стул к столу, села. Вдохнула.

— Ну, что там такое? — спросил Светов, не подымая глаз.

— Почему ты всегда такой неласковый, Игорь? — сказала Татьяна с упреком.

Светов удивленно посмотрел на жену. У Татьяны чуть вздрагивала нижняя губа, пальцы комкали носовой платок. Это было неприятно. Жена казалась сейчас слишком маленькой, тщедушной и жалкой.

— Неласковый? — усмехнулся Светов. — Что же мы, молодожены? Знаешь, в нашем возрасте разные «пупочки-мупочки» были бы попросту смешны.

— Ах, Игорь, поговорил бы хоть со мной по-человечески!

— О чем же говорить? — Он развел руками. — Кажется, обо всем переговорили. Да и новостей никаких нет. Не о службе же тебе рассказывать?

— У других, Игорь, не так... — Она будто не слышала остального и теперь вспомнила свой разговор с Полиной. «Золотовы тоже давно женаты...» На глазах у нее показались слезы, и от этого мягкая синева ее зрачков, казалось, поблекла. Она нервно поднялась и отошла к окну. — Мне кажется, что ничего, ничего между нами не осталось... — Татьяна опустила голову.

Светов перестал есть. Наступила неприятная пауза.

«Ничего нет хуже семейных сцен. Всегда поступаешь не так, как хочешь», — с досадой подумал он.

Теперь следовало бы, конечно, подойти к жене, обнять, успокоить. Светов понимал это. Однако ничего, кроме раздражения, на душе не было.

На столе остывали набухшие маслом, покрытые тонкой коричневой корочкой котлеты по-киевски. Светов машинально ткнул вилкой в тарелку. Внезапно ощутил голод и принялся за еду, испытывая истинное удовольствие от любимого блюда. Он только приличия ради сохранял расстроенное выражение лица и искоса поглядывал на худенькую вздрагивающую спину Татьяны.

Наливая вино, он опрокинул рюмку, Татьяна оглянулась. В ее больших, покрасневших от слез глазах Светов увидел какую-то неожиданную, непривычную для него решимость.

— Черствый ты, однако, человек, Игорь!

Непрожеванный кусок во рту мешал Светову говорить. Может быть, поэтому он ответил неловко и немного растерянно:

— Танюша, дорогая, что с тобой? — Он подошел к жене, потянул ее по плечу. Однако Светов чувствовал в каждом своем движении какую-то фальшь. Татьяна отбросила его руку и выбежала в спальню.

Светов остался у окна. Он действительно толком не мог понять, что случилось, чего ей нехватает. Раньше ведь ничего подобного не было.

«Отправить разве ее недельки на три к сыну», — мелькнула мысль. Однако он тут же представил себе свою квартиру, сразу принявшую в отсутствие Татьяны запущенный, нежилой вид, и отказался от первоначального намерения. «Нет, зря сына растрепожу. Капризам потакать — только новые наживать. И так успокоится». Он нерешительно шагнул по направлению к спальне, но вдруг махнул рукой, повернулся и вошел в кабинет.

Когда Татьяна услышала удаляющиеся шаги мужа, звук захлопнувшейся двери кабинета, она бросилась на кровать и уткнулась в подушку. Она давно уже чувствовала, что Игорь постепенно отдаляется от нее, что время, когда они оба жили одними его интересами, когда он ощущал ее как часть самого себя, безвозвратно ушло. И она тосковала, боясь сказать ему о своей женской и человеческой тоске, потому что привыкла говорить и делать только то, что нужно ему. Татьяна и сегодня промолчала бы в ответ на грубость Игоря, если бы не говорила до этого с Полиной, если бы не позавидовала ее счастью. Как хотелось ей, чтобы муж проявил хоть немного чуткости, сказал хоть одно слово любви. В волнении она вскочила и стала ходить по комнате, потом села у окна, задумалась, даже успокоилась; возбуждение улеглось и сменилось глухой болью. Она увидела, как погас свет в квартире Золотовых. Перевела взгляд на улицу, прислушалась к отдаленным голосам. Парни и девушки гурьбой возвращались с гулянья, о чем-то оживленно споря. Промчалась, озаряя фарами дорогу, машина, протарахтел трактор.

«У всех, у всех есть в жизни своя цель, своя дорога, свое движение, — подумала она, — а у меня только место в комнате, как у вещи...»

Ей стало душно. Она высунулась из окна, глубоко вдохнула ночной воздух. И ей неудержимо захотелось сделать что-нибудь такое, что сравняло бы ее со всеми живущими в соседних домах людьми, идущими по улице, работающими на сияющем огнями заводе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Совещание офицеров соединения происходило в салоне командующего. Особое, напряженное внимание, с каким слушали доклады начальника штаба и командира «Державного», суровая сдержанность, которой были отмечены все выступления, невольно напоминали о совещаниях военных лет. Не было обычных для повседневных сборов шуток, не говорили в перерывах о вещах, не имевших никакого отношения к обсуждавшимся вопросам. Все внимание было приковано к случаю, из ряда вон выходящему и тревожному: иностранный самолет нарушил границу.

Контр-адмирал Серов легко поднялся из-за стола. Его живые пронизательные глаза на мигновение задерживались на каждом из сидевших в салоне офицеров. Адмирал точно еще раз мысленно оценивал и взвешивал качества подчиненных ему людей. Проведя рукой по настольному стеклу, как бы смахивая видимую ему одному соринку, он громко сказал:

— Итак, товарищи офицеры, сделаем выводы...

Светов, вскинув голову, сидел на крашке кресла, опираясь рукой об угол стола, и, казалось, вот-вот готов был вскочить с места. Лицо его хмурилось, пальцы крепко сжимали лежащий на коленях блокнот.

Рядом с невысоким нетерпеливым Световым Золотов выглядел чересчур большим и спокойным. Он сидел, скрестив руки на груди, заложив ногу на ногу, и всем своим видом будто хотел сказать: «Собственно, все здесь происходящее меня непосредственно уже не касается».

Высотин волновался и, волнуясь, как всегда, краснел. Наклонясь к Золотову, он шепнул:

— Я уверен, что поступил правильно, а вот — неспокоен...

Золотов не ответил. Взгляд у него был рассеянный. Высотин отвернулся разочарованно. «Опять, видно, Терентий Иванович о себе только думает. Или обида у него на меня?»

— Появление заморского «гостя» над Белыми Скалами — явление не случайное, — продолжал контр-адмирал. — Его экипаж открыл огонь по нашим самолетам. Это провокация! — Контр-адмирал сделал секундную паузу. — Считаю необходимым отметить действия нового командира «Державного» капитана третьего ранга Высотина, первым объявившего боевую тревогу.

Высотин облегченно вздохнул.

«Командира «Державного» Высотина», — болезненно отдалось в сердце Золотова. — Разве боеготовность «Державного» не следствие моей многолетней работы? — Он искоса взглянул на Высотина: — Везет же человеку». Однако тут же подумал, что в том, как действовал по боевой тревоге экипаж «Державного», не было ничего ни необычайного, ни тем более выдающегося, что так действуют все экипажи кораблей и что это в конце концов только нормальный уровень боевой подготовки. И не на эту сторону дела сейчас обращал внимание командующий.

Золотов, опустив голову, слушал контр-адмирала.

— Но есть и выводы неутешительные. Не сомневался, что наши посты наблюдения, оборудованные лучшей в мире советской техникой, могли, несмотря на туман, более своевременно предупредить о появлении чужого самолета. Это относится к вам, товарищ полковник.

Сидевший позади Высотина коренастый военный с желтым худощавым лицом встал, вытянув руки по швам.

— Садитесь! С вами будет еще особый разговор, — бросил жестко Серов и поглядел на Светова.

— Удивлен, чтобы не сказать больше, беспечностью командования гвардейского корабля...

«Беспечностью», — повторил про себя Золотов. Казалось, все, о чем бы ни говорил командующий, к кому бы он ни обращался, било теперь одним концом и по нему — Золотову. «Ведь это я, именно я первый был повинен в беспечности, когда решил, что объявление боевой тревоги просто блажь Высотина», — подумал Золотов, и голова его опустилась еще ниже.

— ...Да, признаться, от командира «Державного» этого никто из нас не ожидал... — говорил сурово контр-адмирал.

— Разрешите доложить, — вырвалось у Светова. Забывшись, он вскочил.

Контр-адмирал строго поглядел на прервавшего его офицера и сказал недовольно:

— Что ж, разрешаю...

— Я отсутствовал. На «Дерзновенном» в этот момент был старший помощник... Он наказан мною за промах.

Серов недовольно нахмурился. Движением руки он поставил Светова сесть.

— Хороший командир никогда не отсутствует на корабле, — подумав, сказал контр-адмирал. Голос его звучал еще строже и непреклоннее. — Не отсутствует, где бы он ни находился. Не понимаете, Светов? Дух командира, его воля, его мысль всегда живут в людях, которых он воспитал. Есть командир на корабле, нет его — он отвечает за все поступки подчиненных! Их доблесть — его доблесть. Их ошибка — его ошибка! — Командующий вновь провел рукой по стеклу, поправил лежащую на столе папку с бумагами и добавил: — Чтобы не ошибаться, когда говорите «я», думайте «мой корабль», а за кораблем умеете видеть флот, всю Родину...

Теперь Серов заговорил о мирном труде народа, строящего коммунизм, о военском долге армии и флота, стоящих на страже советских границ, о личной ответственности каждого офицера и матроса.

— Учите своих людей и сами учитесь мыслить по государственному. Тогда никакая провокация не застанет вас врасплох. Никакая! — закончил командующий. Он сел, пригладил седые, гладко зачесанные назад волосы и достал портсигар.

— Прошу курить, товарищи офицеры.

Официальная часть совещания закончилась. Офицеры закурили. Они знали привычку контр-адмирала: после совещаний или собраний запросто толковать с подчиненными.

Свет электрической люстры отражался на полированных, отделанных под дуб переборках салона. Над письменным столом контр-адмирала в большой раме — портрет товарища Сталина в маршальском мундире. Палуба в салоне была покрыта дорогим пушистым ковром (подарок колхозников Узбекистана). В простенках между иллюминаторами висели портреты прославленных русских флотоводцев.

Золотов набил трубку и стал рассматривать висевший напротив портрет Ушакова. У адмирала орлиный взгляд, чуть насушенные седоватые брови. «Да, Федор Федорович, с корабля уйти — что дом родной потерять! Это вы хорошо понимали», — подумал Золотов и, погрузившись в невеселые мысли, стал ждать часа, назначенного командующим для разговора.

— Товарищ капитан третьего ранга, — обратился контр-адмирал к Светову. — Вы знаете, в отделе кадров сложилось мнение, что у вас появилась привычка отделиваться от людей, которые вам не нравятся. Почему, например, вы сейчас списываете котельного машиниста, матроса Стебелева?

— Считаю, что ему не место на гвардейском корабле, — быстро, не задумываясь, ответил Светов.

— Где же ему место? — В голосе контр-адмирала слышалось удивление.

— В интендантстве, на блокшиве, не знаю, не берусь судить. Но я не могу допустить, чтобы у меня служил плохой матрос, человек с тяжелым, неисправимым характером, — выпалил Светов картавя.

— А вы можете допустить, чтобы где-нибудь в другой воинской части говорили, что недисциплинированный матрос пришел к ним с гвардейского корабля? Или вы думаете, что по нему не будут судить о вас? «Тяжелый, неисправимый характер». Чепуха! Характер матроса мы с вами не столько оценивать, сколько воспитывать призваны!

— Я сделал всё возможное, — упрямо*сказал Светов.

— Все возможно?! Так ли это?..

— Да! — подтвердил Светов. — В этом я убежден.

Высотин внимательно прислушивался к разговору. С каждой минутой в нем росло возмущение. Он-то сам хорошо знал, что означает так называемый «неисправимый характер».

В 1919 году четырехлетним мальчишкой Высотин потерял отца, путиловского литейщика, красноармейца, павшего под Красным Питером от пули интервента, а спустя год умерла от тифа его мать. Три холодных и голодных года Андрей беспризорничал, нищенствовал и, наконец, потеряв веру в людей, озлобился на весь мир.

В декабрьскую вьюжную ночь его, окоченевшего от жестокого мороза, подобрала краснофлотцы ночного патруля в одной из подворотен и взяли на корабль.

Дикого, как волчонок, мальчишка, приходившего в ярость из-за каждого слова, которое казалось ему обидным, не выносившего поучений и не верившего ласке, воспитывали терпеливо и настойчиво, сделали юнгой, матросом, послали учиться.

Высотин задумался. «Тяжелый, неисправимый, — повторил он про себя, — нет, к сердцу человеческому всегда можно найти пути».

— Меня не надо понимать буквально, но ведь не напрасно существует пословица: «горбатого могила исправит», — донесся голос Светова.

Высотина всего передернуло. «Глупость говорит Игорь. Не имеет права командир отзываться так о подчиненных». — Густые, взъерошенные брови Высотина сдвинулись, он приподнялся в кресле, готовый вмешаться в разговор контр-адмирала со Световым, но вдруг встретил удивленный взгляд начальника политотдела, стоявшего за спиной командующего. Этот взгляд — умный, спокойный и твердый — остановил его. «Опять моя дурацкая несдержанность», — подумал Высотин и крепко сжал руками подлокотники кресла.

— Значит, убеждены, что ваш матрос не поддается воспитанию... так, так, — постукивая карандашом по столу и будто обдумывая какое-то решение, протянул Серов. — Ну что ж, видно, придется перевести матроса Стебелева на другой корабль. Может быть, кто-нибудь из присутствующих выручит командира «Дерзновенного»?

Контр-адмирал говорил с иронической улыбкой, как бы стремясь задеть самолюбие Светова.

То ли потому, что сидевшие в салоне командиры кораблей понимали это, то ли потому, что каждый из них не хотел брать на себя без нужды лишнюю обузу, то ли про-

сто не желая обидеть Светова — трудно сказать, что было решающим, но во всяком случае все молчали.

Светов по-своему оценил это молчание; на его лице появилось торжествующее выражение. «Кто же может взяться за то, что не удалось мне», — казалось, говорил его взгляд. Высотина раздражала самоуверенность Светова. «Почему торжествуешь, Игорь? Разве можно быть таким равнодушным к судьбе человека?»

И Высотин решил.

— Товарищ контр-адмирал, я ходатайствую об откомандировании матроса Стебелева на «Державный», — сказал он сдавленным от волнения голосом.

Светов клокоча поглядел на Высотина, скривил тонкие губы и сказал, обращаясь к командующему так, будто не слышал слов Высотина:

— Раз надо, так надо, товарищ контр-адмирал. Я попробую еще применить к Стебелеву кое-какие крайние меры...

— Нет! Пробовать больше не разрешим, — неожиданно вмешался в разговор Звенигоров. — С таким настроением командир «Державного», пожалуй, может до отчаяния довести матроса своими крайними мерами.

Контр-адмирал, полуобернувшись в кресле в сторону начальника политотдела, спросил:

— Значит, вы считаете...

— Я считаю, Кирилл Георгиевич, что надо удовлетворить ходатайство командира «Державного».

— Что ж, на том и порешим...

Контр-адмирал, отпустив офицеров, предложил остаться Золотову.

Светов вышел из салона и, быстро спустившись по трапу, зашагал по пирсу. Он слышал голос окликавшего его Высотина, но даже не обернулся. С «высочкой» он разговаривать не хотел.

Высотин шел медленно, задумавшись, мысленно проверяя и оценивая свой поступок. «Нехорошо. Светов обиделся. Не понял. Сочтет, пожалуй, карьеристом. Может, и другим внушит мнение, что командир «Державного» выслуживается!» И все же он не жалел. И если бы завтра еще раз повторился подобный случай, он снова поступил бы точно так же.

В темноте вспышками электрических огней переговаривались корабли. Будто спрессованный из сгустка мглы, виднелся силуэт «Державного».

— Да, каждый раз и точно так же! — повторил Высотин вслух.

2

Когда командиры кораблей покинули салон контр-адмирала, вслед за ними, распрощавшись, ушел и Звенигоров. Серов и Золотов остались наедине.

Вестовой принес чай и вазочку с тонкими поджаристыми сухариками; Серов гостеприимно раскрыл пачку «Казбека» и расстегнул верхний крючок на кителе.

Золотов обратил внимание на то, как изменилось лицо Серова. Только полчаса назад, на совещании, оно казалось жестким, словно вытесанным из камня; явственно

выступали желваки на скулах, три прямые, будто проведенные линейкой морщины пересекали его широкий лоб, глаза казались холодными. Теперь морщины на лбу разгладились, желваки исчезли, все линии стали более мягкими и округлыми. У контр-адмирала было доброе, открытое лицо, глаза его смотрели устало, но очень доброжелательно.

У Золотова стало легче на душе. Разговор предстоял дружеский и длинный.

— Что ж, спрашивайте, Терентий Иванович, — сказал Серов, — мы ведь с вами старые знакомые. Давайте, поговорим начистоту.

Золотов немного подумал. Спросил коротко:

— Учиться отпустите?

— Учиться — да! Отпущу — нет! — Серов улыбнулся одними глазами. — Что, загадками говорю? Объясню, только позже. А раньше вы ответьте мне: разве вам легко будет расстаться с друзьями, с городом, который на ваших глазах строится?

Золотов молчал. Он не понимал, куда клонит командующий.

— Мне нет смысла отпускать такого командира, как вы, Терентий Иванович. — Контр-адмирал придвинул к себе вазочку. Он хорошо видел, что спокойствие у Золотова только кажущееся. Сейчас должен был последовать взрыв.

— Но тогда почему же?.. — Голос у Золотова дрогнул.

— Вы хотите знать, почему вас переводят...

— Да, почему? Разве «Державный» на последнем месте в соединении, разве худших командиров уже не было? — Большая, глубоко скрытая обида, наконец, прорвалась.

— Хуже были! Да они и есть у нас, к сожалению, пока, — Серов сделал ударение на этом «пока». — Корабли, которые отстают от «Державного». Есть, например, «Звонкий»; командир на нем молодой, менее опытный. Но учтите, в прошлом году дела у него шли лучше, чем в позапрошлом, в этом — гораздо лучше, чем в прошлом, а в будущем, уверен, — прекрасный будет корабль! Главное у них есть — движение вперед! А у вас застой — три года на месте топчетесь, а топтаться на месте — значит отставать. Давно ли «Державный» сравнительно на хорошем счету был, теперь — на среднем, а завтра? На каком он был бы завтра, если бы все осталось попрежнему, — об этом вы подумали?

— Но кто же в этом виноват? Разве я не выполнял всех приказов, требований, даже пожеланий командования, разве не шла у меня учеба строго по плану? Не понимаю! — Золотов по-настоящему страдал, потому что не мог найти причины своих ошибок.

— Да, понять не легко. Причину трудно обнаружить прямо в одном-двух фактах. Она не лежит на поверхности, а коренится в самой глубине вашего сознания.

Серов задумался.

Случай с Золотовым был не шаблонным и не укладывался в привычные рамки. Обыкновенно снимали с должности только плохих командиров, и то после многочисленных бесед, предупреждений и выговоров, окончательно убедившись в том, что офицер не соответствует должности, которую занимает. С Золотовым дело обстояло иначе. Он

был знающим и опытным офицером, который, однако, притерпелся к недостаткам и перестал волноваться из-за замечаний, воспринимая их как нечто обычное и даже обязательное, неизбежно сопутствующее службе. Но самым опасным было то, что его отношение к делу стало уже передаваться и экипажу корабля.

Для того чтобы преодолеть самоуспокоенность Золотова, нельзя было пользоваться обычными методами, воздействия — замечаниями и выговорами, они не могли дать нужного результата. Золотова надо было хорошенько встряхнуть, поставить в новое положение, в такое, где бы он вынужден был по-иному, гораздо более требовательно и глубоко, оценить свою прежнюю службу. К такому выводу Серов пришел после долгих размышлений.

— Я думаю, все дело в том, Терентий Иванович, — продолжал командующий, — с какой точки зрения, с какой высоты смотреть на все приказы и требования. Если смотреть с высоты завтрашнего дня, с высоты огромных задач флота — много увидите, много сделаете. Если же не подниматься выше своего командирского мостика, будете все выполнять по форме точно, а по сути равнодушно. Мелко плавать будете. Во вчерашнем дне застрянете, Терентий Иванович. Что случилось, по-моему, на «Державном»? Потеряли вы чувство перспективы и перестали быть душой своего коллектива. Вот и стал рассыпаться коллектив, прекратился его рост.

Золотов молчал, напряженно думая. Наконец с трудом проговорил:

— Ехать учиться мне абсолютно необходимо.

— Учиться — да, ехать — не обязательно. — повторил Серов. — Всем в академию ехать не обязательно, всех и не вместят никакие академии, а учиться нужно изо дня в день... — Он взял со стола книгу в матовом коричневом переплете, раскрыл ее на хорошо знакомой странице и протянул Золотову. — Прочтите и подумайтесь!

«Настоящая закалка кадров, — читал Золотов, — получается на живой работе, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей. Помните, товарищи, что только те кадры хороши, которые не боятся трудностей, которые не прячутся от трудностей, а наоборот — идут навстречу трудностям для того, чтобы преодолеть и ликвидировать их. Только в борьбе с трудностями куются настоящие кадры».

— Ясно? — спросил адмирал.

— Да! — ответил Золотов. Он чувствовал, что есть в этих мудрых сталинских строках обвинение, предъявленное ему. — Да, но что же я должен сделать?

Серов задумался. Он знал, что сейчас еще раз удивит Золотова. «Снять и тут же...» Контр-адмирал усмехнулся. И все же он был убежден в скрытых возможностях Золотова, убежден и в том, что в новых условиях сумеет заставить его преодолеть ту силу инерции, которая долго держала опытного командира в состоянии покоя.

Серов помешал ложечкой чай в стакане, отхлебнул и сказал:

— Я дам вам должность, Терентий Иванович, которая сначала, может быть, покажется вам менее интересной, но вскоре, я уверен, вы увидите в ней свои преимущества.

— Что же это за должность? — спросил Золотов.

— Будете работать в штабе, — сказал Серов.

— В штабе? — переспросил удивленно Золотов, — ведь в штаб-то берут лучших, отличившихся командиров...

— В общем это так, — спокойно ответил Серов. — Но должности в штабе бывают разные... Впрочем, не это главное... Я думаю, тут важно не только то, каков человек, каков офицер есть, а и то, каким он может и должен стать. — Контр-адмирал говорил медленно, задумчиво, будто теперь на слух взвешивал и проверял свои выводы. — Вы ведь слышали и сами, наверно, толковали не раз о так называемом индивидуальном подходе к подчиненным. — Серов улыбнулся, помолчал и закончил твердо: — Итак, Терентий Иванович, в штабе не будет у вас той самостоятельности, той полноты власти, что была на корабле. Станете рядовым членом сильного большого коллектива. Будет вам у кого учиться и чему учиться. И ваш накопленный годами опыт, — Серов остановил жестом руки собиравшегося что-то возразить Золотова, — да, ваш опыт мы научим вас правильно оценивать и использовать. Я лично вам помогу.

— Вы хотите сделать из меня штабного работника?

— Нельзя отрывать штаб от кораблей, это единый организм. — Серов поднялся из-за стола, давая понять, что разговор окончен. — Пожелаю вам успеха, Терентий Иванович, — и контр-адмирал пожал большую, жилистую руку Золотова.

3

День выдался чудесный. Вода в бухте была тихой и прозрачной, как в озере.

С флагманского корабля семафором передали, что разрешается проводить купанье. Палуба «Державного» напоминала водную станцию. Загорелые, мускулистые матросы в трусах грелись на солнце, жувыркались в воде, мокрые поднимались на борт по шторм-трапам. Только вахтенные, в полной форме, с завистью поглядывали на наслаждавшихся солнцем и морем товарищей. Кипарисов прохаживался вдоль борта, как всегда подтянутый, свежевывбри-тый, начищенный до блеска.

...Широко распластав в воздухе руки, «ласточкой» прыгнул в воду Донцов. Едва слышен был всплеск от падения его тела; только скрылись ноги, как голова уже показалась на поверхности. Отдуваясь и пофыркивая, проплыл мимо него боцман уверенными саженками, выскакивая почти по пояс из воды. Разучивая стиль «баттерфляй», Зеленцов и Мошкин поднимали фонтаны брызг. Они казались двумя большими птицами, хлопавшими крыльями по воде.

Мокрый, вздрагивая от прохладного ветерка, старший матрос Петров на палубе рисовал друзьям картину недалекого будущего:

— Приезжаете, скажем, вы в отпуск в Москву. Приходите вечером в Консерваторию послушать концерт. Сунулись к кассе — билетов нет. Что делать? Вы собираетесь уходить не солоно хлебавши, но тут великая и обходительная билетерша говорит: «Товарищи моряки, проходите, пожалуйста, места для вас оставлены». Вы только рты успеете разинуть, а она объяснит: «Благодарите, мол, лауреата всесоюзного конкурса скрипачей

Алексея Ферапонтовича Петрова. Он всегда для матросов места оставляет».

Раздался взрыв хохота.

Петров, произносящий торжественную речь, выглядел действительно забавно. Голый, поджавший одну ногу и почесывавший ею другую, он напоминал цаплю.

— Освежить старшину Петрова! Охладить из шланга его горячую голову! — закричали весело матросы.

— Но, но, «морские души!» Субординацию забываете... — шутливо проговорил Петров, отступая от окружавших его друзей, и вдруг закончил серьезно: — Старший помощник в нашу сторону глядит, как бы он нас не наказал за нарушение порядка...

Ташыбаев сидел поодаль на бухте троса. Он, правда, тоже был в трусах, но не купался. Сославшись на головную боль и покалывание в боку, Шермат получил у корабельного фельдшера Плакуши освобождение.

Ташыбаеву самому хотелось освежиться. Но не мог же он признаться в том, что едва умеет держаться на воде. Нет, до возвращения из отпуска (а отпуск он надеялся провести во Фрунзе, обучаясь в бассейне стильному плаванию) придется побеждать искушение. Можно было, конечно, перейти на правый борт, где лейтенант Гаранин обучал новичков кролю, но гордость не позволяла.

Чтобы отвлечься, Ташыбаев стал думать о своей курсовой работе по теоретической механике. Он переходил на второй курс заочного техникума кораблестроения. Однако законы кинематики сейчас не увлекали его. В памяти всплыло полное, улыбающееся девичье лицо с лувчатыми глазами. Вот они вместе сидят в саду, склонившись над книгой, а ветер играет прядью ее волос. Потом почему-то возникает перед глазами залитая весенним солнцем степь с колышущимися, как волны, травами, цепь высоких гор, окутанных струящимся сиреневым маревом, и родной колхоз «Джаны-Юлууз». Дорогие сердцу, неизгладимые в памяти места! Все с детства в них знакомо: каждая тропка, каждый кустик, каждый арык... Тянутся колхозные поля и гудящие на них тракторы; гурты скота, табуны коней угоняют колхозники на пастбища... Сухой степной ветер гуляет по просторной улице селения, кружит пыль и тонко звенит в проводах между кирпичными домами, обширными хозяйственными постройками: амбаром, скотным двором и конюшнями. Отец Шермата, по привычке даже в жару не снимая островерхой шапки, вернувшись с поля, пьет зеленый чай с салом и солью. Мать гладит белье электрическим утюгом, и в такт движениям ее руки качается провод, идущий к патрону электрической лампочки, что висит над столом. Младшая сестренка, еще не научившаяся ходить, ползет по полу за откатившейся в угол погремушкой...

«Родился я степным человеком, а стал моряком...» — думает Шермат.

На юте показался Высотин в спортивных плавках, отороченных голубой каймой. Высокий и стройный, с упругими мышцами гимнаста, он с наслаждением подставлял тело солнцу и ветру.

Кипарисов с недоумением посмотрел на голого командира. «Час от часу не легче, — подумал он. — Разве можно так пренебрегать своим авторитетом? Или он не понимает, что офицер без погонов — это уже не офицер?»

Кипарисов считал, что дело командира — вызывать подчиненных к себе в каюту, принимать доклады и отдавать приказания, поощрять и наказывать — одним словом, всегда быть начальником. Вот тогда его будут уважать. Ну, в крайнем случае, если командир — служака, он может обойти кубрики, спуститься в машинное отделение, даже на физзарядке появиться, но в форме, конечно, а не голышом.

«Нет, добра от этого не жди!» — Кипарисов отвернулся. Солнце начало припекать.

Не одного Кипарисова смutilо поведение Высотина. Переглянувшись недоумевающие вахтенные, притихли разговоры, умолк смех. Никто не знал, как следовало держаться при новом командире. Матросы, от греха подалее, один за другим стали прыгать в море.

Высотин заметил, как опустела палуба. Он не мог не почувствовать, что с его появлением создалась какая-то атмосфера неловкости. Желание купаться у него прошло. «Не уйти ли лучше к себе в каюту?» — подумал он. Однако его внимание привлек Ташыбаев.

К задумчиво сидящему матросу подошел боцман. Покручивая мокрые, обвисшие усы, строго спросил:

— Почему не купаетесь, Шермат?

Ташыбаев поднялся.

— Нездоровится что-то.

— Воды он боится, главный старшина, — засмеялся подошедший Донцов. — Опасная болезнь для моряка.

— За уклонение от приказа... — начал было сурово Головенченко, но Высотин прервал его движением руки. Он догадывался, что Ташыбаев, хотя и служит на флоте не первый год, но плавает, вероятно, плохо и скрывает это всячески.

— Давайте-ка, Ташыбаев, вместе поплывем, — предложил Высотин.

— Есть! — С мужеством отчаяния Ташыбаев подошел к борту и, закрыв глаза, прыгнул. Вслед за ним нырнул и Высотин.

Ташыбаев выскочил из воды, оглушенный и перепуганный. Выплывшая соленую воду, быстро, «по-собачьи» работая руками и хлопая ногами по воде, он беспомощно барахтался. Однако рядом с собой матрос увидел веселое лицо командира. Это сразу его успокоило.

— Дышать глубже и спокойней, не торопиться!.. — крикнул Высотин, рукой поддерживая матроса на воде. Они медленно поплыли вдоль борта корабля.

...Заиграла боцманская дудка. Купанье окончилось.

Одевшись, Высотин вышел из каюты. По залитой солнцем бухте шел тяжело груженный рыболовецкий катер. Он подошел к пирсу и стал разгружаться.

— Рыбаки прибыли из колхоза «Завет Ильича», — холодно доложил Высотину Кипарисов.

4

Несколько месяцев назад, перед началом птунин, моряки с «Державного» помогли рыболовецкому колхозу отремонтировать мотор на катере. Теперь, радуясь богатому улову, колхозники прислали друзьям в подарок рыбу.

Матросы по двое переносили с пирса на корабль тяжелые бочонки.

Донцов, щеголяя недюжинной силой, нес большой бочонок один, прижав его к груди.

Головенченко медленно и грузно, будто пробуя прочность палубы, расхаживал вдоль борта. Ветер шевелил его пушистые рыжие усы; в зубах торчала погасшая трубка. Боцман только изредка поглядывал на работающих матросов: «Хорошие ребята, лодырничать сами никому не позволят». Головенченко отвернулся. Можно немного подумать и о своем. Он вспомнил последнее письмо жены: «На край света за тобой не поеду и сынов не пущу. Хочешь нас видеть, так приезжай к нам». — «От, бисова жинка!» Впрочем, по опыту Головенченко знал, что у жены не надолго хватит характера. Возьмет она сыновей и нагрянет неожиданно-негаданно с кулками, корзинками, мешками, полными всяческим колхозным добром. Упрется кулаками в бока и скажет: «Ну, старый, показывай, где наша хата?» А хата... хата скоро будет тут, на краю света.

Боцман долго смотрел на раскинувшийся среди сопок город хозяйским, оценивающим взглядом. Потом мысли его вернулись к многочисленным и неотложным корабельным делам.

В это время на пирсе к сходням «Державного» подошел матрос с брезентовым чемоданом в руке, однако он медлил подыматься на корабль. «Опять та же нудная служба! — подумал он. — Что «Дерзновенный», что «Державный» — хрен редьки не слаще. Прочитают в карточке взысканий и поощрений: «Стебелев — разгильдяй», и разведут руками».

Нелегко прошел год его службы на «Дерзновенном». Сибирский сплавщик с Енисея, человек профессии вольной, требовавшей находчивости, смелости, самостоятельных решений, он никак не мог привыкнуть к суровой воинской дисциплине. Свое дело котельного машиниста освоил крепко. «Чего же еще от меня надо?» — думал он. Офицеров же особенно раздражала его привычка пожимать плечами и долго обдумывать, будто сомневаясь в чем-то, полученное приказание, прежде чем ответить: «Есть».

Светов признавал только быстрых и исполнительных матросов — он решил обломать сибирского увальня. Но придирчивость и резкость самоуверенного командира только озлобляли Стебелева. По характеру и ранее замкнутый и угрюмый, он стал упрямо молчалив с офицерами и груб с товарищами. День ото дня он становился все хуже, и командир «Дерзновенного» пришел к выводу, что у матроса невозможный характер, что его нельзя перевоспитать.

Стебелев вздохнул. «Эх! Раньше хоть гвардейцем числился», — мелькнула неожиданная для него самого мысль.

Донцов, проходя мимо, обратил внимание на матроса, стоявшего молча с мрачным выражением на лице и казавшегося поэтому лет на десять старше своего возраста.

— Ё нам, что ли, назначен? — спросил Донцов.

Стебелев кивнул головой.

— Чего же ты стоишь? Ну-ка, гвардесц, помоги!

Стебелев взглянул на Донцова исподлобья и ничего не ответил.

— Нелюдимый ты, парень, какой-то!

Лицо у Донцова открытое, приветливое. И Стебелеву неожиданно захотелось показать себя перед этим веселым старшиной с хорошей стороны.

— Что ж, попробую!

Длинными, цепкими руками он поднял бочонок и пошел с ним по сходням вверх. Он нес его так же, как Донцов, только дышал чуть тяжелей да шагал осторожней, по-медвежьи ставя ноги носками немного внутрь.

Головенченко с удивлением смотрел на матроса с «Дерзновенного». Ташыбаев одобрительно щелкнул языком: «Батыр». Но в это время Стебелев, ступив одной ногой на борт корабля, поскользнулся. Бочонок ударился о железную палубу; серебристым веером разлетелась по ней рыба. На обручах рассыпавшегося бочонка лежал Стебелев. Лицо у него было расстроенное и злое.

На юте немедленно появился Кипарисов. Увидев офицера, Стебелев поднялся, потер рукой ушибленное колено и, выпрямившись, глядя куда-то в сторону, доложил:

— Товарищ капитан-лейтенант, матрос Стебелев прибыл для дальнейшего прохождения службы.

— Плохо начинаете службу. Народное добро не бережете, — Кипарисов отшвырнул носком ботинка валяющуюся под ногами рыбу. — Разгильдяй вы!

Стебелев молчал.

— Ступайте, — продолжал Кипарисов, с первого взгляда уже невзлюбивший этого нерасторопного и угрюмого матроса. — Я с вами разберусь после...

Стебелев сделал неопределенный жест рукой, означающий полное безразличие к словам офицера, и пошел прихрамывая.

— Отставить! — резко скомандовал Кипарисов.

Матрос повернулся и, не дойдя двух шагов до офицера, опустил руки по швам.

— Стоять не умеете, выправки строевой не вижу! — отчеканил Кипарисов. — Извольте выполнять уставные требования, как положено!

— А как положено? — Стебелевым уже овладело то отвратительное чувство раздражения, из-за которого у него всегда бывали неприятели.

Кипарисов еле сдержался, но сказал спокойно и негромко:

— Хорошо, научим... — и, обернувшись к Головенченко, коротко бросил: — Боцман, прибрать палубу, навести порядок! — Кипарисов еще несколько минут постоял на юте, наблюдая за матросами, быстро подбиравшими рыбу, затем вошел в рубку к дежурному офицеру.

Стебелева догнал Донцов и подал ему чемодан.

— Моя вина, что я тебя подзадорил, да не горюй. На «Державном» матросы и офицеры — хорошие люди.

— Для меня хороших не бывает, — буркнул Стебелев и вырвал из рук Донцова свой чемодан.

5

Перед тем как утвердить составленный старшим помощником план боевой подготовки, Высотин внимательно изучал его.

Как всегда в деловой обстановке, строгий и подтянутый, рядом сидел Кипарисов с папкой в руках. Его лицо выражало напряженное внимание — так полагалось дер-

жать себя со старшими, — но внутренне Кипарисов не считал сегодняшнюю беседу важной. Все ясно, план составлен с учетом указаний штаба, в нем предусмотрено примерно то же, что и в прошлом и позапрошлом году. Одним словом, проверено и перепроверено.

Однако командир красным карандашом поставил один вопросительный знак, затем другой, третий. Кипарисов, вытянув шею, следил за карандашом.

«Начинаются мелкие придирки», — подумал он.

— Боевого, наступательного духа маловато. Согласны, Ипполит Аркадьевич? Особенности «Державного» не полностью учтены, — сказал Высотин, отрывая глаза от плана.

Кипарисов поспешно достал из папки листы бумаги.

— Вот план, присланный из штаба. Наш корабельный ему соответствует строго и пунктуально.

Для Золотова этого объяснения бывало вполне достаточно. Он доверял своему старшему помощнику. Но если требуется, Кипарисов и сейчас мог доказать свою правоту.

— Знаю, что «соответствует». — Высотин взял у Кипарисова бумагу, прочитал ее и отложил в сторону. — План штаба рассчитан на соединение, в нем все правильно, а вот в нашем плане учтено ли, что во время боевой тревоги пост старшины Зеленцова доложил о готовности с опозданием?

— В этом повинен лейтенант Гаранин. Я сказал ему...

— Я вам толкую не о частном случае, я его как пример привел. Не все, что считают в штабе пройденным этапом, у нас на должном уровне.

Высотин размашисто написал на полях плана: «Частное ученье по батареям», «Учебная боевая тревога»... Он писал, морща лоб, что-то припоминая, затем, отложив карандаш, сказал Кипарисову:

— Учтите, что я обращаю особое внимание на вопросы взаимодействия, укрепления воинской дружбы между матросами разных боевых постов и боевых частей. Продумайте сами план еще раз. Доложите завтра.

Кипарисов всем своим видом показывал, что обижен — высоко поднята правая бровь, опущены уголки губ.

«Вот ты каков», — подумал Высотин.

— Вы не согласны со мной?

— Я не понимаю, над чем я должен еще думать, — начал Кипарисов, пожмая плечами, — в целом план построен правильно, ваши изменения и дополнения я прикажу писарю вписать...

— Я хочу видеть в вас, капитан-лейтенант, — поднявшись, сказал Высотин, — не слепого исполнителя приказаний, не писаря, а своего активного помощника.

— Я и так по должности — ваш старший помощник, — глухо ответил Кипарисов. — Да, трудная, видно, предстоит служба».

— Думаю, что вы меня правильно поняли! — подчеркнуто твердо сказал Высотин.

Кипарисов молча взял со стола бумаги, положил их в папку и старательно завязал тесемки.

— Разрешите идти?

— Погодите, Ипполит Аркадьевич. Прибыл ли с «Державенного» котельный машинист Стебелев? — уже неофициально спросил Высотин.

— Так точно. Все же молодец Светов! — Кипарисов, тонко улавливавший все оттенки в голосе командира, почувствовал, что теперь можно и даже нужно говорить свободно.

— А что?

— Держит только хороших матросов, а плохих — как что, так и списывает. Не удивительно, что на «Державенном» дисциплина образцово-показательная...

— Я все-таки думаю, что мы с вами так поступать не будем. Итти за Световым — это значит расписываться в собственной слабости.

— Зачем нам искусственно создавать себе дополнительные трудности? — возразил Кипарисов. — «Державный» не воспитательный дом! Этот Стебелев уже пытался вступить со мной в пререкания, боценок с рыбой разбил... Хлопот с ним не оберешься. Нет уж, скажу я вам, Андрей Константинович, что по поводу световской политики наш боцман правильно говорит. — Старший помощник даже прищурил глаза: — «На тебе, боже, что мени негоже», — с трудом выговорил он, произнося с московским мягким «е» украинские слова.

Высотин засмеялся.

— Что же, постараемся сделать, чтоб было гоже. Распорядитесь сейчас же вызвать ко мне Стебелева. Кстати, Ипполит Аркадьевич, — он добродушно усмехнулся, — что у вас за роскошные бакенбарды! Это, право, как у капитана Немо или капитана Гаттераса.

— Просто так... Давно ношу. — Кипарисову не хотелось продолжать разговор на эту тему.

Высотин на секунду заколебался.

— Вы уж не обижайтесь, но я бы вам посоветовал их сбрить, — сказал он.

— Почему? — удивился Кипарисов.

— Плохой пример для матросов, да и вам они, право, не к лицу.

Кипарисов невольно провел рукой по щеке. Жаль было расставаться с этим украшением, но стоило ли в конце концов вызывать снова неудовольствие командира из-за такого пустяка.

Когда старший помощник ушел, Высотин задумался. На корабле существовала какая-то сила инерции. Все шло заведенным порядком, который никто не хотел нарушить. Каучуковые словечки вроде «соответствует», «победителей не судят», «так положено», «зачем создавать дополнительные трудности» — эти словечки обволакивали всякое живое дело. Они вставали стеной перед новым командиром. «Нет! Это надо поломать решительно, раз и навсегда».

Звякнула дверная ручка. Чья-то рука раздвинула бархатные занавески над дверью каюты.

— Разрешите войти?

— Входите.

В каюту протиснулся Стебелев.

— По вашему приказанию явился...

— Садитесь, — предложил Высотин.

Стебелев присел на красшек стула, снял с головы бескозырку.

Высотин изучающе посмотрел на него. «Так вот он, «неисправимый», — молодой широкоплечий парень, с юношески пухлыми губами и в то же время будто деревян-

ным, ничего не выражающим лицом. Не легко, наверное, будет заглянуть ему в душу. Сколько его раз ругали, сколько наказывали?» Высотин уже знал о его службе по карточке зысканий и поощрений. «Во всему, видно, привык Стебелев, ничего не боится. Но должна же у него быть какая-то своя хорошая струна!»

— Как проводили вас товарищи, что пожелали? Не жаль ли было уходить вам с гвардейского корабля?

— Где прикажут, там и служу... Мне все равно... — Стебелев отвечал, не поднимая глаз, мял в руках бескозырку.

— А я вот хотел бы, чтобы вы полюбили «Державный», его людей, как свой дом, свою семью. — Голос Высотина звучал задумчиво. — У вас есть родные?

Стебелев отрицательно мотнул головой.

— А знакомые на берегу?

— Ничего и никого у меня нет, — глухо вырвалось у матроса. — Я, товарищ командир, три месяца без берега...

— Три месяца? — удивился Высотин. — Почему?

— Плохо, говорят, служу... А я лучше не умею. Что ни сделаю, все к худу для меня оборачивается. — Стебелев говорил отрывисто и озлобленно.

Теперь Высотин понимал состояние Стебелева и даже невольно посочувствовал ему, вспомнив свое прошлое.

«Нужно заставить его поверить в себя, в свои силы, поверить в то, что командиры и начальники хотят ему добра. А что, если я подойду к нему с другой меркой? Пусть с первого дня на «Державном» он почувствует себя полноправным членом коллектива, пусть забудет все плохое, что с ним было на «Дерзновенном», попытка не пытка». Решение пришло само собой.

— Идите и получите увольнительную, — сказал Высотин. — Сходите в кино или театр. Думаю, что с сегодняшнего дня служба у вас пойдет по-другому.

Матрос недоверчиво взглянул на командира.

— Ступайте, Стебелев. Я надеюсь на вас...

Проводив взглядом взволнованного и растерявшегося и оттого казавшегося еще более неулыбким Стебелева, Высотин подумал:

«Пожалуй, Макаренко поступил бы в этом случае так же. — Он усмехнулся. — Не одобрит меня старший помощник. Пустился, мол, командир по тернистому пути гражданской педагогики».

Прерванный разговором со Стебелевым ход мыслей Высотина возобновился.

«Схожу к Озерову, — решил он, — надо и членские взносы уплатить».

Озеров был один в каюте.

— Проверяю вот свое партийное хозяйство, товарищ командир, — сказал он, поднимаясь и приветствуя Высотина.

— А пришел я сейчас, собственно, для того, чтобы уплатить членские взносы. Да, видно, не во-время.

— Нет, почему же, я приму. — Озерову особенно приятно было, что командир сам пришел к нему. Это как-то повышало его авторитет. При Золотове секретарь партбюро обычно носил ведомость в командирскую каюту.

Озеров открыл железный ящик, в котором хранил партийные документы, занес в ведомость сумму и, четко расписавшись в партийном билете, отдавая его Высотину, сказал:

— План работы на будущий месяц составлен. В понедельник намечено партийное собрание.

— Какая повестка дня?

— По плану: «Об ответственности коммунистов за планирование и отчетность на корабле».

— Странная для сегодняшнего дня тема...

— Необычная, вы хотите сказать, — осторожно поправил Озеров. — Но, мне кажется, очень важная. — Светлые глаза Озерова загорелись. — Вы знаете, как интересно поднять перед коммунистами новый вопрос?! Такая повестка еще ни в одной парторганизации на кораблях нашего соединения не обсуждалась... Я доклад уже подготовил...

«Молодой политработник, увлекающийся, — вспомнил Высотин слова начальника политотдела. — По верхам еще скользит, не умеет за главное уцепиться».

— О чем же мы будем говорить на партийном собрании? — спросил Высотин.

— Как о чем? Хотите, товарищ командир, я вам прочту сейчас свой доклад. — Озеров оживился, поспешно вытащил из ящика объемистую общую тетрадь и, листая страницы, продолжал: — Очень богатый я материал подобрал! Меня самого, знаете, зажгла эта идея...

— Что ж, прочтите... — сказал Высотин. Как бы он ни относился к самой повестке собрания, ему нравилась взволнованность, с какой говорил о своем деле секретарь партбюро.

Высотин сел к столу и приготовился слушать. Озеров прошелся по каюте, взъерошил волосы, видно что-то обдумывая, и, остановившись напротив Высотина, начал читать — вначале тихо и медленно, наверное смущаясь, но постепенно его голос окреп, и, казалось, он забыл, что перед ним не аудитория, а только один слушатель.

«Современный боевой корабль, — слышался звонкий голос Озерова, — требует столько материалов, продуктов, энергии, сколько поглощает какой-нибудь районный центр. Планирование и отчетность на корабле не менее ответственны, чем на большом предприятии. Морской офицер, кроме командирских навыков, должен сочетать в себе знания инженера, аналитический ум экономиста-плановика, бухгалтерскую склонность к скрупулезной точности, терпеливую выдержку статистика. Коммунисты должны решительно пресекать пренебрежительное отношение отдельных товарищей к планированию и отчетности!»

«Слишком патетично изложенная, но очень тольковая мысль», — отметил про себя Высотин. Слушая, он внимательно осматривал каюту. Небольшая, как и все офицерские каюты на корабле, она привлекала особым уютом и чистотой. Стол, застланный белым, без единого пятнышка листом бумаги, чернильница с медной крышечкой, начищенной до блеска, резная из фанеры подставка для ручек и карандашей. В рамке — фотография молодой женщины в спортивном костюме, с теннисной ракеткой в руке. На полке — книги, рядом с ними в шкафчике, на переборке, две спортивные гири-гантели.

И по тому, как опрятно была заправлена койка, как по-домашнему под графином, стоящим в деревянной стойке, лежала накрахмаленная салфетка, такая белоснежная, что синела в изгибах, и по веточке черемухи в стакане — по всему казалось: «Не каюта, а светелка. А ведь приятно в такую зайти», — подумал Высотин.

«Все на корабле строго подчинено определенному порядку, начиная от плана боевой и политической подготовки до плана отдыха личного состава. Каждый офицер отчитывается за свою деятельность, а это значит — отчет о проведенных стрельбах, о расходе топлива, продуктов и других материалов; это — политдонесения, докладные записки, это...» Озеров передохнул и неожиданно спросил:

— Ну как, не скучно?

— Очень интересно, — ответил, не задумываясь, Высотин, — хорошая будет лекция для офицеров, старшин и матросов.

— Лекция! Почему лекция?

— Потому, что сейчас необходимо на шартсобрании ставить вопрос «О задачах коммунистов в повышении боевой готовности корабля». Жизнь это подкашивает. Ведь в кубриках и кают-компаниях только и говорят об истории с иностранным самолетом. Как же мимо этого пройти?

— Я провел беседу с матросами, — возразил Озеров.

— Беседа — беседой, а нужно мобилизовать всю партийную организацию.

Озеров заколебался. «Кажется, командир прав. А труд мой по подготовке доклада, значит, насмарку?» Ему так не хотелось отказываться от облюбованной им темы, так хотелось уговорить командира, что он продолжал настаивать на своем упавшим голосом:

— Коммунисты о собрании предупреждены... Мой авторитет...

— Коммунисты поймут. План партработы вы наметили раньше и не могли предвидеть того, что произошло три дня назад, — пада самолюбие секретаря партбюро, мягко сказал Высотин. — Но, кстати, выбирая тему собрания, вы советовались, например, со старшим помощником?

— Старший помощник по таким вопросам советов не дает...

— Плохо. Очень плохо.

Озеров не понял, кого осуждает командир — старшего помощника или его самого. Он хотел было спросить об этом, но Высотин закончил неожиданно.

— Мне кажется, вы допускаете ошибку. В своей работе больше ищите того и думаете о том, что кажется вам новым, интересным вообще, чем о том, что в данный момент нужней всего, чтобы помочь командованию корабля. Мы это должны сообща исправить. На партбюро обсудить новую повестку дня.

— А доклад? Я не успею подготовиться... — воскликнул Озеров.

— Доклад я сделаю сам...

Возвращаясь в свою каюту, Высотин вспомнил о тех первых днях, когда, принимая корабль, он испытывал смутное чувство неудовлетворенности, еще не зная до конца, откуда оно идет. Теперь же все постепенно становилось ясным. На «Державном» служили хорошие, спо-

собные люди. Но каждый из них служил и жил сам по себе, каждый в чем-то по-своему ошибался. «Значит, каждого в отдельности надо и поворачивать», — решил он.

6

В каюту лейтенанта медицинской службы Плакуши заглянуло солнце. Луч скользнул по окрашенной белой эмалевой краской переборке, осветил высунувшееся из-под простыни худощавое лицо, всклопоченные белесые волосы.

В небольшой каюте утренний беспорядок. На столе недоеденное яблоко, ишеничные медовые коржи, баночка с вишневым вареньем — матушка прислала из воронежского колхоза посылку. В дороге снедь так засохла, что не укусишь; варенье засахарилось.

На стуле поверх брошенных брюк лежит раскрытая, перевернутая вверх обложкой книга «Аэлита».

Плакуша садится на койке, свесив ноги, протирает заспанные глаза.

На верхней палубе звонко пробили склянки. Фельдшер поглядел на висящий на переборке листок в рамке, где выписан распорядок дня, и облегченно вздохнул:

«Сегодня выходной день. К чаю опоздал — и прекрасно. Хотя на этот раз не придется сидеть за одним столом с неприятным человеком». В последнее время Плакуша вообще избегает встреч с Высотиным. Ему кажется, что командир слишком резок и придирчив и готов отчитать каждого за малейший промах по службе. «А кто из нас без греха? — рассуждает фельдшер. — Вчера, например, Гаранин и Озеров, на что уж офицеры исполнительные, опоздали к завтраку. Подумаешь, какое чрезвычайное происшествие! Ну, сделал бы им замечание просто, по-человечески — и делу конец. Так нет же: предупредил, что будет накладывать взыскания, и приказал впредь опоздавшим чай не подавать». Вот это уже было, по мнению Плакуши, лишнее. Он прямо-таки расстроился. Будто предчувствовал, что и ему не миновать беды.

Предчувствие, надо сказать, его не обмануло. День, правда, прошел благополучно. Плакуша по делам отлучался на берег. Но вот вечером, когда фельдшер на шлюпке возвращается к стоявшему на рейде «Державному», произошла неприятность.

А какое чудесное, благодушное настроение было тогда у Плакуши! В небрежной позе, с папиросой во рту, он полулежал на корме и рассматривал освещенный последними лучами солнца город. Торговые океанские корабли стояли у причалов, ажурные вышки подъемных кранов легко двигались над раскрытыми трюмами транспортов; облако пыли висело над угольной эстакадой; большие окна портовых мастерских озарялись вспышками заметных даже при солнечном свете огней электросварки. Берег равномерно гудел, подобно машине, работающей на полном ходу.

Плакуша размышлялся. Службу на корабле он считал явлением временным. Он давно задумал перевестись в небольшую воинскую часть, получить уютную квартиру и спокойно зажить береговой жизнью. Тогда не будет

однообразного и жесткого корабельного распорядка дня, длительных походов в море, качки, которую он переносил с трудом, и многих других лишений и тягот морской службы. «Не я первый, не я и последний моряк, который хочет служить на берегу», — так рассуждал Плакуша.

Шлюпка подходила к «Державному». Легкий контур его четко вырисовывался на темно-голубом вечеряющем небе. Высокая с надстройками передняя часть корабля резко обрывалась у фок-мачты, дальше шел низкий и длинный борт, едва заметно выступавший над пронизанной золотыми отблесками водой. Откинута назад широкая труба, над которой, как марево, струился жаркий воздух, и все стремительные линии корпуса, надстроек, броневых орудийных щитов создавали впечатление, будто «Державный», как горячий, взнузданный конь, только и ждет с нетерпением часа, чтобы умчаться в океанскую даль. Это был корабль-воин, сильный и красивый...

Плакуша окинул «Державный» равнодушным взглядом. На мостике он различил фигуру Высотина и рядом с ним одетого в белоснежный китель Кипарисова.

«Стоит, не шелохнется, как лист перед травой... — подумал Плакуша о Кипарисове. — Опять, видно, командир ему что-то выговаривает. Конечно, Кипарисов ни в чем ему не смеет перечить. Так оно и должно быть на военной службе. Наперекор начальству идти — что плескать воду против ветра: сам же мокрый будешь». Плакуша в душе посочувствовал Кипарисову. Хоть между ними не было и не могло быть даже намека на дружбу, так как Кипарисов относился к фельдшеру откровенно пренебрежительно, Плакуша благоволил перед ним. У Плакуши странно уживались два, казалось бы, прямо противоположных стремления: первое — списаться на берег и второе — казаться этаким «морским волком», блестящим, вызывающим восхищение офицером. Никто на корабле не выглядел более эффектно, чем Кипарисов. И потому Плакуша стремился во всем ему подражать. Он стал так же, как старший помощник, говорить с подчиненными санитарями резко и отрывисто; подражал он и легкой, размашистой походке Кипарисова, старался, как и тот, при разговоре с подчиненными глядеть мимо лица собеседника и даже не в пример старшему помощнику, а по собственному почину, сшил на заказ летнюю фуражку из белой мягкой, как пух, шерстяной материи, с особым, «нахимовским» козырьком, закрывающим почти весь лоб. Носил Плакуша эту фуражку по праздничным дням, увольняясь на берег.

Борт корабля приближался. Когда до него осталось не более полукабельтова, Плакуша увидел, что на палубе усилилось движение. Прозвучал сигнал горна, затем раздалась команда «На флаг и гюйс смирно!»

На корабле и на рейде стало торжественно тихо. Солнце скрылось за горизонтом; дымчатую воду бухты чуть рябил ветер.

На военных кораблях спускался флаг.

Плакуша растерялся. Он не знал, как поступить на шлюпке в таком случае. У него появилось желание поскорее угнать ее в спасительную тень, падающую от борта «Державного», пока офицеры и матросы стоят по команде «смирно» лицом к флагу и не видят постыдного замешательства Плакуши.

— Гребите же, что ж вы?! — крикнул он матросам вместо того, чтобы приказать убрать на шлюпке флаг. Но было поздно. На «Державном» флаг скользнул вниз. Снова прозвучал сигнал, и на палубе корабля каждый занялся своим делом. Высотин что-то сказал Кипарисову. Тот, приложив руку к фуражке, мельком взглянул на подшедшую к трапу шлюпку.

Не успел Плакуша ступить на палубу, как его вызвал Кипарисов и сообщил, что командир предложил ему подготовиться к сдаче повторного зачета по корабельному уставу.

— Я медицинский работник! — запротестовал Плакуша. — Я...

— Приказ есть приказ, — холодно прервал его Кипарисов. — Командир считает, что каждый человек в морской форме — прежде всего моряк. От вас зачет он будет принимать сам, подготовьтесь...

— Есть... — подавленно прошептал Плакуша и вдруг заметил, что Кипарисов сбрил свои великолепные бакенбарды, те самые бакенбарды, которым так завидовал фельдшер. Это показалось таким неестественным и диким, что Плакуша приложил ладонь к щеке и тихонько ущипнул себя за мочку уха.

— Что с вами? — спросил Кипарисов.

Плакуша только мотнул головой. Старший помощник глядел на него сверху вниз уничтожающим, холодным взглядом.

...Поплескавшись над фаянсовым умывальником, вделанным в шкафчик, Плакуша вытер лицо полотенцем, подошел к столу, задумался:

«Нет, жизнь морская сложна и тягостна, и никакой привлекательности в ней нет. К чему на корабле сердцем привязаться? Кругом одно железо, куда пальцем ни ткни...»

В дверь постучали.

— Войдите! — отозвался фельдшер и поспешно прикрыл газетой лежащую на столе снедь.

В каюту вошел Высотин.

— Здравствуйте, лейтенант! Решил вас проведать: за чаем не были, полагал — заболели...

— Голову ломит, — не найдя другого объяснения, оторопев, солгал Плакуша и, чувствуя, что краснеет, в смущении потупил глаза. Ему казалось, что Высотин уже заметил беспорядок в каюте, помятые брюки. «Принесла его нелегкая в недобрый час!» — мрачно подумал фельдшер.

— Нездоровый у вас цвет лица. На воздухе больше нужно бывать, — посоветовал Высотин, улыбаясь, как бы говоря: «Ничем вы не больны, лейтенант, и лгать не умеете, и я все это вижу. А пришел просто потолковать о том, как вы думаете служить дальше».

Высотин зашел к фельдшеру не случайно. Ему казалось, что лейтенант Плакуша, как никто другой, оторван от коллектива.

Высотин подошел к иллюминатору, отвернул медные барашки на скобах. Бросив взгляд на прозрачную воду бухты, на плавающих среди волн чаек — «словно ручные: вокруг корабля, как у дома», — прислушался к ровному гулу бьющего о скалы прибоя, спросил:

— Скажите, лейтенант, вы любите море? Не удивляйтесь — я спрашиваю потому, что вы недавно на корабле.

— Я служу... — подавленно ответил Плакуша.

— Служба — обязанность, а вот любовь... — Высотин поднял стекло иллюминатора, жадно вдохнул свежий воздух. — Какой замечательный воздух, лейтенант. — Он опустился на стул и, положив ногу на ногу, продолжал: — Я думаю, что красота морской профессии состоит не в том, что в шторм, завернувшись в плащ, стоишь на мостике, окутываемый брызгами, а в том, что безукоризненно знаешь свое дело. Любовь — большое чувство, и его трудно выразить словами. Ну, вот, например, художник, создавший картину, поэт, написавший хорошее стихотворение, врач, сделавший удачную операцию, — все они, конечно, радуются своей творческой победе и тому, что ею дано; так и моряки испытывают большое, ни с чем не сравнимое чувство, выходя победителями в борьбе со стихией.

Сильные руки Высотина лежали на столе спокойно, словно отдыхали, а лица его не сходящая приветливая улыбка, которая как бы говорила: «Конечно, милый фельдшер, все это пока вам трудно понять, но живем мы с вами в одних стенах, под одной крышей, едим и пьем за одним столом — почему же вам не стать таким, как все?»

Плакуша, все еще чувствуя стеснение перед командиром, стоял, вытянув руки по швам. То, что Высотин наведялся к нему, было, конечно, естественным в служебных отношениях между командиром и подчиненным, но то, что он так дружески разговаривал, его спокойная поза, задумчивый тон — все это располагало к чему-то непринужденному, товарищескому и во всяком случае не предусмотренному уставом. «Уж не узнал ли он о моем намерении списаться на берег?» — подумал фельдшер, а вслух сказал:

— Вы имеете в виду мое отношение к профессии?

— Садитесь, лейтенант! Говорят, в ногах правды нет... — Высотин указал рукой на койку. — Вы — медик, Россинский — штурман, Гаранин — артиллерист. А морская военная служба — наша общая профессия. Трудно предугадать, как в бою могут сложиться обстоятельства. История знает случаи, когда даже рядовые матросы в ходе сражения заменяли выбывших из строя командиров.

Ветер, врываясь в открытый иллюминатор, пахнул иодистыми водорослями, выброшенными морем на берег, смолистой таежной сосной. Высотин поглядел на стол, поправил сползший газетный лист и неожиданно спросил:

— Вы, Валерий Александрович, посылку из дому получили?

«Посылку увидел, будь она неладна!» — подумал фельдшер.

— Да... Из колхоза подарочек... — промямлил он.

— Я знаю, ваша матушка Аграфена Петровна — знатный бригадир. Вчера я получил от нее письмо, адресованное мне, как командиру корабля. Хочет она знать о ваших успехах по службе. Вы редко ей пишете...

Плакуша изменился в лице.

— Я матушке обо всем сегодня напишу... — сказал он.

— И правильно сделаете. Из вас будет хороший моряк. Передайте от меня привет Аграфене Петровне, пригласите

ее приехать к нам. А я через некоторое время напишу ей о ваших первых успехах.

Фельдшер искоса поглядел на Высотина. «Играет со мной, как кошка с мышью!» — мелькнула у него недобрая мысль, и, желая до конца выяснить, как к нему относится командир, он сказал:

— Долго придется Аграфене Петровне ждать, пока вы обо мне похвально отзоветесь!

— Это почему же? — спросил Высотин.

— Морское дело мне не дается! Зубрю, зубрю, а потом забуду... Такой я рассеянный...

Высотин рассмеялся.

— Рассеянность — это большой недостаток, его надо изжить, но ваш промах на шлюпке произошел совсем от другого: не любите вы моря и свой корабль, — Высотин пронизательно посмотрел на фельдшера. — Я пришел помочь вам. С завтрашнего дня в свободное время с вами будет заниматься лейтенант Гаранин. — Высотин поднялся, направляясь к двери. — Надеюсь, вы немедленно приведете себя, обмундирование и каюту в должный порядок. Это — последнее мое предупреждение! — Голос у Высотина стал сразу сухим, тон — непререкаемым.

— Есть! — вскакивая, сказал Плакуша. Выждав, когда в коридоре затихли шаги командира, фельдшер подбежал к двери и сдавленным голосом прошептал вслед командиру где-то вычитанную и пришедшую почему-то сейчас на ум фразу: — Шленником моря хочешь сделать!..

7

Высотин чувствовал, что встретиться со Световым ему необходимо. Размолвка между однокашниками не должна превратиться в серьезный конфликт. Светов человек самолюбивый и вспыльчивый, но отходчивый и неглупый. Он поймет свою неправоту, хотя и не скажет об этом, но мир будет восстановлен. Так часто случалось в училище. Кроме того, была, признаться, и другая мысль: хотелось знать, как идет служба на «Дерзновенном», понять, в чем же секрет успехов гвардейцев.

Высотин поднялся с кресла, надел фуражку, посмотрел на себя в зеркало. И вдруг перед ним всплыло хмурое лицо Светова, гневные глаза, дергающиеся от обиды губы. Таким он был в салоне контр-адмирала. «Пойдешь, пожалуй, только наслушаешься упреков. Что же, может, я виноват перед ним?» Высотин снял фуражку, сел к письменному столу, придвинул к себе чистый лист бумаги и задумался.

«Дорогой...» — нет, он зачеркнул это слово... «Уважаемый Игорь Николаевич...» — тоже зачеркнул. — «Товарищ капитан третьего ранга», — ну, это уже слишком официально. Надо просто «Игорь».

В дверь постучали, вошел дежурный офицер.

— Принят семафор, — доложил он, — командир «Дерзновенного» просит вас прибыть к нему.

— Ну, вот и хорошо! — Высотин облегченно вздохнул. «Молодец Игорь! А без морского шикю шагу не делает...» Высотин уже добродушно улыбнулся тому, что Светов пользовался семафором, хотя корабли стояли почти борт о борт у стенки.

Отдав честь военно-морскому гвардейскому флагу, Высотин поднялся на борт «Дерзновенного». Дежурный офицер, молодой лейтенант в новом, с иголочки, кителе встретил его у трапа, вытянувшись в струнку, отковырял четко, красиво, с особенным шиком согнул руку в локте, поднес ее к фуражке.

Лейтенант пошел провожать Высотина. Матросы, мимо которых они проходили, принимая положение «смирно», застывали, как статуи. Медные бляхи на поясах матросов, пуговицы на кителе лейтенанта горели, надраенные до зеркального блеска.

— Порядок! — сказал лейтенанту Высотин.

— Гвардия! — с гордостью ответил тот так, как будто произнес: «Знай, мол, наших».

Производила впечатление и каюта Светова. Над столом на полке — макет парусника: стройная бригантена с белыми шелковыми парусами. Чернильный прибор, косянкой, тончайшей резьбы, напоминал орудийную башню. На книжных полках толстые тома на русском, английском, немецком языках. Над койкой — копия с картины Айвазовского «Девятый вал».

Светов встретил Высотина на пороге каюты и радушно усадил в кресло.

— Прости, пригласил тебя вместо того, чтобы самому притти. Но ты ведь еще не отдал мне визита.

Высотин кивнул головой.

— Нам надо поговорить, — продолжал Светов.

— Обязательно надо, — ответил Высотин. — Недоразумение должно быть выяснено.

— Ты все о Стебелеве?

— А о ком же еще? — удивился Высотин.

— Я хочу договориться на будущее. Что было, то было. Знаю, ведь спор бесполезный. Я тебе буду толковать об офицерской этике, ты мне прочтешь лекцию о любви к человеку. Новой она для меня не будет: нечто подобное я слышал уже от своего замполита. Да и мне тоже тебя не переубедить — по опыту проверено.

— А все-таки... — начал Высотин.

— А все-таки, — снова перебил Светов, — мы вернемся к этому вопросу, когда ты обломаешь зубы на Стебелеве.

— Не думаю.

— А я думаю: то, что не удалось мне, не удастся никому другому... Ну, хорошо, хорошо! Я же сказал, что об этом рано говорить.

— Что ж, говори, о чем хотел. — Высотин взял гостеприимно предложенную хозяином сигарету, закурил. Он чувствовал, что в этом разговоре нужно будет проявить немалую выдержку.

— Я о будущем, — продолжал Светов. — Мой корабль лучший в соединении. Твой на среднем счету. Ты будешь из кожи вон лезть, чтоб обогнать меня. Я тоже, чтобы сохранить первенство. Это естественно! У тебя свои командирские качества, у меня свои. Нет двух одинаковых командиров, как нет в море двух одинаковых скал. Пусть же каждый поступает по-своему. Не будем мешать друг другу. А там посмотрим, кто из нас прав, кто добьется больших успехов. Согласен? — Светов протянул Высотину руку.

— Нет, не согласен.

— Почему же? — Рука Светова опустилась на стол.

— Не согласен с тобой потому, что я хочу не только того, чтобы «Державный» стал отличным кораблем, но и того, чтобы «Дерзновенный» с каждым днем становился все лучше. Думаю, что и ты должен быть также заинтересован в успехах моего корабля. Не согласен с тобой и потому, что, как бы ни отличались наши личные командирские качества, мы с тобой оба — офицеры одной сталинской школы. Значит, основные принципы военной науки у нас общие. Следовательно, не мешать, а помогать мы можем и должны друг другу, помогать правильно пользоваться этими принципами в своем деле.

Высотин говорил медленно, спокойно, стремясь убедить собеседника, остерегаясь вызвать неосторожным словом ненужного раздражения. Светов почувствовал это, почувствовал и глубокую правду в словах Высотина. Спорить было трудно, хоть соглашаться сразу не хотелось.

— Нечем крыть! — Светов принужденно засмеялся. — Теоретически ты, как всегда, прав.

— А практически?

— Практически война меня научила тому, что в трудную минуту все решает инициатива, смелость, творческая мысль командира. Советоваться некогда, в книгу не заглянешь, колебаться вредно. Глазомер, быстрота, натиск — вот и все! Да и сейчас даже — ну, о чем я тебя буду спрашивать? Разве ты мой корабль, людей моих знаешь, как я? Да и ты ведь все по-своему делаешь. Тоже световское перенимать не захочешь. Что, на этот раз согласен? Только, ради бога, без правoucений! — Светов шутливо, будто защащаясь, поднял руку.

— Пусть без правoucений. Все равно не согласен. — Высотин говорил серьезно. — Вот я бы охотно у тебя многому поучился. Красиво служба на «Дерзновенном» идет. Очень красиво!

— Нравится? — спросил Светов обрадованно.

— Очень нравится. Хотел бы я узнать, как ты гордость такую за свой корабль у всего экипажа воспитал?

— Ларчик открывается просто, — усмехнулся Светов. — Я взнуздal себя и всех вокруг себя... Я стараюсь делать все лучше всех и уверен, что никто, кроме меня, так не сумеет.

— А конкретней? — спросил Высотин.

Противоречивые чувства боролись в душе Светова. Ничто он не ценил так высоко, как похвалу своему кораблю. Но, с другой стороны, обида на Высотина еще не прошла. Да и стоит ли давать сильному сопернику козыри в руки? Все же Светов решил быть великодушным.

— Что ж, попробуем, — сказал он. — Знаешь, что скоро предстоят гонки?

— Знаю, конечно.

— Пойдем, покажу тебе мою образцовую шлюпочку, — может, и найдешь, что перенять.

Итак, казалось, мир был восстановлен. Они вышли на палубу, весело разговаривая, вспоминая минувшие годы. Правда, на душе у Высотина оставался какой-то мутный осадок после спора, но он решил не придавать этому значения.

— Вот она, наша призовая, — сказал хвастливо Светов, — сами на судоверфи строили красавицу. И команда на ней будет — один к одному!

Высотин потрогал рукой борта и обшивку удивительно легкой и изящной шлюпки, потом нагнулся, ощупал внимательно киль, штевень, все оборудование, вплоть до румпеля.

— Этому не завидую, — сказал он, окончив осмотр шлюпки. — Нечему завидовать... Липа!..

— Ты что сказал?! — опешил Светов.

— Негодная, говорю, для морского дела посудина. Ведь в шлюпке все облегчено против стандарта. Обшивка тоньше, чем положено. Она же рассыплется на хорошей волне!

— У гвардейцев не рассыплется, — возразил Светов и с раздражением добавил: — Вот видишь, я ведь говорил, что мы друг у друга ничему не научимся, только помешаем. И правду сказать, надоели мне твои теории и учения.

— Тут уже не теория, Игорь, — сказал Высотин тихо, чтобы не расслышал стоявший неподалеку дежурный офицер, — дело ведь со шлюпкой нешуточное. Я вижу, тебе помочь еще больше, чем мне, нужна.

— Спасибо на добром слове, Андрей, только я ни в чьей помощи не нуждаюсь, — сильно картавя, перебил Светов и, едва сдерживая себя, взглянул на ручные часы, холодно сказал: — Адмиральский час. Ты будешь обедать у меня?

Высотин по рассерженному лицу Светова понял, что дружеская беседа с ним уже невозможна. Да и хотелось быть на своем корабле, среди своих офицеров: «Ведь дел у меня непечатый край».

— Благодарю, Игорь, — сказал Высотин, — я буду у себя...

— Что же, не смею задерживать! — и точно так же, как дежурный офицер, Светов козырнул четко, красиво, с каким-то шиком.

...Высотин покинул «Дерзновенный» с тяжелым чувством.

«Игоря по-настоящему я не предостерег, — думал, возвращаясь к себе, Высотин. — Да и сам ничему не научился. А ведь есть же, наверно, у Светова много и хорошего. Что же все-таки делать?» Этого он так и не решил.

8

После разговора с командиром корабля Стебелев не находил себе места. Высотин ни в чем его не упрекал, не читал ему длинных правдоучений, и все-таки он чувствовал себя гораздо хуже, чем в тех случаях, когда его ругали и наказывали. Почему это было так? Обычно, получая взыскания, Стебелев замечал скрытое, а иногда явное, но всегда очевидное для него раздражение начальников, и Стебелеву казалось, что к нему относятся предвзято. Тогда он сам в свою очередь раздражался, сопротивляясь воле командиров, и в силу этого, в силу нарастающего чувства обиды сначала внутренне умалая значение своих проступков, а потом и вовсе забывал о них.

Но за тем, что говорил Высотин, Стебелев не мог найти ничего, кроме дружеского расположения и сочувствия, и, может быть, поэтому он впервые ощутил, что в чем-то глубоко виноват. Однако это ощущение было таким

расплывчатым и неясным, что разобраться в нем он не умел. Он еще и еще раз мысленно возвращался к разговору с Высотиным, желая понять его намерения, но они так и оставались для него непонятными. В конце концов подозрительность и недоверчивое отношение к людям, присущие Стебелесу в последнее время, взяли верх, и он, махнув на все рукой, решил: «Ошарашить, видно, меня захотел. Добряком прикинулся!»

Разрешение сойти на берег не обрадовало Стебелева. На сердце была такая тяжесть, что даже физически ощутимо хотелось ее сбросить. «Поделится бы с родным человеком, да ведь нет такого...»

Стебелев зашел в каюту политпросветработы. Там былолюдно. Старшина Зеленцов читал по-английски Диккенса, непрерывно листая толстенный словарь, и, как шаман, бормотал трудно поддающиеся произношению слова. Двое матросов просматривали свежие газеты, Петров углубился в журнал «Новости радиотехники». Высокий и гибкий, с женственным лицом, старшина Салиев монтировал световую карту «Стройки советской страны». Работа двигалась у него крайне медленно — «медленней, чем строились города и заводы», — так по крайней мере утверждал Донцов.

В углу каюты стояли шахматные столики. За одним из них устроился Ташыбаев, за другим — Мошкин. Ташыбаев работал над чертежом, Мошкин писал письмо.

Была у веселого вестового страсть к переписке со знаменитостями. Стоило в газетах появиться сообщению о награждении стахановцев производства или героев колхозных полей, как Мошкин посылал им письма. Эти письма были мишенью для остроумцев в кубрике, так как Мошкин адресовал их чаще всего девушкам. Петров, например, утверждал, что в каждом из писем содержалось предложение руки и сердца. Впрочем, шутки не мешали Петрову использовать ответы на письма Мошкина для корабельной радиогазеты. Авторы их сообщали всегда много интересного о своих трудовых успехах, о чем, собственно говоря, и спрашивал их Мошкин.

Стебелев прошел мимо Зеленцова и Петрова, бросил равнодушный взгляд на Ташыбаева и остановился неподалеку от Мошкина. «Письмо пишет... А мне и написать некому», — подумал он и невольно заглянул через плечо матроса. Перед Мошкиным лежал портрет улыбающейся, круглолицей девушки. В руках она держала поросенка, который вытянул рыльце, будто обнюхивая воздух.

«Героиня труда Марина Шейко, — писал Мошкин, — спасибо за фотокарточку. Сегодня pošлю вам свою».

Увидев Стебелева, Мошкин поспешно прикрыл рукой письмо и сердито буркнул:

— Чего заглядываешь? Шел бы своей дорогой...

Стебелев отошел от Мошкина, постоял у стола, перелистал свежий номер журнала «Огонек», затем поднялся на палубу. Попрямеему он чувствовал себя одиноким на корабле.

Перед ним лежала гавань. Над островами и мысами висела сизоватая дымка. Вода походила на бутылочное стекло. И все это: гавань, вода, корабли, стоящие у пирсов, — было так знакомо Стебелеву и так ему надоело, что он тихонько чертыхнулся. Ему захотелось пойти в лес, побродить по траве, побыть в одиночестве.

На юте соловьем заливалась дудка, боцман басом подал команду:

— Увольняемым на берег построиться!

...Стебелев шел по самым окраинным улицам, там, где рядом с новыми домами еще валялись обломки скал и пахло свежей стружкой. Хозяйки, подоткнув подола юбок, вытирали забрызганные мелом окна. Мягкий подмосковный говорок перемешивался с характерным волжским оканьем, с певучей украинской и белорусской речью.

Потом, выйдя за город, Стебелев долго бродил по тайге, прислушивался, как хрустит под его ногами сухой валежник, прыгал через ручейки, с силой нагибал и отпускал ветви кустарника, рассекавшие воздух, как хлысты. Шатром сомкнулись над его головой кроны дубов, вязов, кедров, желтых кленов с красивыми, глубоко вырезанными бледными листьями. Ветви деревьев не шумели, не качались — так тесно переплелись они между собой, и сквозь них, как через гигантский абажур, проникал мягкий, будто призрачный свет. Местами деревья расступались, и там, на маленьких лужайках, стояли столбы солнечного света, будто алебастровые колонны, среди зеленоватого полумрака кружились пчелы, носились мохнатые шмели, какие-то зверюшки шмыгали в траве, видно, выбежав погреться на солнце.

Стебелев брел, не разбирая дороги, не боясь заблудиться, чувствуя себя уверенно, как дома. Все вокруг хоть и не было прямо похоже, но чем-то напоминало Сибирь. И впервые за долгие месяцы ему захотелось спеть что-нибудь родное, за душу берущее. Безмолвно вокруг стояла тайга...

«Славное море, священный Байкал...» — запел Стебелев сильным, глубоким голосом. Продираясь с трудом сквозь заросли, он добрался, наконец, до небольшой полянки и бросился вниз лицом на траву.

Как хорошо было здесь! Из маленького озерца, поросшего густой травой, подымали свои белые чашечки лилии. Большие темносиние бабочки порхали над водой, садились на нее, распластав крылья. Неподалеку, прямо из земли, бил горячий ключ. Рядом с ним, на кочке, разросся куст желтого курсолепа. Клин буйного папоротника врезался в гущу кустарника. От земли шел густой смолистый дух.

«Жаль, реки здесь нет, — подумал Стебелев. — Енисей — река кругая, своенравная, как необъезженный конь, да своя от берега до берега. А море что? Стихия...»

Стебелев перевернулся на спину, темнофиолетовый колокольчик склонился над самым лицом — даже щекотал его... Стебелев лежал, закрыв глаза. Картины, возникавшие перед ним, такие яркие сначала, постепенно становились все более туманными и расплывчатыми. Сам того не желая, он заснул.

Очнулся, будто кто-то толкнул в бок. Взглянул на часы. Они стояли. Солнце уже село. Узкая красноватая полоска гасла над тайгой, но было еще светло. Вечерняя тишина лежала над сопками и кремнистыми отрогами гор.

«Как бы не опоздать на корабль!» — с тревогой думал Стебелев, пробираясь сквозь кусты. Только теперь он понял, как далеко забрел в глубь тайги.

Быстро смеркалось. Птти становилось все труднее. В темноте не видно было камней в траве, болотцев, пней; трухлявый валежник рассыпался под ногами, по лицу хле-

стали ветви. Стебелев шел напролом через заросли, оступался, падал и, наконец, выбрался на дорогу.

...Тяжело дыша, мокрый от пота, он прибежал на корабль.

Дежурный офицер стоял у двери рубки и смотрел на часы.

— Опоздал на две минуты, — сказал он Стебелеву и осуждающе покачал головой.

...В кубрике все уже лежали на койках. Едва светилась лампочка на подволоке. Из темного угла доносилось легкое похрапывание Петрова. Только Ташыбаев еще раздевался, расшнуровывая ботинки, да боцман, любивший перед сном посидеть у матросов, что-то рассказывал.

Стебелев тихонько пробрался к своему месту в углу. Казалось, никто не обратил на него внимания.

— Вот так, значит, бился «Стерегущий» один против шести вражеских кораблей. Погибли артиллеристы, погибли другие моряки, которые их сменили. Вышли из строя все орудия. А флаг русский все развевается над кораблем.

Стебелев прислушался.

...Остались в живых только два матроса. Спустились они в машинное отделение и задраили за собой люк. А японцы в это время завели буксирный конец и повели «Стерегущий» в плен. Тогда русские матросы открыли кингстоны, и пошел «Стерегущий» на дно. Японцы не успели обрубить буксирный конец. Оборвался он и стегнул напослодок по ихней палубе...

— Видел я памятник тем двум морякам в Ленинграде, в парке имени Ленина, — сказал Донцов, — герои они были! Да и у нас, на «Державном», были такие. Вот хоть Петр Чайка.

— Это верно... — протянул боцман. — Но не все еще матросы на «Державном» честь корабля берегут. — Он обернулся в сторону Стебелева и встретился с его взглядом.

Стебелев хотел было вскочить, объяснить, рассказать. Но кто же ему поверит?

— Спокойной ночи, товарищи, — сказал, уходя, боцман.

Стебелев в этот вечер долго не мог уснуть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

У стенки стоял флагманский корабль «Морская держава». Его фок-мачта, равная по высоте тринадцатизатяжному дому, уходила своей вершиной в синеву неба. От нее на добрую сотню метров к носу и корме корабля тянулись палубные надстройки. Орудийные башни, приземистые, похожие на огромные тяжелые танки, вытянули над палубой стальные хоботы орудий. На каждом из них можно было бы выстроить в одну шеренгу взвод бойцов. Стволы многочисленных автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов были устремлены в небо. Горячо дышали большие зевы двух массивных труб.

«Морская держава» — это был корабль-крепость: десятки тысяч тонн первосортной стали, сотни тонн меди, цинка, алюминия, никеля — гора отлитого в строгие формы, поблескивающего на солнце металла, металла, готового в любую минуту грянуть огнем все сокрушающих артиллерийских залпов; корабль-завод, в глубине которого установлены турбины и дизели, не уступающие по мощности тем, что дают энергию промышленным центрам; тысячи метров труб паровых и водяных магистралей, десятки тысяч метров электрических и телефонных проводов, количество, достаточное, чтобы электрифицировать и телефонизировать большой населенный район; корабль-город со своей типографией и газетой, кухнями, прачечной, портновской и сапожной мастерской, библиотекой, клубом и почтой.

На «Морской державе» располагался штаб соединения, в котором сегодня начинал службу Золотов.

Уже утром за чаем в кают-компании он резко почувствовал отличие своего нового положения от прежнего. На «Державном» Золотов обычно садился во главе длинного и узкого стола, за которым размещались все офицеры, все его подчиненные по должности, младшие по возрасту и званию. Там к каждому его слову прислушивались, там он был хозяином. Здесь же столов было много, и, усевшись за один из них, Золотов как бы растворился среди десятков таких же, как он, офицеров. Никто не следил за выражением его лица, не обращал на него особого внимания. Несколько знакомых флагманских специалистов приветливо поздоровались с ним, поздравили с новой службой и занялись своими разговорами.

Ровный свет электрических плафонов падал на застланные льняными скатертями столы, на чайные фарфоровые сервизы (за каждым столом сервиз, отличный по форме и рисунку), на вазы с печеньем, играл на золоте офицерских погонов.

В кают-компании стоял мерный гул человеческих голосов. Деловито двигались в белых куртках вестовые, подавая чай. Из репродуктора доносилась приглушенная музыка.

Не раз приходилось Золотову бывать на флагманском корабле во время различных совещаний и сборов, проводившихся в кают-компании, задержавшись в штабе, оставаться на обед или ужин. Но тогда он был гостем, и, по флотским обычаям, его, как гостя, все старались занять, оказать ему всяческие знаки внимания; теперь же он был только одним из многих штабных офицеров и сам должен был в соответствии со своими способностями, опытом, наклонностями и характером найти свое место в коллективе. Конечно, Золотов знал, что неприятное ощущение отчужденности быстро пройдет, что от него не останется и следа через каких-нибудь два-три дня, но сейчас оно тяготило и даже раздражало его.

Золотов огляделся по сторонам.

Его соседи — флагманский артиллерист и флагманский штурман — обсуждали итоги недавне проведенного ученья.

Золотов об этом ученье совершенно ничего не знал и, как ни прислушивался, главной нити в споре своих соседей уловить не мог. На противоположной стороне стола говорили о шахматном турнире, происходившем на «Морской державе». И это Золотова тоже не интересовало. За-

думавшись, он стал молча пить чай. Да, сегодня он уже не был хозяином своего корабля, а только незаметным винтиком в сложном механизме, к тому же винтиком, не имеющим еще своего гнезда.

В кают-компанию вошел Звенигоров. Постоял, щури глаза от яркого электрического света, и, усевшись за стол, потряс свежим номером «Правды», который держал в руке.

— Не читали еще, как наш представитель господ аче-сонов и шуманов разделявает? — спросил он довольно громко.

Разговоры за столами прекратились, как по команде, все головы повернулись к начальнику политотдела. В то время шла сессия министров иностранных дел, посвященная обсуждению проблем единства Германии, и каждого нового сообщения ждали с нетерпением.

— Вот послушайте, — Звенигоров развернул «Правду» и жестом, присущим дальнзорким людям, отодвинул ее от себя, как это делают обычно для того, чтобы оценить картину художника. — Итак, в ответ на слова господина Шумана, утверждавшего, что прежде, чем восстанавливать четырехсторонний союзный контроль, надо восстановить единство Германии, наш представитель сказал, — Звенигоров сделал короткую паузу и громко прочитал: — «...Когда строится корабль, морской регистр контролирует шаг за шагом все то, что делается в процессе строительства, — задолго до того, как корабль будет завершен и пустится в плавание. Если же рассуждать так, как говорит господин Шуман, то нужно действовать иначе: сначала простерить корабль, а потом учредить морской регистр для проверки того, как он строился». В общем перепорачивают они все вопросы с ног на голову, а мы разоблачаем их маневры, — добавил Звенигоров и, отложив газету в сторону, закончил: — А главное, и регистра эти господа не хотят, и корабль им не нужен; не хотят они, чтобы была единая миролюбивая демократическая Германия.

...Разговор стал общим. Вспоминали пункты Потсдамской декларации, связывали события в Германии с положением в Японии, обсуждали международное значение Всемирного конгресса сторонников мира. Флагманский артиллерист и флагманский штурман заспорили о статьях Ванды Василевской — «В Париже и вне Парижа».

Золотов в разговор не вмешивался. В последнее время, занятый передачей корабельных дел Высотину, он только бегло просматривал газеты и статей Василевской не читал.

Звенигоров, увидев задумавшегося Золотова, подошел к нему.

— Что это вы, Терентий Иванович, будто не в своей тарелке? — спросил он шутливым и вместе с тем дружеским тоном.

— Не в своей! — откровенно сознался Золотов.

— Это от того, что не видите перспектив новой работы.

— Возможно, — согласился Золотов и подумал с досадой: «Сейчас, наверное, начальник политотдела будет мне говорить то же, что и командующий».

Звенигоров, однако, весело спросил:

— Сколько вам лет, Терентий Иванович?

— Четыре десятка уже отстучало, — ответил Золотов и добавил: — Все-таки такой рубеж, когда с начала уже ничего не начнешь и за новое братья страшно-вато.

Звенигоров укоризненно покачал головой.

— С начала, конечно, начинать незачем, Терентий Иванович, да и невозможно. «Жизнь начинать с начала» — это, по-моему, только фраза, вымысел досужих литераторов. Что пройдено, то пройдено. И все, что дано, — горбом нажито, потом и кровью полито. Жизнь — великий учитель. Ее уроки не забываются. В сорок лет юношей стать нельзя, да если б и можно — жалко было б зрелость свою отдавать. — Звенигоров улыбнулся. — Я б, например, ни за что не отдал ни того, что понял, когда Магнитогорск строил, ни того, что под Сталинградом в 1942 году пережил.

— Вот видите, — сказал Золотов, — и вы, хоть с другой стороны подходили, к той же мысли, что и я, пришли.

— Не совсем, не совсем так, Терентий Иванович. Я ведь с тем, что за новое братья страшно-вато, не согласен. У жизни уроки до самой смерти брать собираюсь. — Он пододвинулся ближе к Золотову. Голос его зазвучал с юношеской страстностью. — Новое — ведь оно во всем, в большом и малом, что открывается перед нами каждый день. Не отмахивайся только, бери его, впитывай в себя, понимай, сам обновляйся. Вот и зрелость будет расти от года к году, и юность не кончится. Это же и есть тот эликсир вечной молодости, о котором еще древние мечтали... — Звенигоров помогал, взял со стола газету, сложил ее вчетверо и сунул в карман тужурки, затем закончил без видимой связи с предыдущим:

— Рад я, Терентий Иванович, что вы к нам в штаб пришли. Очень рад.

На верхней палубе пробили склянки. Почти тотчас же в кают-компанию вошел вахтенный офицер и громко доложил Звенигорову:

— Товарищ капитан первого ранга, через пять минут подъем флага!..

— Хорошо, — ответил Звенигоров и, обращаясь к Золотову, предложил: — Пойдемте наверх, Терентий Иванович. Для меня, знаете, подъем флага всегда такое событие, будто я заново начинаю службу...

Начальник штаба, которому представился Золотов, отвел ему каюту и, видимо выполняя указания командующего, без долгих размышлений поручил Золотову подготовить материалы о маневренных свойствах и мореходных качествах некоторых кораблей соединения.

Золотов, оставшись в каюте один, немного успокоился. Чувство скованности, возникшее в кают-компании, прошло. «Ну вот и новая гавань, — подумал он. — Поглядим, каково будет плавание?»

За иллюминатором виднелось чистое, как вымытое стекло, небо, возвышалась конусообразная сопка, белая от птичьего помета; черными пятнышками казались морские бакланы, рассеявшиеся на ее уступах. В каюте было прохладно и чисто. Солнечные блики дрожали на линолеуме, покрывавшем палубу, на занавесах и письменном

столе с телефонным аппаратом, поблескивающим черным лаком.

Золотов удобно уселся за стол, по привычке проверил, есть ли в чернильнице чернила, попробовал, как пишет перо, и, удовлетворенный осмотром, раскурил трубку. Затем он начал листать толстую книгу в коричневом переплете — тактический формуляр «Державного». Все, что было написано в формуляре, он знал почти наизусть — длину, ширину и осадку «Державного», влияние осадки и дифферента корабля на управляемость и расположение выступающих за борт предметов — якорей, кожухов, шлюпбалок, трапов... Помнил он, куда идет корма при боковом ветре «на стопе» и на заднем ходу, знал величину «мертвого» промежутка от момента дачи приказа телеграфом до исполнения его в машине. «Память. Цифры. Бумажки. Вот и все, что осталось мне от моего корабля», — снова с горечью подумал он.

Золотов захлопнул знакомую до последней строчки книгу и взял формуляр «Державного». Выбил пепел из трубки, зевнул, просматривая колонки знакомых цифр. «Корабли однотипные и одного года постройки. Занятие в общем невеселое». Он рассеянно листал страницу за страницей, но вдруг его внимание привлек диаметр циркуляции — цифра, определяющая маневренность корабля. Выходило, что у «Державного» потеря в скорости при поворотах на малых глубинах была больше, чем у «Державного».

Золотов усомнился, нет ли здесь ошибки? Он решил поговорить со Световым. Корабли стояли у стенки. Телефонная связь была налажена. Золотов уже снял трубку, хотел набрать номер, как в каюту заглянул Светов.

— Привет, Терентий Иванович. Как, на мертвом якоре сидючи, не скучаете? — все это Светов произнес еще на пороге.

— Ничего, Привыкаю. — Золотов протянул Светову руку.

— А я от начальника штаба узнал, что вы над формулярами коршите. Ну, думаю, уж кто-кто, а Терентий Иванович мне ни одного греха не простит. — Светов обвел глазами каюту и, видимо вспомнив о каком-то срочном деле, спросил нетерпеливо: — Так какие будут директивы у начальства?

— Директив нет, а вопрос один имеется, — Золотов пододвинул Светову формуляры «Державного» и «Державного», — вот по циркуляции.

— Что ж удивительного, — мельком взглянув, ответил Светов. — У каждого корабля, как и у каждого человека, свой характер, свои особенности.

— А все-таки?

— Не сомневайтесь. Все точно. Я сам проверял совсем недавно. — Светов взглянул на часы. — Так если нет больше ничего спешного...

— Спешного нет. — Золотов придвинул формуляры снова к себе.

Когда Светов ушел, Золотов задумался: «Ведь правильно, пожалуй, сказал Игорь Николаевич: «У каждого корабля свой характер». А характер меняется с годами». Золотов вспомнил, что сам уже почти год не вносил изменений в тактический формуляр. «Надо будет сказать Высотину, чтобы все обязательно проверил заново».

Теперь уже формуляры однотипных с «Державным» кораблей вызвали у Золотова обостренный интерес.

Он разложил перед собой книги (они едва разместились на столе) и принялся выписывать данные, сравнивать их, отмечая то, что считал необходимым запросить у командиров или проверить лично.

Вечером позвонил Серов.

— Приглашаю вас завтра на верфь, — сказал он, — посмотрим вместе, как идет ремонт кораблей.

Еще утром Золотов, вероятно, отнесся бы к такому предложению спокойно и даже равнодушно, но сейчас он уже понял, что все, что он будет делать в штабе, является, помимо всего прочего, испытанием, выдержать которое для него — дело чести.

Подобрав все материалы о ремонтирующихся кораблях, Золотов просидел над ними почти до рассвета.

2

С океана подул резкий, холодный ветер. Летней погоды — как не бывало. Над «Державным», цепляясь за верхушки мачт, неслись черные, как копоть, тучи. Воздух был настолько влажным, что все предметы на корабле были покрыты каплями воды.

Донцов только что сменился с вахты, и больше всего ему хотелось отдохнуть: «Вот покурю — и в кубрик». Он прошел на бак и увидел Стебелева, обивавшего ржавчину с якорь-цепи. Лицо у матроса было недовольное и синее от холода. Труд, которым он сейчас был занят, считался тяжелым и неблагодарным.

Закурив папиросу, Донцов стал наблюдать за матросом.

Стебелев работал быстро. Издали, конечно, нельзя было разглядеть и правильно оценить его работу, но сомнение в ее качестве сразу возникло у Донцова. Старшина по собственному опыту знал, что нельзя хорошо очистить цепь, подготовив ее к окраске, не повозившись как следует с каждым звеном. Поэтому, отбросив окурок, он подошел к матросу, нагнулся и, пружиня ноги, поднял добрый метр загрохавшей по железной палубе цепи. «Так и есть», — подумал он. Продолговатые овальные звенья были разделены надвое прямыми металлическими распорками — контрфорсами. И вот в уголках, образованных контрфорсами и самой стальной окружностью, оставались следы ржавчины и кусочки кузбасского лака, которым была окрашена цепь.

Донцов больше всего на свете не любил работы, сделанной небрежно.

— Ну как, труженик, — обратился он к Стебелеву, — и нудно, и трудно, и спать хочется? Чистое наказание? Так, что ли?

Стебелев ничего не ответил, только нехорошо посмотрел на Донцова.

И в этом взгляде Донцов прочитал: «Тебя б самого посадили в такую погоду за такую работу».

Донцов уселся на бруске, принялся подчищать стальной щеткой уже просмотренные матросом звенья. Стебелев сделал вид, что ничего не замечает.

Так, молча, не глядя друг на друга, они работали. Донцов, как это с ним случалось всегда, незаметно увлекся. Он тщательно осматривал каждое звено, обтирал его ветошью и только затем переходил к следующему.

Вскоре старшина догнал матроса и, подтянув к себе свернувшуюся клубком у ног Стебелева цепь, вдруг увидел несколько ржавых, совершенно не тронутых звеньев.

Донцов едва не вспыхнул. «Не помогать этому брьюку надо, а наказывать его!» — подумал он. Однако тут же заметил, что вслед за ржавыми звеньями идут совершенно чистые: одно, другое, третье — все.

«Понятно, значит, сначала в бутылку полез, а потом «совесть заговорила». Донцов удовлетворенно улыбнулся. Он поглядел на Стебелева. Матрос усердно надраивал маркированное отожженной проволокой и потому трудно поддающееся очистке звено. Лицо у Стебелева покраснелось. «Будет толк, человек он рабочий», — подумал Донцов.

Теперь старшине уже как будто нечего было делать. Однако он решил воспользоваться случаем, чтобы завести серьезный разговор. Высотин на-днях прямо сказал Донцову: «Матросы у нас все комсомольского возраста. Большая ответственность на вас ложится. Помогайте мне воспитывать людей». И потом добавил: «Обратите особое внимание на Стебелева». Уходя от командира, Донцов подумал с досадой: «Как же это я сам недоглядел!»

Передвинув деревянный брусок, Донцов подсел поближе к Стебелеву.

— Ну, как подвинулось дело? — спросил он.

— Вдвоем оно сподручней, — ответил матрос. — Вам бы теперь отдыхать, старшина. — Стебелев не знал сейчас, как себя держать.

Было неловко, что Донцов, едва сменившись с вахты, делал работу за него.

— Успею, — весело сказал Донцов. — Да и делу наш разговор помехой не будет.

— Какой разговор? — Стебелев поглядел на Донцова. В глазах матроса было недоверие, но в то же время и какая-то искорка симпатии. Донцов обрадовался ей и решил спросить прямо и просто, без обиняков, о том, что его интересовало.

— На вид вы матрос хоть куда, — сказал он, — и работать, я вижу, можете. — Донцов немного помолчал. — Но вот непонятно мне, как же так случилось, что на корабль из увольнения опоздали?

О чем угодно мог спрашивать Стебелева старшина, только не об этом. Стебелев глубоко переживал свой поступок, не прощал его себе, но и не хотел, чтобы о нем напоминали.

— Без причины, товарищ старшина, и чирей не выскочит, — стараясь быть спокойным, пытаюсь даже шутить, сказал Стебелев. — Только интересного тут мало. — Он отвернулся и принялся протирать и без того чистое звено цепи.

— Может, кому и не интересно, а мне очень важно. Может, беда с вами какая случилась, не по своей вине опоздали? — Донцов решил быть настойчивым и не обращать внимания на резкие перемены в настроении Стебелева.

«Вот прилипчивый», — подумал Стебелев.

— Что помогли, спасибо, — сказал он. — Но видите же, не до разговоров мне, к сроку не управлюсь. — Интонация его голоса была просительная, но в то же время такая, какая бывает у человека, чье терпение вот-вот лопнет.

Донцов, не понимая раздражения матроса, пояснил:

— За последний год на «Державном» из увольнений ни один матрос не опаздывал. Случай с вами, понимаете, шпотно на корабль положил. Вот я и решил написать о нем в радиогазету.

Стебелев поблел и сказал глухо:

— Что же, дело ваше бумагу марать. — Он недобро посмотрел на Донцова. — Только вот комсомольцы все про матросскую дружбу на собраниях говорят... — Стебелеву было обидно до слез.

Вчера его вызвал Кшпарисов. Глядя мимо матроса куда-то в пустоту, он коротко отчеканил: «Я приказал боцману наказать вас. И учтите, нянчиться с вами дальше никто не станет. Разгильдяя на корабле держать не будем. Все. Можете идти». Стебелев ответил, как полагалось по уставу, и вышел спокойно. То, что сказал ему старший помощник, ничего не добавило и ничего не изменило в его сознании. Его почти не задели резкие слова офицера. «Хорошо, хоть не рассусливал, в душу не лез, — подумал Стебелев. — Сказал, что положено, и шагом марш».

Но сегодня с ним ведь говорил старшина, который все время делал вид, что относится к нему благожелательно. И этот человек решался его осудить, опозорить через газету!

— Эх, дружба морская называется... — закончил он. — Не хочу я с вами и разговаривать.

Упрямая и злая обида захлестнула Стебелева, и через нее шельзя было перешагнуть. Это понял Донцов.

«Ну и орешек! А все-таки я его разгрызу», — подумал он и сказал спокойно, словно ничего особенного не произошло:

— Что ж, никто за язык не тянет. Но, я думаю, мы с вами о дружбе морской еще не раз потолкуем. — Донцов повернулся и ушел.

...Петров, стоявший в это время у леера и слышавший весь разговор, не выдержал и, подойдя к Стебелеву, сказал:

— Напрасно ты заносился перед Донцовым. Ведь ты перед ним еще что слепой кутенок. И чего только ты занозистый такой?

— Экая цаца твой Донцов, — откликнулся недружелюбно Стебелев. — Подумаешь, опоздал я на две минуты, так что — без меня корабль перевернулся? Бубнит про одно и то же... Будто и с ним случиться не могло.

— Не цаца Донцов, а настоящий моряк! — сказал Петров серьезно. — Я его давно знаю. Еще по первому году вместе с Ленинграде служили. Случай был. Однажды весной он, вот как ты, тоже из увольнения на корабль возвращался. Ну, вот, задержался в городе, не помню уж, по какой причине. Времени у него осталось как раз в обрез. А тут, понимаешь, как назло, дошел до Невы, а мост разведен — со срочным грузом пароход проходил, и вокруг шлюпки нет ни одной. К другому мосту бежать — все равно опоздаешь. Что тут поделаешь? — Петров до-

стал из кармана коробку монпансье и, открыв, протянул Стебелеву: — Утощайся, может, побреешь. Я вот купил, думал, курить брошу. Бросить не бросил, а конфеты остались.

— Ну, а дальше там что? — отводя коробку с леденцами, спросил Стебелев.

— В Неву он бросился, не посмотрел, что вода ледяная, переллыл, потом лобезал что есть духу. На корабль минута в минуту явился.

Стебелев недоверчиво посмотрел на радиста, потом сказал неопределенно:

— Что ж, всякое бывает...

3

Ежедневное короткое совещание руководящего инженерно-технического персонала верфи, так называемая летучка, окончилось. Главный инженер верфи Анна Субботина осталась в кабинете одна. На столе перед ней лежала объемистая стопа чертежей, требовавших ее утверждения. Секретарь дирекции, довушка в роговых очках, принесла ей бумаги и чертежи на подпись.

Анна принялась внимательно рассматривать чертежи водоотливных средств судов нового типа. Ей хотелось, чтобы быстроходные торговые суда — первенцы ее верфи — стали лучшими в мире.

На этих судах придут в Белые Скалы станки из Ленинграда, виноград из Грузии, текстиль из Подмосковья. На них отправят из Белых Скал и лес, и меха, и рыбу. Их увидят севавтопольцы, таллинцы, ленинградцы. Увидят и оценят, как трудятся, как творят люди на краю советской земли. «Увидят и будут горды за нас», — подумала Анна.

Казалось, ничего интересного в чертежах не было. Расположение трубопроводов, циркуляционных, аварийных электрических насосов — всех средств, которые служат для откачивания больших масс воды из главных отделений судна в случае аварии, было давно хорошо продумано. Однако на новых судах менялась энергетическая установка, и это в какой-то мере должно было сказаться на всем. Поэтому Анна хотела увидеть в чертежах, подписанных главным конструктором, ту новую, неожиданную, увлекательно-смелую техническую мысль, которая проявляется порой в самой обычной черновой работе. Не обнаружив ее, она вздохнула. Конструкторы ремесленно приспособили ранее принятую систему расположения водоотливных средств к новым условиям.

Анна не могла сосредоточиться над чертежом: «Что это со мной сегодня?»

За распахнутым окном ее кабинета виден был широколиственный клен; на его листьях, колыхающихся от движения воздуха, непрерывно переливался, скользил, вспыхивал и угасал солнечный свет. Неожиданно вертлявый щегол в ярком мундире вскочил на подоконник, запрыгал, словно танцующий, выкатишь на нее черные, круглые, как шарики, глаза.

Мысли Анны уходили куда-то далеко, и она не могла ничего с этим поделать.

Анна отложила карандаш. Щегол постучал клювом о подоконник, расправил крылышки и перелетел на раскачивающуюся ветку дерева.

Анна проводила его взглядом и подошла к окну. По небу проносились белые облака. Низко над домами кружились ласточки. Воробьи копошились в уличной пыли. Чайки летали над морем. И весь этот птичий мир, шелкающий, поющий, свистящий, радовался погожему летнему дню. В природе и в самом деле все было необычно ярким и свежим, то ли от утренней, не успевшей высохнуть росы, то ли от прохладного бриза, дувшего с моря, то ли от солнца — такого лучистого, что невольно жмурились глаза.

«Завтра день моего рождения, — подумала Анна. — Кто же будет, кроме Наташи?»

Она вспомнила о Высотине, и он представился ей таким, каким она увидела его недавно, в первый раз в Белых Скалах: высоколобый, сухощавый, с широкими, густыми, будто слегка взъерошенными бровями и прямым, открытым взглядом. «Он всегда такой — собранный, подтянутый, будто сжатый в кулак, — подумала Анна. — От этого он, наверно, бывает то откровенным до резкости, то сдержанным настолько, что и мыслей его не разгадаешь. Только почему он всегда невеселый?»

Откуда-то пахнуло морем. Анна высунулась в окно, сорвала листок с клена. «Хорошо, если б он пришел, — подумала Анна. — А почему я этого хочу? — спросила она себя и тут же ответила: — Он был другом Петра, теперь он мой друг. Вот и все!»

— Вот и все, — повторила Анна вслух и, вернувшись к столу, достала из папки одну из схем, выполненную с тем особым старанием и тщательностью, которые отличают только студенческие работы и каких не бывает уже в чертежах инженеров-производственников, пренебрегающих несущественными деталями оформления.

Неделю назад эту схему вместе с другими своими чертежами принес матрос с военного корабля. Молодой изобретатель задумался над расположением судовых систем. Он предлагал ряд нововведений в расположении трубопроводов, которые должны были увеличить живучесть вновь строящихся торговых судов.

Маленький, черноголовый, говоривший по-русски очень чисто и четко, но все же с тем своеобразным акцентом, какой бывает у уроженцев среднеазиатских республик, он держался несколько смущенно, но с большим достоинством.

— Я подумал так: раз двигатель будет новый, меньше по габаритам, легче по весу, значит, открываются широкие возможности для дополнительного оборудования судов. Правильно?

— Правильно, — согласилась Анна. — Она перелистала страницы проекта, и ее наметанный глаз инженера с первого взгляда обнаружил некоторые элементарные просчеты.

Анна ничего не сказала о них матросу, с ожиданием и тревогой смотревшему на нее. В ее обычае было сначала определить, с каким человеком имеешь дело, а потом уже находить верную мерку, с какой надо подходить к его труду.

Она долго беседовала с моряком о теоретической механике и сопротивлении материалов, неожиданно задавала ему вопросы, касавшиеся простейших азбучных истин, и толковала, как равная с равным, о новейших статьях в научных журналах.

Матрос чувствовал, что это был своеобразный экзамен. Он не обиделся. Наоборот, подтянувшись, говорил ясно и определенно, когда речь шла о вещах ему известных, и так же ясно и определенно признавался в том, чего не понимал или не знал.

Анне матрос понравился — он показался ей вздумчивым и толковым. Об этом она ему сказала, а проект оставила у себя, чтобы подробнее с ним ознакомиться.

Вечером, рассматривая проект, Анна натолкнулась на чертеж, в котором схема расположения водоотливных средств была необычной. «Пожалуй, наивно», — была ее первая мысль, но, всмотревшись, она подумала: «Нет, кажется, в этом что-то есть». Склонившись над схемой, Анна долго раздумывала, стараясь не поддаваться раздражению, вызванному большим количеством просчетов и ошибок.

Сейчас она, разочаровавшись в работе своих конструкторов, снова вернулась к той же схеме. У нее уже созрела мысль, что одну из идей изобретателя-моряка можно и нужно будет применить при строительстве новых судов. Дело шло о таком расположении водоотливных средств группами, чтобы повреждение любого трубопровода, выход из строя любой группы не отражался на бесперебойной работе других. Анна наколола схему на чертежную доску, отточила карандаш и задумалась.

Работала, однако, она недолго. В дверях кабинета появилась секретарша.

— Прибыл контр-адмирал Серов, — сказала она, — а директора нет.

— Что же, просите... — Анна поднялась с кресла.

Серов вошел в сопровождении Золотова.

Субботина протянула руку Серову, улыбаясь, как старому другу, ясно и четко назвала свою фамилию, знакомясь с Золотовым.

— Если можно, мы сразу отправимся на эллинги, Анна Ивановна, — попросил Серов.

— Хорошо, — согласилась Анна.

Они спустились по лестнице и вышли на заводской двор.

У самой воды высились гигантские сооружения открытых эллингов. На стапелях, глубоко уходящих в воду, стояли корпуса строящихся торговых океанских судов. Их основания покоились на прочных кильблоках. От концов килля подымались вверх литые из стали форштевни и ахтерштевни, образующие нос и корму судна, и над ними — хоботы подъемных кранов. И удивительным показалось бы случайному, впервые попавшему сюда человеку, что простые рабочие в будничных спецовках называют величественные остовы будущих судов такими прозаическими словами: «корабельный набор».

Золотов был здесь вместе с Полиной два года назад. Тогда каменщики возводили стены цехов, в бухте работала землечерпалка, углублявшая дно, плотники обстругивали бревна. И начальник строительства, толстяк в вышитой рубахе, без пиджака, прямо на берегу распекал за что-то

растерянно разводившего руками агента отдела снабжения. Больше Золотов ничего не помнил. И хотя он, конечно, по множеству газетных сообщений знал, как быстро строятся у нас города и заводы, но все эти сообщения уже давно воспринимались как-то механически, как известия о чем-то должном и обычном. Он не задумывался над ними. И то, что рассказывала ему Полина об этой самой верфи, тоже напоминало газетные очерки и скользило по поверхности его сознания.

Сегодня же Золотов был потрясен общей величественной картиной.

Далеко-далеко, куда доставал взгляд, тянулись крыши корпусов, то черные, окрашенные кузбаслаком, то крытые оцинкованным железом — серебристые, словно слюдяные. Между цехами и эллингами пролегли гудронированные дороги. Рельсы узкоколейки тянулись по всем направлениям. Электровозы тащили груженные платформы, пробегали автомашины. А там, где стояли сухие доки, двигались тяжеловесные порталные краны.

Анна пригласила Серова и Золотова подняться на палубу торгового судна, заканчивавшегося постройкой.

— Хочу похвастаться, — сказала она, — нашей гордостью.

Палуба судна поражала огромностью своего пространства. Темнели большие открытые люки, за которыми скрывалось ненасытное чрево трюма. Рядом с торговым судном строился океанский пассажирский пароход; видно было, как возводились на нем переборки будущих комфортабельных кают и салонов.

— Какая в этом чудесная уверенность! — сказал Серов.

— В чём? — переспросила Анна.

Серов указал рукой на строящиеся суда, потом на море, где стояли стальные громады боевых кораблей.

— Строим для мира и знаем, что не страшен нам никто.

Солнце горело на золотых погонах контр-адмирала, на козырьке его фуражки. И Серов стоял твердо, не щуря глаз, задумчиво смотря вдаль.

— Этот соседний пароход, по-моему, родной брат тем, что строились на наших старых верфях, — обратился Золотов к Анне.

— Только не родной, а двоюродный, — заметила Анна. — У этого судна грузоподъемность гораздо больше.

— Не понимаю, — Золотов пожал плечами, — ведь размеры у него те же? Как же можно увеличить вес судна, не меняя его размеров?

— А мы веса и не будем увеличивать, — ответила Анна, — просто энергетическая установка будет весить меньше.

— Разве вы ничего не слышали о новых турбинах, Терентий Иванович? — спросил Серов.

— Не помню...

— А между тем о них писали.

— О них я знаю. — Золотов покраснел, он подумал о том, что на каждом шагу обнаруживались какие-то пробелы в его знаниях, которые необходимо восполнить.

— Некоторые матросы выводы из этого кос-какне сделали, — вставила Субботина.

— Матросы?

— Какие выводы?

Серов и Золотов спросили одновременно.

— Моряк Ташыбаев, о котором я говорю, с «Державного», — Анна посмотрела на Золотова. — В прошлое воскресенье он принес чертежи. Он, оказывается, заочник судостроительного техникума... Его интересуют типы облегченных двигателей, вот он и предложил проект нового расположения корабельных систем.

— Ну и как, дельно? — спросил контр-адмирал.

— В целом наивно. Элементарные просчеты бросаются в глаза.

— Значит, интерес чисто платонический, — вставил Золотов.

— Не платонический, а человеческий, — поправила Анна. — Сам факт достаточно знаменателен. Кроме того, отдельные мысли технически любопытны. Одну из них, я думаю, мы в ближайшие дни используем. Может быть, и вы заинтересуетесь.

— Обязательно, обязательно, — сказал Серов. — Но почему вы никогда об этом матросе ничего мне не рассказывали, Терентий Иванович?..

Золотов нахмурился. Ему и в голову не приходило, что Ташыбаев занимается изобретательством.

— Недостаточно знал своих людей, товарищ контр-адмирал, — признался он.

Серов неодобрительно покачал головой, и в его погруженном взгляде Золотов прочитал: «Вот видишь, сколько у тебя было промахов. И не только тебе это неприятно, но и мне...» Потом командующий взглянул на часы и сказал: — Ну что ж, пора! Посмотрим теперь, как идет ремонт.

Они отправились на один из стоящих в доке военных кораблей, осмотрели турбины и вспомогательные двигатели, зашли в командирскую рубку. Только теперь Субботина почувствовала, что Серов и Золотов приплыли вместе неспроста. Они советовались друг с другом, подробно расспрашивали командира корабля о ходе ремонта, замечали малейшие недостатки, ускользнувшие от взгляда и внимания опытных строителей. Анна не выпускала из рук карандаша и блокнота, записывая их замечания и пожелания.

Солнце уже спускалось на воду. Кончала работу первая смена, когда Серов и Золотов сошли с корабля.

— За хороший ремонт спасибо, — сказал Серов. — А все-таки, Анна Ивановна, в плановые сроки укладываетесь — и только... А где же инициатива? Не похоже на вас...

— Инициативы хоть отбавляй, — ответила Анна. — Думаете, легко работать, когда весь флот — от адмирала до матроса — свои требования ставит?

— Не легко, да хорошо, — сказал Серов. — И не только требования ставят, но и помогают. Согласны?

— Согласна, согласна, — охотно подтвердила Анна.

Проходя мимо одного из корпусов верфи, Золотов увидел Доску почета; на ней золотыми буквами горела надпись: «Передовые судостроители». В первом ряду — фотография Полины: спокойное, улыбающееся и очень будничное лицо, никакой торжественности. «Как будто сняли ее в тот момент, когда она соседей за чашку чая

приглашает», — подумал Золотов и, обращаясь к Серову, сказал:

— Хотел бы я жену повидать, товарищ контр-адмирал.

— Пожалуйста! И от меня привет передайте.

Золотов секунду постоял на пороге цеха, как бы прислушиваясь к разноголосому хору станков — револьверных, сверлильных, фрезерных, — расположенных правильными рядами в большом светлом зале под стеклянной крышей. Он сразу же увидел Полину. Она стояла у лобового станка с короткой станиной, предназначенного для обработки изделий большого диаметра и небольшой длины. Из-под резца вылась тонкая стружка.

Золотов удивился. «Зачем она?» Полина была мастером участка, а не рядовой станочницей. «И самое главное — работа на лобовом станке требовала большого физического напряжения. В ее положении это несерьезно», — даже рассердился он и вошел в цех.

— Вот видишь, — донесся до него голос Полины. Она обращалась к стоящему рядом с ней молодому токарю, — резать можно легко и... быстро...

— Так-то ж вы, Полина Васильевна, — сказал токарь.

Полина заметила мужа и переключила скорости.

— Наконец-то пожаловал!

— Ты после смены свободна? — спросил он.

— Свободна... Подожди меня, Тереша, в проходной.

— Смотри внимательно, и не хуже меня сумеешь, — снова повернулась она к токарю.

Золотов не уходил. И здесь, как дома, он любовался ловкими, уверенными движениями ее легко взлетающих рук. Так простоял он до гудка.

Они вышли вместе. Золотов взял жену под руку.

— Ну как, хорошо работалось?

— Конечно, хорошо, — Полина была обрадована приходом мужа, — для флота, для тебя ведь стараюсь... — счастливая, она заглянула ему в глаза.

4

Полина шла в Дом флота. «Хорошо жить, когда каждая минута занята», — думала она, торопливо шагая по Морскому проспекту.

Минував просторный вестибюль Дома флота, Полина вошла в комнату, где занимался кружок художественной вышивки. Женщины заканчивали большое панно: «Товарищ Сталин на крейсере «Молотов». Сталин стоял на палубе корабля, окруженный матросами, и улыбался. Отблески этой доброй улыбки отражались на просветленных лицах моряков.

Женщины встретили Полину веселыми возгласами. Видно было, что все обрадованы ее приходом.

Полина, ласково кивнув Татьяне Световой, подошла к ней.

— Не ладится у меня, Полина Васильевна! — Татьяна указала на свой уголок картины — она вышивала лицо юнги, стоящего рядом с вождем. — Не выходят глаза, хоть плачь...

Полина взяла иглу. Привычным движением продернула сквозь ушко нитку. Подумав немного, сделала первый стежок.

Татьяна наблюдала, склонившись через плечо Полины. Стежки ложились ровные и уверенные, как штрихи карандаша художника, вырисовывая очертания глазного яблока. Полина сменила цветную нитку, затем другую, третью. Она увлеклась работой и не оставила ее до тех пор, пока не зажглись живым, веселым огнем глаза юнги на картине.

— Так будет, по-моему, лучше, — сказала она.

Сделав еще несколько замечаний, пошутив по поводу молодых, растущих талантов, она поднялась и сказала:

— Вот что, девушки, — девушками она привыкла называть всех молодых женщин независимо от их семейного положения, — смотрите, не расходитесь, попозже соберемся в Малом зале.

Полина поочередно заглянула в комнаты, где занимался литературный кружок, кружок иностранных языков, кройки и шитья, всюду повторяя свое приглашение.

В Малом зале заканчивали репетировать «Русский вопрос». На сцене Джесси-Любаша уходила от Смита-Гаранина, убедившись в том, что пострадавший за правду журналист становится бездомным бедняком.

Из комнаты Смитов вывозили мебель... За Джесси пришла машина.

Любаша прилагала все силы, чтобы жить чувствами Джесси. Порою казалось, что она находит верный тон, что ей удастся передать трагедию любящей, но искалеченной буржуазным миром женщины, однако тотчас же в исполнение врывалась фальшивая нота. Видно было, что Любаша никак не может до конца поверить в то, что любимого человека можно бросить из-за денег. Поведение Джесси было для нее внутренне непонятно. Не мог погасить и смешливых искорок в своих глазах Гаранин, казалось, со стороны смотретьший на все происходящее. Хорошо прозвучал у него только последний монолог, направленный против поджигателей войны.

В зале зажегся свет. На сцене Евтерев подошел к Любаше и сказал:

— Спешу на совещание. Пойдем, Любаша!

Он на протяжении всей репетиции нервничал за кулисами. Ему не нравилась сценическая близость Любашы и молодого остроумного Гаранина: «К добру это, конечно, не приведет». Еще при распределении ролей, не желая отпускать с глаз жену, Евтерев решился на жертву и вызвался играть Гарри Смита. Но режиссер замахал руками, а участники самодеятельности откровенно расхохотались. Евтереву пришлось удовлетвориться бессловесной ролью грузчика, вывозящего мебель. «Все-таки есть предлог бывать на репетициях», — решил он.

— Рано еще, не хочется, Михаил, — сказала Любаша.

— Странно... Ты одна ведь боишься возвращаться поздно?

К сцене подошла Полина.

— Пусть Любаша побудет на собрании, Михаил Сергеевич. Мы вместе и домой пойдем.

— Только долго не задерживайся, — предупредил Евтерев жену и тяжело спрыгнул со сцены.

Постепенно в зале собрались женщины из других комнат. Они рассаживались в первых рядах, поглядывая на Полину, стоявшую у сцены, и перебрасывались шутками. Здесь все были хорошо знакомы друг с другом.

Полина подняла руку, в зале наступила тишина.

— Я хочу, чтобы мы поговорили сегодня о нашем материнском долге...

Гаранин переглянулся с режиссером. Они были единственными мужчинами, оставшимися в зале.

— Вы помните, как учились в прошлом году в школе наши дети? — продолжала Полина. — Дом старый, в классах теснота. Одно мученье, а не учеба.

— Новая школа строится. Что ж старое вспоминать? — раздался голос из зала.

— Верно, строится школа. Заходили ли вы в нее? Оконных рам нет. Двери без петель стоят. И работает там сейчас всего одна строительная бригада. Того и гляди, до зимы дотянут. — Полина перевела дыхание. — А учителя? Их раньше не хватало. Да и не все на это звание право имели. Учительница русского языка заявление в горсовет писала и грамматических ошибок наделала.

Гаранин рассмеялся.

— Смеяться тут нечего, — порывисто вскочила с места черноглазая женщина в красной вязаной кофточке. — Права Золотова. Куда наш политотдел смотрит? На горсовет надо нажать. На горно!

— Нажать, нажать — это еще не все, товарищ Озерова, — спокойно возразила Полина, — вы забываете, что мы не в Москве, не во Владивостоке и не в Пензе, например, а в Белых Скалах. Работы здесь пропасть, а людей пока мало. Строители буквально разрываются.

— Что же вы предлагаете? — спросила Озерова.

— Помочь! Самим помочь, засучив рукава... Вот что я думаю. — Полина замолчала.

Наступила тишина. Потом женщины заговорили все разом, уже не споря о предложении Полины, будто оно было само собой разумеющимся, будто каждая из них уже давно и сама пришла к такому же выводу и только еще не успела его высказать.

Все это казалось таким естественным, что никто, кроме Гаранина, даже не улыбнулся, когда Озерова заявила, что с самого начала настаивала на организации воскресников и не понимает тех людей, которые думают, что в рай можно въехать на чужом горбу. Ее соседка, рослая полная женщина с большими мускулистыми руками, тотчас же сообщила, что она советовалась о том же с мужем еще на прошлой неделе, а Любаша, не желая отстать от других, сказала, что Евтерев уже давно, она точно не помнит когда, обещал ей обеспечить женщин всеми необходимыми инструментами и материалами. Собрание потеряло всякие черты официальности и приобрело характер семейного совета, такого, какие бывают в важных случаях в крепких и больших, имеющих многочисленные ответвления семьях. И Полина, как признанная глава совета, только умело направляла разговор, не давая ему отклониться в сторону.

Татьяна молча слушала. Впервые за последние годы она почувствовала себя членом большого дружного коллектива, и ей захотелось принять какое-то свое, совсем самостоятельное, независимое от Игоря и полезное для

всех окружающих ее людей решение. Об этом решении она думала все время, пока продолжалось собрание, а когда оно закончилось и Татьяна уже записалась в бригаду Нины Озеровой, она подошла к Полине и, с благодарностью пожимая ей руку, сказала:

— Я ведь кончила когда-то педагогический техникум, только все позабыла. В этом году я обязательно поступлю заочно в учительский институт и скоро, года через два, смогу преподавать в нашей школе.

Полина подумала о том, что два года — это не так уж скоро, но, посмотрев в сияющие радостной решимостью глаза Татьяны, притянула ее к себе и сказала:

— Вот и хорошо! Вот и молодец!

5

Полина Золотова была еще в Доме флота, но Любаша ушла, не попрощавшись с ней. Это получилось как-то само собой. Полина задержалась в кабинете начальника Дома, а Гаранин, занимавший Любашу смешным рассказом о своем приятеле, корабельном фельдшере Плакуше, подвел ее к вешалке, подал пальто, и они вместе вышли.

Улицу заливал лунный свет. Электрических фонарей еще не зажигали, верхние этажи домов казались посеребренными, на тротуарах лежали черные тени деревьев.

Любаша замедлила шаги и в нерешительности остановилась. «Надо бы обождать Полину Васильевну», — подумала она.

— Разрешите, Любовь Сергеевна, я провожу вас, — предложил Гаранин, заметив колебания Любашы и по-своему их истолковывая.

У Любашы после репетиции и собрания побаливала голова, и возвращаться в Дом флота за Полиной не хотелось, стоять же долго у подъезда с молодым лейтенантом тоже казалось неудобным. «Еще кто-нибудь из знакомых Михаила увидит, бог знает, что подумает!» Поэтому она молча кивнула Гаранину и торопливо запагала. «Наверное, у Михаила уже окончилось совещание и он ждет меня».

Гаранин тоже молча шел рядом. Оставшись наедине с нравившейся ему женщиной и почувствовав ее неожиданную отчужденность, он не знал, как себя держать.

К Любаше Гаранина тянуло уже давно. Желание видеть ее, слушать ее голос, говорить с ней, одним словом, постоянно быть вместе с каждым днем все усиливалось. Была ли это любовь, влюбленность или неожиданное и быстро проходящее увлечение — об этом не думалось, как не думалось и о том, что Любаша не девушка, а замужняя женщина. «Мне хорошо с ней! Ну что же я могу поделаться с собой!»

Первое время Любаша просто не придавала никакого значения его ухаживаниям, видя в нем только дружески расположенного к ней, умного и общительного человека, который порой даже более чутко и тонко, чем муж, понимал ее настроение, угадывал желания. Виделись они только на людях, главным образом на репетициях, и ей было приятно его общество.

Но сегодня, оставшись впервые наедине с Гараниным, она ощутила, что привычная естественность и простота в их обращении друг с другом сразу пропали. Это смутило

ее, вызвало неосознанную тревогу и волнение, и она пожалела, что разрешила Гаранину проводить ее до дому. Стремясь поскорее освободиться от этого неясного для нее душевного волнения, она стала думать о доме, но эта мысль ее не успокоила. Она немного сердилась на мужа, и ей не хотелось его видеть. Его ревнивая подозрительность во время репетиции оскорбила Любашу.

Смутно, но все же сильнее всего она желала сейчас, как когда-то в девичьи годы, почувствовать себя свободной, ни от кого не зависящей, чтобы, как тогда, в такую лунную ночь бродить одной или с подругой, мечтать, может быть, даже спеть хорошую песню и вернуться поздно домой усталой, но с умиротворенной и просветленной душой.

Охваченная столь противоречивыми чувствами, Любаша, не обращая внимания на Гаранина, рассеянно смотрела на огромные кедры, темными силуэтами вырисовывавшиеся на небе, на освещенные окна домов, на машины, пронесившиеся по улице. Она думала о Москве, о своих родных и знакомых, от которых она уехала в Белые Скалы, все еще чуждые ей, уехала только потому, что в Белые Скалы уезжал Михаил, ее муж.

Улица свернула к бухте и соединилась с Морским проспектом. Заблестел вдалеке океан — пустынный, неправдоподобно белесый от лунного света. Донесся гул прибоа.

Любаша вздохнула. Она представила себе, что ей долго придется жить в Белых Скалах, может быть, составить и умереть здесь.

Гаранин заботливо спросил:

— Что с вами, Любовь Сергеевна?

— Еще недавно я слушала в Большом театре «Князя Игоря», бродила по Парку культуры и отдыха... И все это — как сон! — невольно вырвалось у Любаша.

— Я тоже москвич, я понимаю вас, — сказал Гаранин, обрадовавшись, что, наконец, наплась тема для разговора. — Полно, Любовь Сергеевна, скучать по столице. Люди здесь те же, что и в Москве, а жизнь не менее интересная...

— Может быть... — неопределенно протянула Любаша.

Ей не хотелось ни с кем делиться своими переживаниями. Ее Москва была не только прекрасным городом, единственной столицей, но и какой-то лучшей частицей ее души, со светлым детством, юностью, первой любовью и радостной верой в будущее.

— Я понимаю, вас не убеждают общие слова, — продолжал Гаранин. — Было и у меня такое время, когда я вспоминал каждый день о своих школьных друзьях, о московских парках, театрах, площадях, и мне казалось, что это было лучшее время в моей жизни и что где-то далеко остались люди, лучше которых нет на свете.

«Он угадывает мои мысли. Но это не совсем то, что чувствую я...» — подумала Любаша. И хотя все, что говорил Гаранин, было, по ее мнению, «не совсем то», она уже с интересом слушала, сравнивая его слова со своими мыслями.

— Но это было только до тех пор, — говорил меж тем Гаранин, — пока я не стал жить новыми интересами. Теперь у меня есть друзья не хуже старых, труд, которым

я увлечен. И эту улицу я люблю не меньше, чем любил свой Арбат, а океан стал для меня таким же родным, как Москва-река. Вот скажите, правда же интересно жить бок о бок с таким матерым «морским волком», как наш боцман? А фельдшер наш, мой друг, забавный, пивный, но чистойшей души человек...

Гаранин рассказывал, все более увлекаясь, о гаванях, в которые заходил корабль, попутно вспоминая отважных русских исследователей этого далекого, богатого и своеобразного края.

Любашу увлекли пыльные слова собеседника. Она оставалась, задумчиво глядя на океан, светлой полосой сверкающий вдали, на освещенный остов строящегося многоэтажного здания. Фантазируя, она мысленно дополнила слова Гаранина всем тем, что ей пришлось читать или видеть, представила себя сходящей с корабля в незнакомой глухой бухте, шла вместе с исследователями через тайгу. Но так как она нигде не бывала, кроме Белых Скал, а все вычитанное из книг представляла расплывчато, то теперь она как бы заново увидела Белые Скалы, как бы заново для себя открывала их. И неожиданно далекая гавань стала ей роднее, ближе. Обрадованная, она сказала об этом Гаранину.

— Для того чтобы полюбить или что-либо правильно оценить, нужно немного отойти и посмотреть со стороны, — сказал он.

Разговаривая, они сели на скамью у палисадника одного из домов. Свет фонаря скупо лился сверху...

— Мы, моряки, например, когда ходим на берег, острее, чем кто-либо, видим и чувствуем красоту земли, ее силу, ее обаяние.

— Что же, это, пожалуй, правда. Ведь и океан на земле лежит... Кажется, я начинаю философствовать...

— Мы и крепче всех можем любить... — осторожно вставил Гаранин, прикоснувшись к ее руке.

Взволнованно прозвучавший голос Гаранина вернул размечтавшуюся Любашу к действительности. «Полина Васильевна уже, наверное, возвратилась. Что подумает обо мне Михаил?»

— Поздно, — мягко прервала она Гаранина.

— Да, поздно, — разочарованно согласился он, — но погодите минуточку. — Он достал из папки, с которой никогда не расставался, лист бумаги. — Это я нарисовал по памяти. На корабле я часто вспоминаю вас.

Любаша, взглянув на рисунок, узнала себя. Она была изображена на фоне строящегося здания, в спецовке, с заватанными выше локтя рукавами, голова погызана козынкой.

— Я такой никогда не была, — сказала она.

— Ничего, это моя фантазия. Я напишу картину, она будет называться «Девушка из столицы». Вам нравится?

— Да, — сказала она, немного поколебавшись, — но только теперь пойдете, пора!

Евтерев встретил их у калитки. Он был явно растерян и взволнован.

— Что ж ты, Любаша?.. — В голосе его прозвучали боль и упрек. Гаранина он будто не замечал.

— До свиданья, Сергей Никитич. — Любаша вошла во двор. — «Ну, сейчас начнется», — подумала она. Неприятное чувство раздражения против мужа снова поднялось у нее в душе. Но Евтерев шел за ней молча. На пороге дома Любаша обернулась. Она увидела в глазах мужа такую тоску и тревогу, что ей стало не по себе. В следующее мгновение ей было уже стыдно за себя и обидно за него, большого, размашистого, сильного человека, выглядевшего сейчас покорным и жалким.

— Не надо, Михаил, честное слово, не надо. Все хорошо, — сказала Любаша, проводя ладонями по лицу мужа.

6

Поле стадиона в прямоугольнике белых меловых линий зеленело на солнце так, будто это была не земля, мокрая низко подстриженной травой, а взятая в строгие рамки частица заштилевшего изумрудного океана.

А океан шумел где-то неподалеку, но его не было видно. Поле лежало на дне естественного котлована, вокруг которого подымались отлогие склоны сопки.

Трибун на стадионе еще не было (только балкон-ложа над раздевалкой для почетных гостей), и зрители сидели на траве, подстелив под себя плащи, пальто или просто газеты.

Впрочем, сейчас они уже не сидели. Состязание между командой судоверфи и сборной соединения закончилось победой моряков. Люди медленно выходили на шоссе по дороге.

Машины, отчаянно гудя, протискивались через толпы болельщиков. А те, как всякие болельщики на всех стадионах страны, продолжали разгоряченно спорить о том, как сложилась бы игра, если бы не «промазал» с пяти метров центр нападения судоверфи или если бы вратарь моряков не взял «мертвый» мяч, направленный в нижний угол. Они спорили так упорно, будто игра еще не кончилась и счет мог измениться.

Проехал на своем «зисе» Серов. Прошли Евтерев об руку с Любашей, боцман Головенченко, Россинский и Гаранин. На попутном грузовике устроились Петров и Донцов с магнитофоном. Петров провел всю игру на крыше раздевалки в роли радиокомментатора, он записал весь ход состязания на пленку. Это была его идея, которой радист страшно гордился. Теперь он уже ждал часа вечерней передачи с меньшим, а может быть, и с большим нетерпением, чем те корабельные болельщики, которые не могли сегодня покинуть «Державный».

Стадион давно опустел. Солнце скрылось за сопками, когда из раздевалки вышли Ташыбаев и Зеленцов. Оба они были игроками сборной соединения и задержались на разборе игры, который проводил тренер.

Все перипетии состязания были уже обсуждены, говорить о них больше уже не хотелось. Но Зеленцов и Ташыбаев еще переживали все, что произошло за девяносто напряженных минут футбольной встречи, и, вероятно, поэтому оба молчали.

До гавани было добрых пять километров по дороге, поразившей своеобразной, дикой красотой.

У самого моря, рядом с петляющим шоссе, громоздятся друг на друга, стеной подымались скалы; кое-где они рас-

ступались, и тогда открывались сырые и мрачные теснины, со стен которых обрывались десятками маленьких водопадов горные ручьи. Карликовые деревца с полуобнаженными корнями и изогнутыми ветвями, казалось, ползли вверх по едва заметным каменным ступеням и повисали над дорогой, шумя редкой листвой. Багровое солнце, наполовину опустившееся в воду, озаряло всю эту картину красноватым заревом.

— Хорошо! Как в сказке, — восхищенно вырвалось у Ташыбаева. Он остановился у обломка скалы, похожего на окаменевший череп какого-то огромного животного.

— Да, как в кино, — довольно равнодушно сказал Зеленцов.

Ташыбаев удивился безразличному тону Зеленцова.

— Тебе что, не нравится?

— Да нет, нравится. Только, понимаешь... Ну, как тебе это сказать? Вроде чужое.

— Почему чужое? Наша ведь земля.

— Наша, да не моя, — откликнулся Зеленцов.

— Ну, это уж ты глупости говоришь!

Зеленцов подумал немного и согласился.

— Верно, глупости. Только и я ведь не то думал. — Он потер лоб и раздосадованно махнул рукой. — Вот чувствую, а объяснить не умею.

Ташыбаев продолжал смотреть на него вопросительно и настойчиво.

— Ладно, еще попробую, ты послушай, — сказал Зеленцов, по-волжски окая, — вот и Камчатка наша, и Биргизия наша, и Кавказ тоже. И за них я, значит, стоять буду, как присягу давал, до последнего дыхания. А только не был я на Камчатке и на Кавказе не был, а если и буду — так временно, ну, как здесь, на срок только... Понял? — Лицо Зеленцова даже покраснело от напряжения. — Вот и выходит, хоть наше, да не мое, — закончил он со вздохом.

— А корабль тоже временно?

— И корабль временно! — обрадовался Зеленцов тому, что Ташыбаев его понял. — Вот служим мы, а каждый о своем думает. Ты в техникуме заочно учишься. Молодец! Я вот агрономии почитываю, английский зубрю — тоже дело. А срок отслужу — на Волгу поеду. Брат у меня в Саратове — инженер. Мать — в колхозе. Институт там кончу сельскохозяйственный. К ней поеду. Вот это, значит; мое и постоянно.

Ташыбаев понимал и не понимал то, о чем толковал Зеленцов. Конечно, и ему были по-особенному дороги места, где он провел детство, где жили его родители, но разве это мешало ему любить Белые Скалы, где он служил, где нашел верных друзей, или разве от этого менее дорог будет ему Ленинград, где он думал когда-нибудь учиться?

— Нет, нельзя, Зеленцов, делить «мое» и «наше», «временно» и «постоянно», — сказал Ташыбаев убежденно.

— Вообще нельзя, конечно, а как я это понимаю, можно. И ничего плохого тут нет.

Зеленцову не хотелось больше спорить. Он высказался, Ташыбаев его понял, а дальше — пусть каждый думает, как хочет.

Зеленцов поднял камешек с дороги, сильно размахнулся и швырнул его через скалу в море.

— Ну, и все. Пойдем, Шермат! Давай лучше подумаем, как будем играть с командой лесосовхоза в следующее воскресенье. Есть у меня одна идея с переменой мест.

Они медленно зашагали. Ташыбаев, однако, не слушал футбольных планов Зеленцова. Ранее начатый разговор все еще волновал его. Он почувствовал, что нашел какой-то ключ к объяснению многих поступков товарища.

— Нет, нельзя так! — повторил он вдруг громко.

— Чего нельзя? — не понял Зеленцов. — Полусреднему пройти по краю нельзя?

— Я не о том, Степан...

— А?.. Я ж сказал. Все. Хватит. — Зеленцов пожал плечами и добавил: — Ну, почему нельзя?

— А потому, что раз считаешь ты дело временным, так и выполнять его будешь, как говорят, чтоб номер отбить, без души.

— Ну, это ты брось! — Зеленцов уже начинал сердиться. — Никто не скажет, что старшина Зеленцов плохо служит, что приказ он не выполнил или в пререкания вступал, что есть у него хоть одно взыскание.

— А кто скажет, что комсомолец Зеленцов отличился, что пример другим показывает? — перебил Ташыбаев.

— Ты это зачем? — Зеленцов остановился, втянул голову в плечи.

— Помочь хочу!

— А я тебя ни о чем не прошу... Отстань, Шермат...

— Пойми, я сам напрашиваюсь, Степан.

— Ты что, покрасоваться передо мной захотел? — вырвалось глухо у Зеленцова. — Я, дескать, отличник, и Зеленцова еще воспитываю...

Не договорив, он быстро пошел вперед.

«Обиделся», — подумал Ташыбаев, но догонять товарища не стал.

Зеленцов был зол на себя за то, что сам начал этот, по его мнению, ненужный разговор, на Шермата, который так неожиданно обидел его, и вообще было досадно, что хорошо начатый день так плохо кончался. «А все-таки я прав, и Ташыбаев мне не указчик», — подумал Зеленцов, подходя к пирсу и садясь в катер, отправлявшийся на «Державный».

Шермат вернулся на корабль следующим катером. Донцов встретил товарища у трапа.

— Что это вы, спортсмены, поодиночке прибываете? — спросил он. — И у обоих вид мрачный. Не поладили?

— Не поладили, — признался Ташыбаев.

— Из-за футбола?

— Нет, серьезней.

— Что же случилось?

Ташыбаев заколебался.

«Говорить или нет?» Но он был слишком возбужден, чтобы умолчать о ссоре, которую сам переживал так остро и напряженно.

— Вот что, — сказал он, и акцент его усилился, как всегда, когда он волновался, — я считаю, мог бы Зеленцов гораздо лучше служить, только о другом он больше думает.

В послеобеденный час в каюте политпросветработы ничего не было, только Петров, ожидая Донцова, рассматривал что-то в магнитофоне, напоминающем большую пишущую машинку в футляре. На крышке аппарата, на двух небольших дисках, была намотана узкая темнокоричневая лента, торчали никелированные рычажки; рядом, на столе, стоял микрофон.

— О чем ты хотел со мной говорить? — спросил, войдя, Донцов.

— погоди, сядь, посиди тихо. — Петров придвинул Донцову банку.

— Ну, сел. А дальше?

— Теперь послушай.

Донцов прислушался, но не услышал ничего, кроме глухого шума бьющихся о корабль волн.

Донцов, однако, знал склонность радиста к некоторым безобидным чудачествам и потому молча ждал. Глаза у Петрова потеплели, лицо приняло мечтательное выражение.

— Помнишь, Донцов, — сказал задумчиво Петров, — наш последний поход?

Донцов кивнул головой.

— Помнишь, — продолжал радист, — как шли мы к Звездочке? Небо черное-черное, тучи такие тяжелые, что, кажется, еще немного — и на корабль упадут. Штормяга волнами швыряет. Где-то вдалеке Седые буруны, как пес цепной, ворчат. Скалы, ветер... — Петров говорил, то подымая, то опуская правую руку, будто наносил мазки на видимое ему одному полотно. — Ну, вот... «Державный» вперед летит, ни черта нас не берет, ни черта нам не страшно. И Звездочка, понимаешь, все ближе, ближе. Наша Звездочка...

Донцов уже знал, в каких случаях у Петрова бывали такие глаза и такая восторженная речь.

— Музыку, наверное, сочинил? — спросил он.

— «Песню о морском походе», без слов, конечно, пока. Вот записал ее на пленку. Давай вместе послушаем. Хочешь? — и, не сомневаясь в согласии Донцова, Петров включил магнитофон. Беспумно побежала между дисками лента. В репродукторе послышалось глухое потрескивание. Петров болезненно поморщился и шагнул к аппарату, но уже зазвучала мелодия. Сначала тихая и спокойная, она становилась все громче и напряженней. Донцову послышались в ней и свист ветра в снастях «Державного», и гул его машин, и глухие удары волн о корпус корабля, и еще что-то самое важное, самое волнующее, чего секретарь комсомольского бюро не мог бы определить словами. И хотя он не представлял во всей полноте ту картину, которую нарисовал перед ним Петров, его взволновали мысли и чувства корабельного композитора.

— Здорово! — вырвалось у Донцова, когда отгремел сильный заключительный аккорд.

— Правда? — Петров смотрел на товарища с сомнением и надеждой.

— По-моему, здорово, — повторил Донцов. — А Росинский уже слышал?

— Нет, ты первый. Штурман — критик строгий. Он все с классиками сравнивает.

— Это для тебя лучше, что строгий, — убежденно сказал Донцов. — Он ведь и поможет и похвалит, если заслужишь.

— Верно, конечно, — согласился Петров. — Вот еще немного исправлю, — добавил он, подумав, — ноты перепишу и покажу ему.

Донцов отошел к иллюминатору. Воздух над океаном и сам океан, покрытый мелкой пенящейся зыбью, были такими, что казалось, будто смотришь на них сквозь мутное, запыленное стекло. Донцов даже провел рукавом по стеклу иллюминатора и усмехнулся. Пейзаж явно не соответствовал настроению, навеянному музыкой.

Он обернулся. Петров перематывал ленту на магнитофоне.

— А как у тебя с радиогазетой? — спросил Донцов.

— Все в порядке. — Петров ответил неохотно, он предпочел бы продолжать разговор о музыке.

— Расскажи подробней, — попросил Донцов.

— Да все готово, — ответил Петров. — Есть отзыв лейтенанта Гаранина о книге «Повесть о настоящем человеке», уже записан на пленку рассказ главстаршины Головенченко, как он стал боцманом. В общем дела идут, контора пишет, — пошутил Петров. И, видимо, отвечая своим мыслям, положив руку на магнитофон, самодовольно закончил: — Надо шефам написать, что их подарок сослужил нам большую службу. Ведь подумай, теперь никаких случайностей не боимся. На вахте человек или скажем, на берет ушел по делу, а голос его слышишь, будто сам выступает перед микрофоном. Да что говорить. Ход футбольного состязания — и то на пленку записали. Болельщики-то как довольны были. Красота!

Донцов улыбнулся. Петров, как всегда, увлекался каждой мыслью, приходящей ему на ум. И очень не любил, когда его осаживали. Но хоть и не хотелось секретарию комсомольского бюро портить настроение радисту, он решил начать разговор, о котором думал уже несколько дней.

— Нечем нам перед шефами похвалиться. — Донцов забарабанил пальцами по столу.

— То есть как это? — не поняв, удивился Петров. — Радиопередачи конвейером идут? По всем кубрикам репродукторы гремят? Я технику на всю мощность использую!..

— В том-то и дело, что одна техника. Шуму, правда, от нее много, а толку еще мало...

Такая оценка его работы была для Петрова совершенно неожиданной.

— А какого еще рожна надо? — возмущился радист.

Донцов понял: «Не с того я начал. Как бы объяснить ему, чтоб сразу дошло?» — подумал он. Радиогазеты на «Державном» транслировались аккуратно, говорилось в них о многом, а все-таки ни одна из статей ни разу еще не взяла команду за живое.

Беседуя с комсомольцами, наблюдая за товарищами в часы радиопередач, он заметил, что в последнее время матросы относятся к корабельным радиогазетам равнодушно. Почему это было так, Донцов понимал еще не совсем четко. Он не любил решать ничего спешно, не уяснив себе положение вещей до конца. Наконец, после

недавнего разговора с Озеровым, наступила полная ясность.

— Не хвалит наш народ радиогазету. Скучно, говорят, за живое не задевает, — начал Донцов. Но Петров сразу же обидчиво перебил его:

— Не слышал я что-то от матросов таких высказываний. А если какой слишком дотошный критик нашелся, так на всякий чих не наздравствуешься.

— Что не слышал редактор — плохо. Что чрезмерно доволен собой — еще хуже, — сказал Донцов. «Зазнался Петров», — подумал он.

Петров окончательно рассердился и буркнул:

— На «Державном» не филиал Всесоюзного радиокomiteта.

— Вот именно, если хочешь знать, маленький филиал, а комсомолец Петров — в нем первая скрипка. — Донцов с усмешкой посмотрел на обидевшегося радиста и продолжал: — Вот на-днях меня спросил секретарь партбюро: «Какие вопросы радиогазета подняла, последовательно освещала и добилась действенных результатов? В чем помогла новому командиру корабля?» Что бы редактор на моем месте ответил?

Петров пожал плечами и уклончиво сказал:

— Газету выпускать — не медяшку драить. Обидно, когда облыжно о редколлегии отзываются. — Петров быстро перебирал в памяти все статьи, какие появились в радиогазете. На любую из них можно было бы сослаться как на нужную и полезную, и в то же время это не было ответом на вопрос Донцова. От этого вера в собственную правоту сразу пропала.

— Я думаю, — продолжал Донцов, — что редколлегия ответственна, например, за то, что матрос Стебелев опоздал из увольнения, и за то, что, скажем, матрос Мошкин хотя и хороший вестовой, но все еще неважный артиллерист...

— У меня не семь пядей во лбу. Давайте конкретные предложения... — начал было Петров, но в это время в каюту вошел Стебелев. Не глядя на Донцова и Петрова, он стал перебирать лежащие на столе газеты и журналы. Петров сказал тихо Донцову: — Ты ведь сам на нем уже ожегся?

— Раз не удалось, в другой раз выйдет, — уверенно ответил Донцов. — Значит, поскольку у тебя не семь пядей во лбу, мы на комсомольском бюро о радиогазете потолкуем. Покритикуем комсомольца Петрова и поможем ему. — Донцов заметил, что лицо радиста снова повеселело. «С этим легко договориться. А вот со Стебелевым?»

Донцов вынул из кармана листок почтовой бумаги:

— Вот что, редактор, посмотри-ка мою заметку для сегодняшнего номера.

Стебелев исподлобья взглянул на Донцова. «Неужели обо мне?» — подумал он, вспомнив давешний разговор. Однако ни по сосредоточенному лицу Петрова, ни по спокойному лицу секретаря комсомольского бюро ничего нельзя было разгадать. «Может, Донцов уже передумал?» — Успокоившись на этой мысли, Стебелев погрузился в чтение журнала.

...Вечером, когда Стебелев чистил на камбузе картошку, за переборкой включили репродуктор; передава-

лась запись пятой симфонии Чайковского. Музыка, как всегда, успокаивала Стебелева. «Буду лучше я к людям жаться», — решил он, все еще думая о разговоре с Донцовым. В это время в репродукторе прозвучал голос Петрова, объявлявшего об очередном выпуске радиогазеты, и вслед за тем секретарь комсомольского бюро начал читать свою статью. Стебелев застыл в напряженном ожидании.

«Скажет он обо мне или только грозился?» — пронеслась у него тревожная мысль. И вот Стебелев услышал свою фамилию, несколько раз повторенную Донцовым. Он вскочил и хотел выключить репродуктор. Но находившийся на камбузе вестовой Мошкин остановил его:

— Что, против шерсти погладили? Не любить?

Стебелев, понуря голову, вновь принялся чистить картошку.

8

Золотов уже вторую неделю работал в штабе. Незаметно для самого себя он привык к новой каюте, обжил ее. Снова перекочевала на корабль из дому украшенная морскими раковинами рамка с фотографиями жены и детей и водворилась, как и раньше на «Державном», в центре письменного стола. Заполнилась различными справочниками книжная полка. Кортик нашел свое место над койкой, рядом с умывальником, за занавеской повисло домашнее с вышитыми инициалами Полины полотенце. Запах крепкого трубочного табака пропитал собой занавески и подушки, бумаги на столе и, кажется, даже сами переборки, выкрашенные в матовый нежнозеленый цвет.

Винтик прочно вошел в новое гнездо.

Золотов почти не бывал на берегу. Изучение маневренных и мореходных качеств кораблей соединения по их тактическим формулярам оказалось отнюдь не статистической работой, как он думал вначале. Пришлось всерьез засесть за забытые учебники по теории корабля, аналитической геометрии, интегралам. Он делал выписки из трудов Крылова, вдумывался в формулу Чебышева, решал задачи на маневрирование, побывал на многих кораблях и беседовал со специалистами разных областей техники и разных званий.

Все это время Золотов работал, не давая себе отдыха.

В душе его поселилась тревога: «Мало, очень мало сделано», — неустанно твердил Терентий Иванович про себя. Он хотел доказать и себе и другим, что не является ни безразличным, ни ленивым, ни неспособным человеком, и решил подготовить материалы не менее добросовестно и основательно и в не менее сжатый срок, чем это сделал бы другой, самый опытный штабист.

Золотов был благодарен командованию за то, что ему не давали других поручений, не отрывали от дела и не дергали по пустякам. Он любил работать сосредоточенно и не умел быстро переключаться с одного предмета на другой.

Впрочем, нужно было научиться и этому. Едва он закончил доклад и сдал его начальнику штаба, как пришла его очередь нести оперативное дежурство.

В просторной каюте дежурного переборки были сплошь увешаны картами морского театра. Флажками на них были указаны корабли. Другие, свернутые в трубки карты, лоции, метеосводки, инструкции лежали на столе. Здесь в любую минуту можно было узнать, какие эсминцы стоят в бухте Звездочка, какая ожидается погода в районе пролива Седые буруны, как проходят стрельбы у катерных тральщиков и многое, многое другое. Бесперывно звонят телефоны, сигнальщики сообщают о принятых и переданных семафорах, радисты приносят тетради с радиограммами... Офицер, заступивший на оперативное дежурство, становится на сутки центром нервной системы большого, живущего напряженной и деятельной жизнью организма.

Первое дежурство в штабе было для Золотова проверкой его распорядительности и находчивости, знания им флота. Это он хорошо понимал.

Бывают оперативные дежурные, которые быстро и умело решают большие и малые дела. Отвечают на вопросы, не консультируясь, не заглядывая в справочники, не смотря на морские карты. Кажется, нет такой вещи, которую бы они не помнили, такого случая, который поразил или смутил бы необычностью и новизной, такого наплыва срочных дел, который заставил бы задержать решение хотя бы одного из них. Таким дежурным Золотов еще не мог быть. Случалось ему видеть и таких офицеров, обычно самонадеянных новичков, у которых деловитая быстрота перерастала в суетливую поспешность. Они иногда путали важное с второстепенным, срочное — с тем, что могло подождать без вреда для дела, сами нервничали и нервировали подчиненных.

Этого Золотов боялся больше всего и твердо решил нести дежурство в соответствии со своим характером.

«Спешить медленно, спешить медленно», — повторял он про себя в самые напряженные минуты.

Каждый из обращавшихся к оперативному дежурному естественно считал, что его дело самое неотложное. И посылавший с рейда семафор Светов, которому надо было пополнить запас пресной воды, и инспектор из финансовой части соединения, отправлявшийся с ревизией на «Звонкий», настойчиво и резко требовавший, чтобы ему дали рейдовый катер. Золотов, однако, заставил их ждать. Он сначала отправил на пост, обнаруживший прибывшую к берегу в районе рыбацкого поселка мину, группу специалистов-минеров. Затем, установив, что один из тральщиков, получивший «добро» на выход, лишнее время простаивает под парами у стенки, потребовал от его командира объяснения и доложил об этом начальнику штаба.

Сделав записи в журнале, Золотов приказал вызвать Евтерева, который, как он знал, должен был находиться на флагманском корабле; взглянув на расписание, он позвонил в финансовую часть, находящуюся на берегу и сказал, что специально катер посылаться не будет, но что инспектор может через несколько минут пойти на «Звонкий» на шлюпку, которая стоит у причала.

Между тем поступили новые приказания командующего, запросы из Звездочки, а тут еще какая-то женщина в четвертый раз звонила из комендантского управления по городскому телефону, прося срочно разыскать ее зна-

когого лейтенанта, служившего, как она говорила, «точно и определенно на каких-то кораблях». И опять раз и другой запрашивал о своем Светов.

Золотову все трудней было оставаться спокойным и неторопливым. Некогда было даже покурить. Трубка все время гасла, и это тоже невольно раздражало его.

Евтерев вошел не спеша.

— Как живет-может сосед? — Он приветственно взмахнул рукой.

Золотов ответил кивком и сразу приступил к делу.

— Что случилось, товарищ подполковник, почему «Водолей» еще не подходил к «Дерзновенному»?

— Да что вы так официально, Терентий Иванович? — удивился и немного обиделся Евтерев.

— Официально? — Золотова вдруг прорвало. — А как же вы хотели: «Соседушка дорогой»? Сосед я дома, и Терентий Иванович тоже дома. И что это за характер у вас? Соседу так бочку краски, хоть не положена. (Золотов почему-то вспомнил о разговоре в ванной.) А дело? Так может и подождать?..

Евтерев оторопел. Он никогда не слышал, чтобы Золотов разговаривал в таком тоне.

— Зачем же так? Не понимаю я, что ли? Ну, задержался «Водолей» маленько. Так над «Дерзновенным» не каплет. Эх, нехорошо! — Евтерев даже покачал головой.

У порога стоял радист. Телефоны звонили непрерывно. Золотов снял трубку и, снова беря себя в руки, отчеканил:

— Здесь не рассуждать, а выполнять приказание надо!

На этот раз подтянулся и Евтерев.

— Есть! — ответил он и вышел.

Наконец наступило короткое затишье. Золотов, оставив за себя помощника, вышел к начальнику штаба. У трапа он столкнулся лицом к лицу с Серовым.

— Ну, как, тяжеловато с не привычки? — спросил, остановившись, контр-адмирал.

— Ничего. Вхожу понемногу во вкус, — ответил Золотов.

— Начальник штаба говорит, что вы молодцом. Не даете себя дергать! — Серов улыбнулся Золотову, потом, вдруг помрачнев, сказал: — Знаете, Терентий Иванович, ведь сегодняшняя мина, кажется, того же происхождения, что и давешний самолет. Придется снова проверить, как следует, все выходы из гавани.

9

После дежурства Золотов впервые разрешил себе всласть отдохнуть. Выспавшись, он побрился, надел хорошо вытюженную новую тужурку и, получив разрешение, с утра собрался домой. Он успел уже порядком соскучиться по детям и невольно подсадовал, когда вошел рассыльный и сказал, что командующий требует его к себе.

— Я задержу вас ненадолго, — сказал Серов. — Хочу, чтобы вы подумали над одним ответственным заданием.

Золотов приготовился слушать.

— Хотелось бы ознакомиться с теоретической подготовкой наших офицеров. Но, знаете, не в учебном порядке, а в свободном обсуждении. Короче говоря, намечена теоретическая конференция об основных принципах воинского воспитания, и доклад на ней будете делать вы.

— Я? — удивился Золотов. — Но ведь я совсем не подготовлен.

— Не боги горшки обжигают. Впереди еще два месяца, Терентий Иванович. Справитесь.

Золотов хотел было возражать, но контр-адмирал заговорил так, точно вопрос был решен давно и бесповоротно:

— Ставлю перед вами три основных требования: первое — дать глубокое идейно-теоретическое обоснование всех основных положений воспитательной работы в вооруженных силах, второе — обобщить практический опыт больших и малых командиров и третье... — Серов подошел к висевшей на переборке большой карте мира. — Есть у вас такая карта?

— Нет!

— Так приобретите сегодня же. — Командующий взял указку. — Видите эти синие кружки? — Он провел в воздухе линию, полукольцом охватившую границу Советского Союза. — Исландия, Норвегия, Швеция, Англия, Испания и дальше, все ближе к Белым Скалам, — Япония, Тайвань, Корея... Видите иностранные военные базы? Вот откуда летят самолеты, отрывающиеся огнем, и слышат мины, на которых взрываются наши корабли. Будете готовить доклад — ни на минуту не забывайте об этом, — закончил командующий.

— Трудный доклад, — сказал Золотов.

— Легко ничего не дается, — сказал Серов. — Ну, а теперь идите домой, отдохните, подумайте, а завтра загляните в библиотеку, там кое-что для вас приготовлено.

«Снова испытание, да еще какое! Справлюсь ли?» — подумал, выйдя от командующего, Золотов. Он представил себя на трибуне и увидел в первом ряду скачущее лицо Светова, всем своим видом показывающего, что ему надоело слушать прописные истины; Высокотина, с укором поглядывающего на своего предшественника, который взялся за непосильную для него задачу. «Посмотрим, посмотрим, — подумал Золотов. — Но, собственно, что смотреть, когда в голове ни единой своей мысли? Пойду к Серову и категорически откажусь. В конце концов адмирал должен был бы сам взяться за этот ответственный доклад — нельзя же перекладывать такие дела на плечи подчиненных!

Золотов остановил себя: «Нет, так не годится! Просто трушу. Это приказ, а приказ должен быть выполнен».

Теперь мысль о предстоящей теоретической конференции уже не покидала его. По дороге к дому он не выдержал и зашел в библиотеку. Хотелось установить хотя бы приблизительно объем подготовительной работы, которую предстояло ему проделать.

Библиотекарь провел Золотова за собой в комнаты, где хранились книги.

В Белых Скалах библиотека была еще небольшая. Книжки — все новые или заново переплетенные. Ряд пустых

полок. Запах свежей краски напоминал скорее всего о недавно открытом книжном магазине. Здесь не было обычной библиотечной тесноты. У окон, между шкафами, стояли письменные столы. На одном из них — ящик с карточками — тут, вероятно, работал начальник библиотеки; на другом лежали стопки книг.

— Эта литература для вас отложена, — сказал библиотечарь.

В первой стопке книг были произведения классиков марксизма-ленинизма, во второй — журналы, на третьей — короткая записка: «Для уничтожающей критики», — Блаузевиц, Мехэн, Коломб, два журнала на английском языке.

Библиотечарь ушел. Золотов еще раз окинул взглядом книги. «Успею ли все прочитать? Тут, кажется, на год хватает», — снова с тревогой подумал он. Сел за стол и тогда только обнаружил, что под стеклом лежит лист бумаги, а на нем мелким четким почерком написано: «Для Золотова». И дальше столбиком названия книг, тома, заголовки статей в журналах.

«Сколько же адмиралу понадобилось затратить своего времени, чтобы я мог подготовиться!» — подумал он с благодарностью.

Золотов стал перелистывать книги и журналы. Он и не заметил, как к его креслу подошел Высотин.

— Здравствуйте, Терентий Иванович. Не помешаю?

— Нет, отчего же? — Золотов приподнялся, пожал Высотину руку.

Они посмотрели друг на друга, не зная, с чего начать разговор, оба избегая обычных в таких случаях вопросов: «Как дела?», «Как жизнь?», на которые последовали бы такие же обычные ответы: «Ничего», «Тяну по-маленьку», «Трудимся».

— Я посижу немного с вами, — сказал Высотин. Он окинул взглядом книжные корешки. — Подобрали материал по воинскому воспитанию?

— Готовлюсь к докладу. Но как вы сразу определили? — удивился Золотов.

— Интересовался недавно этими статьями. Есть над чем поразмыслить, правда?

— Да... — Золотов замаялся. Ему не хотелось признаться, что сам он еще над этим не думал.

— Мне удалось перед отъездом в Белые Скалы познакомиться с интереснейшими архивными материалами, — продолжал Высотин, — о морях Балтийского флота в годы войны. Чрезвычайно поучительно и наглядно, как действия каждого, даже маленького корабля определялись общим оперативным планом, как подготовленность каждого матроса и офицера влияла на успех боя. Если хотите, Терентий Иванович, я познакомлю вас со своими записями.

— Буду весьма признателен, хотя меня больше интересует океанский флот. — Золотов ответил сухо — он никак не мог подавить в себе чувства досады. Оно уже не раз за последнее время возникало в тех случаях, когда в чем-нибудь проявлялось превосходство его ученика над ним.

Высотин, почувствовав отчужденность в тоне Золотова, поднялся. Однако тот остановил его.

— Как же все-таки на «Державном», Андрей?

Золотов, наконец, спросил о том, что его больше всего интересовало. Высотин давно ждал этого вопроса.

— Трудно пока, Терентий Иванович. Нет еще того, чтобы каждый матрос во всем меня понимал. Коллектива не чувствую.

— Ясно! — Золотов подумал и, нахмурившись, признался: — Собственно ведь и я не чувствовал.

Высотин промолчал, не желая говорить о старых грехах своего учителя.

Золотов, выждав немного, спросил:

— А все-таки есть первые успехи?

— Об успехах говорить рано, — ответил Высотин.

В окно библиотеки ударил солнечный луч. Золотов невольно закрыл глаза. Ему хотелось возвратиться к начатому в день сдачи «Державного» спору. На языке вертелось слова: «Критиковать легко, а вот самому делать...» но он пересилил себя и сказал совсем другое:

— Сразу ничего не дается! — Золотов даже не заметил, что повторил слова Серова.

— Вам тоже хочется изменить что-нибудь в штабе, Терентий Иванович? — с интересом спросил Высотин.

— Нет, зачем же, штабист я еще начинающий, но мне, Андрей, хочется самому измениться.

Высотин посмотрел на усталое лицо Золотова, и эта фраза, которая у него сейчас вырвалась, и то, что он сидел в библиотеке, обложившись книгами, — все это обрадовало Андрея.

— Когда двум офицерам трудно, — сказал он осторожно, — они, наверно, могут помочь друг другу.

Золотов поднял голову.

— Не всегда могут, хотя и должны стремиться, — сказал он и, спеша отвлечься от тяжелого для него разговора, спросил: — А вы почему же не приходите ко мне, Андрей Константинович? Встает, и Полина давно вас ждет.

«Андрей Константинович? Почему не просто Андрей? — подумал Высотин. — Что это — признак уважения или желание подчеркнуть, что прежняя близость исчезла?»

— Непременно, как только будет у меня свободное время, — ответил Высотин.

— Что ж, будем ждать. — Золотов вдруг почувствовал, что ему хочется и к новой встрече со своим бывшим учеником подготовиться почти как к экзамену.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Шторм бушевал несколько дней. Свирепый норд-ост, разгулявшись над океаном, перевалил через скалистые мысы в гавань и, вой, как в печной трубе, обрушился на корабли, будто хотел сорвать их с якорей. В эти дни морякам было много работы, и Высотин ни на час не отлучался с «Державного». Но как бы ни был Высотин занят служебными делами, он не забывал об Анне.

«Ведь скоро день ее рождения». Высотин связывал с этим днем какие-то особые надежды. Может быть, именно в этот день он решится сказать Анне самое главное.

Поэтому так досадовал он на затянувшийся шторм и был несказанно рад, когда ветер, наконец, ослаб и проглянуло солнце. Шторм утихал, и вечер знаменательного дня Высотин считал себя вправе провести в городе.

Спустившись на берег, он пошел по огромной территории порта.

На строительной площадке грохотали бетономешалки, экскаватор прокладывал через косогор траншею. Пылали костры, разложенные под железными чанами с плавящимся асфальтом. Свежий, острый запах моря смешивался с горьковатым чадом кипящей смолы.

Высотин обернулся и поглядел на гавань.

С океана наплывала тяжелая зыбь. Радужные пятна мазута блестели на зеленоватой, еще ходуном ходящей воде. Корабли стояли у стенки и на рейде — для всех не хватало причалов.

Высотин окинул взглядом узкий и длинный корпус «Державного».

«Вот ненадолго, кажется, уйду с корабля, а беспокоюсь — будто что-то осталось недоделанным, к чему надо вернуться, чтобы самому проверить, своими глазами посмотреть... — Это чувство тяготило его. — Нет ничего хуже неуверенности в своих людях».

Высотину врезались в память слова контр-адмирала: «Хороший командир никогда не отсутствует на корабле, где бы он ни находился». «Нет, такого положения я еще добиться не сумел!» — подумал он.

Правда, на первый взгляд все обстояло благополучно. Организация и порядок удовлетворили бы самого придирчивого инспектора. В этом была несомненно большая заслуга старшего помощника.

«Но разве я уверен, что во всех сложных случаях он поступит так, как я бы этого хотел? Разве могу удовлетвориться тем, чем удовлетворяется он? Разве всегда знаю, что думает каждый офицер и матрос, исполняя мои приказания?» Высотин долго не сводил с корабля задумчивого взгляда. Потом медленно зашагал вдоль пирса.

Только вчера прошло партийное собрание, на которое он возлагал большие надежды. Здесь должен был установиться тот дружеский и деловой контакт, не зависящий от различия в рангах и служебном положении, без которого немыслимо единство действий на корабле.

Высотин тщательно готовился к докладу. «Расшевелить бы мне людей, двинуть их вперед, — думал он. — Если бы «Державный» был отстающим, тогда, казалось бы, чего проще — я нашел бы причины отставания и, хотя «тянуть» людей было бы нелегко, сразу же добился бы результата, и каждый сказал бы: «Было плохо, стало лучше». А здесь особая статья!..»

Партийная организация на «Державном» была небольшой. Высотин, прежде чем приступить к докладу, мог окинуть взглядом каждого из присутствующих. «Какие же все-таки разные люди». Прямо перед ним сидел Россинский, подперший голову рукой, поглаживающий пальцами седеющую бородку, — капитан торгового флота — по довоенной профессии, океанограф — по увлечению, талантливый музыкант. «Почему вы отказались демобилизоваться после войны?» — спросил его как-то Высотин. «Полюбил «Державный». А в моем возрасте, знаете, любовь уже до гроба идет, как говорят у нас, до деревянного

бушлата», — ответил Россинский улыбаясь, а глаза его смотрели спокойно и серьезно.

«Этот все знает, все поймет», — подумал Высотин. Рядом с Россинским — Гаранин, у него в уголках губ дрожит смех. Видимо, увидев что-то, кажущееся ему забавным, он локтем толкает в бок Плакушу. «Эти двое еще только вступают в жизнь. Характер что жоск, — как вылепишь, таким и будет».

Позади них с карандашом и блокнотом в руках сидит старшина Салиев — смуглый красивый узбек с блестящими мечтательными глазами. За ним — инженер Махотин. У этого глубоко запавшие строгие глаза смотрят так, будто каждого человека взвешивают, ощупывают, примеряют. Лицо у него морщинистое, худощавое, усы щетинятся. Говорит он редко. Характер — кремень. «В ленинградскую блокадную зиму в партию пришел».

Стул Кипарисова в первом ряду чуть выдвинут вперед. Сидит он, высоко подняв голову, вполоборота к президиуму. «Напоминает: мол, не забывайте и здесь, что я значительное лицо», — подумал Высотин и перевел взгляд на других коммунистов, пока знакомых ему только по фамилиям.

— Докладчик — командир корабля, — сказал Озеров. Высотин поднялся и медленно подошел к столу.

— Наши мирные дни, — начал он, — не обычные мирные дни, товарищи. Когда над городом открывает огонь чужой самолет и в гавани появляется плавающая вражеская мина, благодущие — преступления, а высокая боевая готовность — железный закон. Миллионы людей смотрят на нас и говорят: «Мы хотим мира, будь дителен, советский воин. Будь во всеоружии, мы надеемся на тебя!»

Высотин сделал короткую паузу и сразу перешел к корабельным делам. Он хотел, чтобы за каждой выигранной артиллерийским расчетом секундой видели выигрыш грядущего боя и каждый промах любого матроса воспринимался так, как если бы от него зависели жизни всего экипажа «Державного». Добиться этого — значило добиться того полного взаимопонимания, когда служебный долг и личные желания сливаются воедино и приказ командира становится для матроса наиболее полным и ясным выражением его собственных устремлений. Высотин поставил задачи перед каждой боевой частью и закончил:

— Никто на корабле не может быть спокоен, пока есть хоть один отстающий матрос, не может быть доволен достигнутым уровнем боевого мастерства, если этот уровень не повышастся изо дня в день.

«Удался ли доклад? Кажется, удался», — думал Высотин, внимательно слушая выступления. Коротко и деловито доложил Махотин о мерах, которые он принял, чтобы подготовить котельных машинистов, турбинистов и электриков к предстоящим походам. Гаранин рассказывал о том, как строит свою личную учебу; Россинский предложил провести цикл бесед о штурманском деле для рулевых и сигнальщиков; Озеров развернул широкий план агитационной работы. Все выступления были, это чувствовалось, заранее продуманными и деловыми. Все шло, как говорят, без сучка и задоринки. Так Высотин и сказал потом секретарю партбюро. И все же сам он не был полностью удовлетворен. Это чувство неудовлетворенности мучило его. «Будет ли служба итти после собрания лучше,

чем до него? Конечно, будет. Устранятся ли многие недостатки? Да, устранятся. Чего же мне надо? Чего большего я хочу?» — в десятый, а может быть, и в сотый раз спросил себя Высотин и в десятый, а может быть, и в сотый раз ответил: «Хотел бы, чтобы разные люди по-разному говорили обо всем корабле, говорили бы страстно и взволнованно, отыскивая что-то главное, решающее, а не отчитывались бы каждый о своем». «Отчитывались». Он постарался вдуматься в это внезапно всплывшее слово. «А почему только отчитывались? Может быть, не поняли меня до конца. Нет, поняли, конечно. А все же ведь никто не решился выйти за пределы своего круга обязанностей и никто не сказал ни слова об общем, большом, что стоит перед всем экипажем. Разве я не должен был ждать этого от людей?»

«Не то, не то, — думал Высотин, — видно, не хватало моему докладу чего-то очень существенного. Но ведь я давал несомненно правильные указания. Указания — вот оно что... не советовался я с коммунистами, не спрашивал их мнения, а только излагал свои требования».

Да, это было так. И все, конечно, чувствовали, что даже тон выступления Высотина был таким же непререкаемым, как на служебных совещаниях. А он не мог изменить тона, как не мог ни на минуту забыть, что на корабле он полновластный хозяин. Да, он давал указания, правильные и нужные, но все же только указания, которые должны быть выполнены, но обсуждению не подлежат.

За годы службы Высотин приобрел командирские навыки, научился почти безошибочно определять способности людей, но ему еще не хватало того особого умения, с каким опытные офицеры-воспитатели, преследуя одну и ту же цель, держат себя всегда по-разному и всегда естественно — отдавая приказание и беседуя запросто с матросом, на партсобрании и в час отдыха на полубаке.

— Не то, не то... — по давней привычке Высотин повторял вслух тревожившие его слова, выходя из ворот порта в город.

Широкая асфальтированная магистраль тянулась от моря до дальних сопок. Улица наполовину была еще в строительных лесах, в пустырях, огороженных выбеленными заборами. Рядом, однако, стояли новые здания со сверкающими витринами магазинов, гранитными парадными подъездами, балконами на верхних этажах.

Высотин остановился у витрины ювелирного магазина. «Надо купить Анне подарок», — решил он. В это время он услышал восклицание:

— Андрей! Ва! Вот уж не думал встретить тебя здесь.

Голос был густой, приятный, Высотин узнал бы его среди многих других. И прежде чем повернуться, он увидел в зеркале витрины среди отражений серебряных ваз и хрустальных бокалов веселое курносое лицо.

Это был Евтерев — товарищ, друг, горячая голова, отважный командир штурмового отряда матросов, защищавших Сталинград. Его бойцов Высотин не раз перевозил через Волгу на своем «мониторе» — старом речном бумсире, переделанном в боевой корабль. Они вместе защищали Одессу, пили из одной фляжки, ели из одного котла, вместе горевали, оставляя Севастополь, не стыдясь трудных и скупых мужских слез.

— Ты — воскликнул Высотин, стремительно обернувшись. — Ты! Ну и бес, выжил, значит!

— Ни огонь, ни вода не берут... Такая, друже, плахида! — Евтерев быстро двинулся навстречу. — Вот любуйся, душа!

Он улыбался сияющей, счастливой, по-детски открытой улыбкой.

Друзья обнялись и поцеловались.

— Все такой же, — сказал Евтерев, отступая назад и окидывая друга ревнивым взглядом. — Красавец, одет с иголочки, и ни одной царапины... Жених, совсем жених! А помнишь бой под Балаклавой? Они жарили из минометов... Ты выполз из окопа — одежда на тебе тлела, сам закопченный, как окорок, и бросился к луже. Это было смешно: под кителем ослепительные манжеты, белый целлулоидный воротничок, а ты, словно какое-то четвероногое, лакаешь воду... — Евтерев захохотал.

Высотин отвечал сдержанно. На улице было слишком много людей и не хотелось привлекать их внимание. Войдя вместе с Евтеревым в магазин, он попросил продавщицу вернуть для него тонкое, изящное по простоте отделки кольцо с маленьким трепещущим глазком камня.

Евтерев, поглядев на Высотина, многозначительно хмыкнул.

2

Друзья пришли на бульвар и выбрали скамью в глубине аллеи. Многолетние кедры, оставленные при вырубке тайги, бросали узорчатую тень. Точно зеленые облака, повисли над дорожками их ветви.

Евтерев, расспросив Высотина о том, где он служит, замолчал и стал чертить на земле носком ботинка волнистую линию и тут же нетерпеливо стирать ее. Высотин закурил, поглядывая на друга, стараясь понять, что происходит в его душе.

— Как твоя, Михаил, жизнь сложилась? — спросил он. Евтерев с досадой махнул рукой.

— Видишь ли, контузия вывела меня из строя. Ныне службу в порту: снабжаю корабли посудой, продуктами, ветошью! — он при каждом слове загибал палец. И с обидой в голосе добавил: — Укатали сивку крутые горки!

— Не стоит горевать, — сказал сочувственно Высотин, стараясь ободрить друга. — Ты ведь всегда был мастером на все руки. Когда-то ты, я помню, поругивал интендантов, вот теперь и покажи в этом деле высокий класс. Хозяйственная служба — хлопотливая, на ней лишней жир спустишь, и все придет в норму, — шутиливо закончил он. Но, почувствовав, что шутка не к месту, круто переменял разговор: — Семья твоя здесь?

Евтерев нерешительно сказал:

— Видишь ли, жена у меня молодая...

— Как молодая жена? — удивился Высотин.

— Что ты на меня такими глазами смотришь? Семья моя прежняя, жена и дочь, в блокаде погибли. Снова я женился...

На аллее в песке играли дети. Девочка в пестреньком платьице бежала за мячом. Евтерев кивнул в ее сторону:

— Вот такая была у меня попрыгунья... — Голос его зазвучал глухо, и, словно боясь, что Высотин в чем-то упрекнет его, за что-то осудит, он продолжал:

— В общем моя Любаша — замечательная женщина! Одна теперь моя радость и моя заботушка.

— Вот как... — неопределенно сказал Высотин. Он все более чувствовал, что не только в жизни Евтерева, но и в его характере, настроении произошли большие перемены.

— А жена, Михаил, что делает? — спросил Высотин.

— Специальности у нее никакой нет. Два года назад школу окончила. Делопроизводителем или секретаршей поступать — я против... Ты пойми меня, годами я много старше, а привязался. Детей у нас нет... — Евтерев, сутулясь, покачивался из стороны в сторону. — Не с кем поделиться. Все на душе, как под замком. — Лицо его потускнело.

— Это плохо, — заметил осторожно Высотин.

— Ничего не могу с собой поделать... — Евтерев искоса взглянул на Высотина. — Новую семью строить, брат, не легко. Так что строго не осуждай...

Он говорил так искренно, что Высотин встревожился за друга. «Эх, Евтерев, Евтерев! — подумал он. — Что же с тобой стало?» Он мысленно представил себе жену товарища. Почему-то возник образ этакой фифочки с кудряшками на затылке и ярко накрашенными губами. «Не работает, не учится, детей не имеет...»

Он больше не расспрашивал Михаила. «Видно, ему не легко даже со мною откровенничать», — думал Высотин.

— Где живешь-то? — спросил Евтерев, желая переменить тему разговора.

— На жорабле.

— Вот как!.. — протянул Евтерев и, усмехнувшись, добавил: — Стало быть, прославленным флотоводцам подражаешь? Хвалю! Только отчего ты поджарый такой?

Высотин почувствовал в голосе Евтерева излишнюю развязность, которой он не терпел, и ответил коротко:

— Забот много...

— Какие у тебя заботы? — Евтерев оживился. — Багаж фронтовой за плечами — он не тянет. Ты, Андрей, до адмиральных звезд вольготно дослужился. Спокойная жизнь впереди.

— Спокойная, говоришь? — Высотин усмехнулся. — Вот и океан бывает спокоен — тишь да гладь. А какие там течения подводные, какие мели и рифы на глубине! Сколько встретится штормов на пути? Нет, Михаил, нам не легкое плаванье предназначено.

— Мудртвувешь лукаво, — сказал Евтерев. — Ты живи просто...

— Так жизнь ведь не проста, — возразил Высотин. — Воевать, по-моему, каждый день надо...

— Это с кем же?..

— С трудностями, Михаил, а их в каждом деле — хоть отбавляй...

Евтерев скептически покачал головой. Он вытянул ноги, руки его глубоко ушли в карманы.

— Не обижайся, Андрей, но, право, ты похож на Дон-Кихота. Видно, забываешь, что ты — командир. Отдал приказ — и пусть его выполняют. Так одну за другой все трудности и преодолеешь.

— Неправ ты, Михаил, — сдерживая раздражение, сказал Высотин. — Читал я недавно в газете об одном

колхозе — председатель в нем слепой фронтовик. Ему жена бумаги пишет, читает. С природой он воюет. И тебе есть чем и за что воевать! Кастрюльками своими воюй, пастей, крупой — всем, что в твоих руках! Не перевелись здесь еще интенданты, которые на сухих овощах матросов держат. «Тайга, говорят, где овощам взяться!» С ними воюй, Михаил... — Высотин встал, собираясь проститься.

Евтерев хотел что-то возразить, но неожиданно примирительно взял Высотина за руку:

— Да, да! Ты прав, старина. Я еще не выпрягся из флотской тележки. Повоюю! — Весь подавшись вперед, он не спускал глаз с приближающейся женщины: — Моя Любаша! Я с тобой заговорился, а она, вишь, разыскала!

3

Жена Евтерева со свертком в руках быстро шла по аллею.

— Ну, одобряешь? — не отпуская руки друга, тихо спросил Евтерев.

Высотин не знал, что сказать. «Но ведь она в дочери Михаилу годится!»

На Любаше была короткая, до колен, синяя юбка с широким поясом, белая кофточка и широкополая шляпа с цветной лентой. Высотин увидел миловидное, округлое лицо с немного вздернутым носом, большие, наивные, весело поблескивающие глаза. В ее одежде, движениях, улыбке была та милая простота, которая невольно располагает с первого взгляда. «Вот тебе и фифочка», — подумал Высотин и невольно улыбнулся.

Евтерев пробасил над ухом:

— Любаша! Мой фронтовой друг — Андрей Константинович. — Он толкнул Высотина под локоть. — Знакомься! Любовь Сергеевна! Прошу любить и жаловать...

Любаша, протянув руку Высотину, сказала:

— Михаил часто вспоминал о вас. Так вот вы какой! — Она открыто посмотрела ему в глаза. — Ну, как вам нравятся Белье Скалы?

— Мне здесь хорошо, — сказал Высотин, понимая, что Любаша задала этот вопрос только для того, чтобы облегчить начало разговора при первом знакомстве. Он продолжал: — Ведь нами, военными, столько исхожено всяческих дорог: по какой ни пойдём — всюду будет хорошо.

— Да, — неожиданно грустно согласилась Любаша. — Вот и у вас и у Михаила большая жизнь со множеством дорог. А у меня пока что одна — на базар да на кухню. Но и в этом есть своя прелесть, правда? — будто желая убедить себя, обратилась она к мужу.

— Нам с Любашей вдвоем не скучно, — поспешно ответил Евтерев. — Я вот толковые слова слышал: «Ешь меньше, чем ты можешь, одевайся, как можешь, люби жену больше, чем можешь!» — Евтерев назидательно помахал толстым пальцем, похожим на сардельку. — Это же программа для семьянина!

— Ему трудно возражать. Он так беспокоится обо мне... — Любаша словно извинялась за мужа,

Малыш со сломанным обручем в руке подошел к Любаше и требовательно дернул за платье.

— Что, маленький? — Она взяла ребенка на руки и, развернув сверток, сказала: — Возьми сладенького, ты, наверное, любишь?

Малыш, поколебавшись, взял конфету, засунул ее за щеку и зачмокал губами.

— Надо его отнести, а то еще бог весть куда забредет. — Любаша поглядела на шумную улицу, на детей, играющих возле кучи песка. — Вы не уйдете, — обратилась она к Высотину, — пока я этого хлопца нянюшке передам? Вот она под деревом дремлет. Или торопитесь куда?

— Да, я тороплюсь, — чистосердечно признался Высотин.

— Ну, тогда до свиданья! Заходите к нам... — Любаша протянула Высотину руку и пошла, прижимая к себе ребенка.

— Ей бы парочку сыночек родить... Хочу семью иметь, ребят вот таких... — сказал неожиданно Евтерев и вдруг, как человек, неосторожно прикоснувшийся к больному месту, поморщился и заговорил о другом: — Колючко, Андрей, кому предназначено?

Высотин, застигнутый врасплох неожиданным вопросом, неопределенно сказал:

— Знакомая одна... день рождения.

— А-а... — понимающе протянул Евтерев и, хитро подмигнув, закончил: — Значит, ты к ней торопишься? Ну, ну, шествуй!

4

Высотин подошел к дому, где жила Анна, поднялся на второй этаж и постучал в дверь. В коридор вышла соседка и, подавая ключ, сказала:

— Анна Ивановна, если придете, просила обождать. У них на заводе срочное дело.

Высотин вошел в небольшую комнату, ярко освещенную солнцем. Врываясь через открытую форточку, ветер тихо шевелил шторы. Высотин только теперь стал разглядывать обстановку — в первый раз он не видел ничего, кроме Анны.

Посредине комнаты стоял стол, и на нем рядом с настольной лампой, прикрытой поверх абажура цветной косыночкой, лежала тетрадь и раскрытая книга. Он взял книгу, прочитал заголовок: «Вопросы ленинизма».

«Учится... Все учится, милая».

Высотин положил книгу на стол, прошел через открытую дверь в детскую и в раздумье остановился у маленькой кровати. На подушке лежал забытый бархатный медвежонок с оранжевыми пуговичными глазами.

— Дуралей я, Мишка, дуралей! — вслух сказал Высотин, вертя в руках детскую игрушку. Он вдруг почувствовал себя неловко оттого, что, пользуясь доверием и дружбой дорогой ему женщины, находится в ее комнатах, берет ее книги, а главное, держится так непринужденно, будто он имеет на это какое-то право.

Погрузившись в эти мысли, Андрей не услышал, как вошла Анна.

— Вот и мы! Заждались? — Она передела сына и, оставив его у игрушек, пригласила Высотина в столовую. Усталю опустившись на стул, она спросила:

— Вы-то чего нахохлились? Пожелтели, осунулись... Не больны ли?

Высотин покачал головой:

— Не знаю, как и ответить, Анна Ивановна. Вот мучаюсь оттого, что с первых дней у меня служба не клеится. — Он считал возможным говорить с ней как с близким другом.

Она участливо улыбнулась:

— Военная тайна?

— Какая там военная тайна! Просто есть еще на корабле люди, которых я не понимаю, есть и такие, что меня не могут понять. Вот и вся забота! Другой, может быть, на это не обращал бы внимания: хочешь — люби, уважай командира, хочешь — не люби, службу исполняй. А я не могу...

Он достал портсигар и, не закуривая, продолжал говорить, держа папиросу в руке:

— На фронте я своих людей, как самого себя, знал. Души их понимал. Одного, как сейчас помню, на смерть посылаю, а он на меня с улыбкой смотрит. «Я непременно живым вернусь, говорит, не хороните меня раньше времени!» Я его спрашиваю: «Кто тебе сказал, что на смерть идешь?» Он откровенно ответил: «Глаза ваши, товарищ командир, для нас семафор. Все ясно!» А здесь? — Высотин махнул рукой. — Понимаете, в чем дело?

Анна удивленно пожала плечами:

— Я что-то не могу уловить смысла. То есть не то, что вы говорите — это я прекрасно понимаю, — а то, чем вы недовольны. Вы офицер, вас многому учили. В ваших руках власть. Не торопитесь ли вы с выводами?

Высотин, горячась не из-за ее слов (в ее словах было участие и желание помочь ему), а будто споря с самим собой, сказал:

— А если завтра вдруг так сложится обстановка, что придется от врагов Родину защищать, в бой идти? То, что я хочу держать в своих руках, есть тончайший нерв боевой готовности корабля. А вы — власть, вывод...

Он внезапно замолчал, устыдившись несдержанности и резкости своих слов. «Что ей за дело до моей жизни?» — промелькнула горькая мысль. Он смял и сунул в карман незакурившую папиросу.

Анна по-своему понимала его душевное состояние. Она мысленно поставила себя на его место и, раздумывая, покачала головой. Вспомнился случай, когда муж, вернувшись из похода, как-то сказал ей: «Если бы мне знать своих людей, как тебя, Анна!» Она не на шутку тогда обиделась. Анна ревновала Петра к морю, кораблю, к людям, с которыми он служил. Когда муж бывал дома, для нее наступали часы радости и счастья. Они так редко бывали вместе! А тут — скажите, пожалуйста! О службе, оказывается, он думает и с ней надежде. Она ничего не хотела слушать... Петр подсел к ней и улыбнулся, точно провинившийся ребенок. Она разревелась, припав головой к его груди. Такая уж участь жен моряков! Короткая радость встреч, короткие минуты

счастья, тем более полного, чем ближе тебе интересы мужа.

Анна озабоченно поглядела на Высотина и мягко сказала:

— Вот мой маленький! — она указала на сына, что-то мастеровитого из металлических конструкций. — Первые слова, которым он научился, были мои слова. Он перенял от меня многое, что необходимо в первые годы жизни. В школе учителя и товарищи дополняют его воспитание. Он станет пионером, комсомольцем... Но и это не обязательно будет его зрелостью. Ее не получишь на руки в виде аттестата об окончании школы. Уже вне школы, в жизненных испытаниях он перешагнет через ту внутреннюю черту, за которой кончается детство. Она есть у каждого человека, эта черта. Вот тогда он научится оценивать каждый свой шаг, поступок с точки зрения больших задач, выберет свое место в жизни... Зрелость приходит не сразу... — Анна на мгновение замолчала. На щеках ее появился слабый румянец. — Мне кажется, — продолжала она, — что есть люди, которые так и умирают, не созрев! Да, да! В этом, наверное, называются еще недостатки воспитания. Вот вы, — она ободряюще, чуть приметно улыбнулась, — вы оформившийся человек, вас не заставишь свернуть с дороги, по которой идете... Так и тот матрос, о котором вы говорили: он, идя на боевые дела, открыто смотрел вам в глаза, хотя знал, что вы, ваша воля обрывала его жизнь. И все-таки он, наверное, ни минуты не сомневался. Он верил вам! Защищая Родину, он мог принять смерть. Он был смел и спокоен потому, что в ваших глазах видел свое отражение, вы были равные, созревшие, преданные общему делу люди, и разница заключалась лишь в том, что один отдавал, а другой исполнял приказание. При других обстоятельствах вы выполнили бы то, что поручали ему.

Сын подошел к Анне. Высотин только сейчас заметил, как он похож на мать. Тот же высокий лоб, темные брови над ясными, чистыми глазами, только губы твердые да подбородок упрямым! Мужской подбородок! Мальчик вырос, похудел. Высотину захотелось погладить его по голове. Анна поцеловала сына, сказала: «Иди, Сережа, играй!» — и, обращаясь к Высотину, продолжала:

— На вашем корабле, наверное, такие же моряки, какие были на фронте, но не все они созрели и отгадали в вас самих себя. В мирной обстановке это происходит медленнее, чем в бою. Людям надо помочь найти себя, учить их, и постепенно все, о чем вы думаете, придет. То, чего добиваетесь вы, и мне ведь понятно и близко. К этому стремятся и председатель колхоза и руководитель любого производства.

С милой застенчивостью она закончила:

— Я никогда так много не говорю, а сегодня это получилось под настроение...

— Спасибо за добрый совет! — сказал Высотин. Его убеждали слова Анны, подчинял спокойный, уверенный голос. Ничто не казалось Андрею трудным, когда она была с ним рядом.

Анна уже хлопотала вокруг стола, расставляя рюмки, тарелки, достала из буфета сладкий пирог с румяной коркой.

— Вот именно, добрый совет, — откликнулась Анна. — Есть старинная поговорка: «Эполеты офицера сверкают всего ярче в блеске его обаяния!» Душевного обаяния! — подчеркнула она. — Человек должен идти к человеку.

— Да, человек идет к человеку! — повторил Высотин задумчиво, не сводя глаз с Анны. Она достала маленький графин; разливая в рюмки красное вино, не пряча лукавой искорки в глазах, сказала: — Присаживайтесь к столу. Сегодня день моего рождения. А вы забыли! — Она прикоснулась своей рюмкой к рюмке Высотина. Стекло тоненько и нежно зазвенело в ее руках.

«Как раз время», — подумал Высотин и опустил руку в карман, чтобы достать кольцо. Он ощутил под пальцами бархатистую поверхность футляра и вдруг заколебался. Когда он выбирал в магазине кольцо, все казалось простым и естественным, но теперь он не решился преподнести подарок, которому придавал особое значение. Он понял, что не пришло еще время для такого подарка.

Высотин боялся испугнуть доверчивость Анны. «Отвергнутая любовь не мирится с дружбой», — говорил он себе часто. — Может ли быть между нами теперь что-нибудь большее, чем дружба? Нет, пожалуй. Но кто знает, что еще будет впереди...»

— Нет, Анна Ивановна, я не забыл, — сказал Высотин и почувствовал, что краснеет, — но, простите великодушно, пришел я с пустыми руками. Замотался! Прямо, как говорится, с корабля на бал.

Он смотрел на милое, открытое лицо Анны, на ее гладко зачесанные черные блестящие волосы, на тонкие вздрагивающие брови, похожие на раскинувшиеся ласточкины крылья, на нежную темноватость и припухлость в уголках глаз. «Видно, недосыпает из-за работы!» Каждый раз он открывал в ней для себя что-то новое, милое, незнакомое ему доселе.

— Мы ведь старые друзья, — говорила между тем Анна, — и для меня дороже всего то, что вы пришли. Мы вспомним сегодня Петра. С вами мне как-то легче говорить о нем. — Она погрузилась.

Высотин, наконец, вытащил руку из кармана. «Вот и хорошо, что не подарил», — подумал он.

В коридоре хлопнула дверь. В комнату вбежала Наташа, высокая и гибкая, как ее сестра, с тяжелыми черными косами на плечах. Приветливо поздоровавшись с Высотиным, она обняла сестру и, пригнув ее голову к себе, застегнула на ее шею нитку коралловых бус.

— Это от меня. Как тебе идет, Аннушка! — Она крепко поцеловала сестру.

— Почему запоздала? — спросила Анна.

— Уйду, уйду я с этой неблагодарной работы! — воскликнула Наташа, поправляя перед зеркалом волосы. — На что это похоже? С утра до вечера носы утираю, слюнявчики подвязываю и песенки разучиваю: «Зайнышка под елочкой скок, скок, скок!» А дальше что?! — Она вертела головой, поглядывая то на сестру, то на Высотина.

— Напрасно ты о своей службе так отзываешься, — заметила, посмеиваясь, Анна, зная вспыльчивый, но отходчивый характер сестры. — Опять, наверное, повздорила с заведующей?

Наташа утвердительно кивнула головой.

— Я ей говорю: «Дети — это же такая драгоценность! К ним нужен особый подход!» А она свое: «Режим, логика, метод», — зазря наказала малыша. Тут к нам комиссия пришла, она перед ними демонстрирует свой метод. Я вскипела. «Ну, думаю, консерватор ты этакий!» Взяла, накормила ребенка сладким, умыла, рассказала сказку, он у меня весь день пайнкой. Инспектор, который в комиссии, улыбается. А как только он ушел, заведующая принялась мне выговаривать: «Не суйте, милочка, нос, куда не надо! Вы, говорит, честолюбивая особа, перед начальством выслуживаетесь!» Не выслуживаюсь, а просто, говорю, у нас разные взгляды.

— погоди, погоди! — прервала Анна. — Я бы на месте заведующей тебя строго-настрого наказала...

— Без требовательности нельзя воспитывать, — сказал Высотин, поддерживая Анну.

— Ах, все это верно!.. Только душой надо понимать, к кому как подойти... — Наташа подседа к Высотину и, приложив ладони к своей груди, смотря на него темными живыми глазами, мечтательно сказала: — Вот бы такую работу, где все шло бы гладко! — И тут же засмеялась: — Это, пожалуй, была бы такая тоска, скука. Правда? Вот у вас, у военных, все, как по полочкам, разложено. Ать, два!

— Вы, наверное, не любите свою работу? — спросил Высотин, с шуточной строгостью хмурия брови. Он относился к ней с дружеским расположением и в то же время немного покровительственно, как обычно относятся мужчины к младшим сестрам любимых ими женщин. Но то, что она говорила сейчас, как-то переключалось с тем, что волновало его, и он настороженно ждал ее ответа.

— Не знаю, — откровенно сказала Наташа. — Иногда от детского визга хочется все бросить. А погляжу на эти милые мордашки, на их глаза — ведь они прямо веруют, именно веруют, а не верят в меня — и тяжело расстаться... — Она взяла со стола рюмку и неожиданно спросила у Высотина: — Скажите, честолюбивой быть — хорошо это или плохо? Вот вы — честолюбивый или нет?

Анна, улыбаясь, сказала:

— Наташенька, что ты пристала, как с ножом к горлу?

— Да, отчасти, — сказал, подумав, Высотин. — Когда я чувствую, что прибавился опыт, знания, сила, я стремлюсь от низшей служебной ступени к высшей. Силу свою хочется тратить полней, с наибольшей пользой. Ведь каждый хороший солдат мечтает быть маршалом...

Наташа не дала ему договорить.

— Понимаю! — сказала она горячо. — Это должно быть чистым и искренним. Отдать полной силы. Ведь не из жадности почестей и славы рабочие, колхозники, интеллигенты становятся Героями социалистического труда! Хотя у них должно быть честолюбие... Я вот, честно, хочу стать заведующей детским садом, чтобы ребятам было радостнее.

— Ого! Значит, по боку все, какие есть, инструкции, наставления по воспитанию детей! — Высотин развел руками.

— Ничего подобного! — возразила Наташа. — Я буду очень строго их выполнять. Но ведь в них только общие положения. А в каждый отдельный случай я могу внести свое, вот это хотя бы...

Она подхватила на руки подошедшего Сережу, стала его целовать в лицо, шею, стриженую головку, щекоча его своими волосами, что-то шепча на ухо.

«Ведь она права, тысячу раз права!» — думал Высотин, невольно сравнивая то, что говорила Наташа, со своими мыслями.

Наташа распахнула окно. Сережа бегал вокруг нее, тянул ее за руки; ей, видимо, это доставляло большое удовольствие: она смеялась вместе с ним и, казалось, готова была так же бегать и скакать. Обернувшись к сестре и показывая на распахнутое окно, она воскликнула:

— Вечер-то какой чудный сегодня! Пойдемте гулять!

— Я с удовольствием! — сказал Высотин и, заметив нерешительность Анны, добавил: — Сегодня домашние дела, учебу можно отложить...

— Соглашайся, Аннушка! — воскликнула Наташа, обнимая сестру.

— Сдаюсь, — шуточно поднимая вверх руки, сказала Анна. — Сережу возьмем с собой. Видите, как он умоляюще смотрит на нас!

5

Плакуша, собираясь в город, одевался с особым старанием. Под парадной шевитовой тужуркой, на пикейной манишке белоснежной рубашки завязан широким узлом черный шелковый галстук. У бедра колышется отделанный под слоновью кость эфес кортика.

Поскрипявая новыми полуботинками, Плакуша прошелся по каюте, заглянул в зеркальце и удовлетворенно провел рукой по гладко выбритой щеке.

Перед ним стоял франтоватый офицер и улыбался загадочно и томно. Сияли никелированные пуговицы на тужурке. Погоны с зеленоватым просветом лежали крыльшками на широких и прямых от ваты плечах. На чуть склоненной голове, точно по шнуру, шел пробор от лба до затылка, разделяя белесые, гладко зачесанные волосы. Плакуша повертел в руках фуражку с «нахимовским» козырьком и взглянул на часы.

До начала спектакля оставался час. Нужно пораньше притти в офицерский клуб и там ожидать Наташу. «Придет она или нет? Все зависит от случая, но, может быть, на этот раз мне повезет!»

Он представил себе, как Наташа, раскрасневшаяся от ходьбы, легкими шагами поднимается по широкой гранитной лестнице подъезда офицерского клуба. «Все билеты проданы» — висит записка над окошечком кассы. Плакуша подходит к девушке и, поднеся руку к козырьку фуражки, галантно приглашает: «У меня есть лишний билет на «Счастье». Разрешите предложить вам?»

У девушки лучистые глаза; она морщит чуть вздернутый нос, сдвигает брови. А ее глаза, губы, ямочка на

щеке улыбаются помимо ее воли. «Сегодня премьеры, я от всей души!» — шепчет Плакуша. Звенит третий звонок. Наташа едва слышно говорит: «Да».

Все это пока мираж, пылкая фантазия. Правда, в кармане лежат купленные накануне билеты, девушка по имени Наташа живет в Белых Скалах и работает воспитательницей в детском саду, премьеры «Счастье» сегодня идет в клубе. Вот и все, что реально, остальное — игра воображения.

Однажды, возвращаясь из санитарного отдела, Плакуша увидел за зеленым палисадником у небольшого дома девушку. Она сидела на траве в тени, поджав ноги, и читала детям книгу. Какой-то мальчик стоял, склонив русую голову к ее плечу. Две девочки с одинаковыми розовыми бантами в волосах заглядывали в книжку. Вихрастый шалун, сидевший позади, незаметно дергал девочек за волосы.

Плакуша услышал чистый и спокойный голос: «Вернулся Иван-царевич на коне златогривом, привез царю-бабушке Жар-птицу, а себе — невесту, Василису Прекрасную...»

«Хорошая сказка, и девушка такая славная», — подумал, замедляя шаги, фельдшер. В это время на крыльце дома показалась полная женщина и крикнула: «Наташенька, ведите ребят на прогулку!»

Девушка закрыла книгу, встала, поправляя свободной рукой сбившийся поясok светлой блузки, сказала детям: «Ребята, становитесь парами!» И ожидая, пока они выстроятся, стояла, задумчиво глядя на тополь, с которого все сыпался и сыпался белый пух, похожий на снежинки.

Плакуше Наташа понравилась с первого взгляда. И мысли о ней уже не покидали его.

В этот день фельдшер не находил себе места. Прикорнув на часок после обеда, он увидел во сне Наташу и, проснувшись, затосковал и понял, что влюблен.

В другой раз он уже умышленно стал бродить вокруг детского сада. Во дворе, обнесенном зеленым палисадником, было пусто. Ветер гнал по дороге пыль, сбивал с тополя цветы-пушинки. Низкие облака заволочили небо. Плакуша ждал, не покажется ли Наташа. Хотелось хоть одним глазком взглянуть. Но вскоре хлынул ливень. Плакуша промок до нитки. За помутневшими окнами он увидел прильнувшие к стеклу детские лбы, носы пуговками и за ними смутно различил лицо Наташи.

В каюте фельдшер, глотая аспирин, писал стихи: «Я увидел тебя, полюбил на всю жизнь...» Рифма на слово «жизнь» никак не давалась. Ломило голову. В ушах стоял звон.

Плакуша похудел, ходил задумчивый и грустный. Потом он решил во что бы то ни стало познакомиться с Наташей. Предлогом послужат билеты в клуб. «А что, если она уже купила билет или откажется пойти со мной? — подумал он. — Но все равно, я хоть поговорю с ней...»

Фельдшер смачивает одеколоном носовой платок, надевает фуражку. «Кончил дело — гуляй смело». На корабле больных нет, ужин прошел хорошо, санитарное состояние камбуза отличное. Плакуша педантично относится к своим служебным обязанностям. Он знает себе цену. Каждый, кто занеможет, бежит к нему: «Милый доктор,

помогите». Стало быть, фельдшер — не последний винтик на корабле!

На пороге каюты он сталкивается с санитаром.

— Что вам? — Плакуша хмурится.

— Проба воды из цистерны... — Санитар протягивает стеклянную пробирку.

«Всегда вот так, когда торопишься!» — Плакуша рассматривает воду на свет, нюхает, нет ли затхлости, пробует на вкус.

— Можно употреблять... — Он садится за стол и делает запись в журнале. «Теперь все!» — Он высказывает на верхнюю палубу.

Солнце низко висит над морем. Носятся, словно обезумевшие за день от солнца и резкого ветра, чайки, садятся на скалы, где волны неистовствуют и пенятся. А между тем вечер отличный, погожий, в гавани снуют катера, шлюпки, выходят в залив парусные яхты.

Плакуша забегает в рубку дежурного по кораблю: «Запишите! С берега вернусь в ноль-ноль!»

Гаранин с усмешкой щурит красивые глаза, приветливо машет рукой:

— Счастливого плавания! Гуляйте, а завтра ко мне на выучку.

— Да, да! — соглашается Плакуша и, молодцевато отдав честь флагу, сбегает по сходне.

На центральном проспекте, куда вышел Плакуша, женщины в ярких летних платьях, мужчины в легких костюмах, без фуражек и шляп. У киосков с мороженым и фруктовыми водами, у касс театра и кино шумные пестрые очереди. Моряки щеголяют в белых форменных рубашках с синими полосатыми воротниками. Бьются черные ленты с золотыми якорьками. Плакуша ощущает похожее на чувство полета возбуждение. Что-то поет в нем торжественно и звонко. Бравурный мотив звучит, не переставая. Трам, трам! Фельдшер выпячивает грудь, шагает, высоко неся голову...

На углу двух улиц стоит продавец воздушных шаров. Красные, синие, зеленые, они точно виноградная гроздь плывут в воздухе. К продавцу подбегает мальчик, останавливается, как зачарованный. За мальчиком спешат Высотин, Анна и Наташа. Высотин покупает воздушный шар и вручает его малышу. Наташа и Анна хохочут. Размечтавшийся Плакуша сталкивается с Высотиным лицом к лицу.

«Ох!» — невольно вырывается у него. Фельдшер пересиливает себя и отдает честь командиру.

Высотин отвечает. В глазах у него одобрение: «Гуляйте, дышите свежим воздухом, лейтенант!» Потом он оборачивается к спутницам и, улыбаясь, берет под руку Наташу и Анну. Толпа скрывает их.

«Куда теперь и зачем идти?» Ничто не мило фельдшеру: ни спектакль «Счастье», ни город с праздничным гулом дня отдыха!

Плакуша достает из бумажника билеты и комкает их в кулаке.

Не зная, чем заняться, Плакуша весь вечер ходил по городскому саду.

Фельдшер бред, не разбирая дороги. Он считал себя несчастным человеком. За деревьями показалась поляна. На ней в гирляндах разноцветных лампочек неслась ка-

русель. Визжали девушки, взлетая в поднебесье на качелях. На веранде, под тентами, читали газеты, журналы.

Электрические шары лунами светились в листве. В решетчатых беседках слышался смех, приглушенный говор. Гуляющие шли пара за парой, выплывая на свет из душистых гротов глухих аллей.

— Что это вы, Плакуша, траву топчете?!

Фельдшер остановился: «Действительно, куда это я зашел?» Он стоял на газоне. Неподдалеку, в кругу света от фонаря, сидел на скамье Золотов в гражданском костюме, с неизменной трубкой во рту.

Плакуша поглядел на запыхавшиеся ботинки, развел руками и вышел на аллею.

«Задумался...» — Он лихо козырнул и хотел было сказать: «Здравия желаю, товарищ капитан второго ранга!» — а вместо этого спросил:

— И вы, значит, Терентий Иванович, на свежий воздух вышли погулять?

— Свежий воздух у нас вокруг... Жену поджидаю. Взяли билеты в кино, а у жены дело оказалось на заводе, сейчас она подойдет... — Он поглядел на часы. — А вы куда это шагаете?

— Беспечное времяпрепровождение... Разрешите присесть. — Фельдшер достал носовой платок, расстелил на скамье и сел на него. — Все суета сует, Терентий Иванович! — сказал он патетически.

— Я в ваши годы беспечно вечер на берегу не проводил. — Золотов добродушно пошмеивался, попыхивая трубкой. — Как служба?

— Неправедности много. С вами, Терентий Иванович, было легко и приятно служить, а вот с новым командиром... — горестно вырвалось у Плакуши. Он сжал руки и с надеждой поглядел на Золотова. — Помогите списаться на берег.

— Трах-бах! Почему на берег? Рассказывайте, чем недовольны?

— Командир приказал мне изучать морское дело... Спрашивает, как с бопмана, а я медик...

— Так, так, — неопределенно поддакнул Золотов. «Что-то круто Высотин поворачивает. Неужели он требовательнее относится к людям, чем я?..»

Золотов вспомнил недавнюю встречу с Кипарисовым. Они стояли на палубе флагманского корабля, разговаривали о служебных делах, и вот так же, как сейчас фельдшер, Кипарисов дал понять, что недоволен Высотиным.

«Не могу вникнуть в стиль руководства, — говорил Кипарисов, раздраженно щелкая пальцем по высунувшемуся из-под обшлага кителя накрахмаленному, твердому, как жесть, манжету. — Я — строевой офицер, незачем делать из меня еще и политработника».

Вымытый и выскобленный деревянный настил палубы влажно желтел на солнце. Под металлическими шапками «грибков» поблескивали не успевшие высохнуть капельки воды. Все на корабле было чистым и свежим. Таким же блестящим и свежим был Кипарисов — в белом кителе, белых брюках и туфлях; жарко горели золотые погоны на плечах, но его красивое лицо выражало недоумение и обиду. «Ишь, как тебя за живое взяло!» — подумал тогда,

глядя на Кипарисова, Золотов. Он помнил, что Кипарисов, отговариваясь занятостью по службе, неохотно участвует в партийно-политической работе. Этот недостаток за своим старшим помощником Золотов знал давно, но мирился с ним, считая, что каждому, даже самому хорошему офицеру, бывают свойственны некоторые слабости. Он ничего не сказал и на этот раз: «Незачем мне вмешиваться в дела Высотина». Однако, когда Кипарисов ушел, Золотов почувствовал себя расстроенным. «Надо было сказать правду в глаза, а то ведь Кипарисов, пожалуй, истолкует молчание как одобрение. Нехорошо получилось!..»

Золотов сделал нетерпеливое движение рукой.

— Я коротко, очень сжато... — Всплеснув руками, Плакуша принялся торопливо пояснять, почему хочет служить на берегу. — Укачиваюсь, Терентий Иванович, вы же это знаете. Морская болезнь — субъективный недостаток моего организма...

«Каким же путем идет Высотин? — думал меж тем Золотов. — Не случайно Кипарисов и Плакуша оба высказывают недовольство службой на «Державном». Надо мне разобраться в этом...» Волнуясь, он запыхтел трубкой. «Нет, Высотин не строже, чем я, а вот природа его требовательности — иная... Да, да, иная!» Золотов ухватился за эту, только что пришедшую ему в голову мысль. Сопоставляя жалобы Кипарисова и Плакуши, он вдруг понял, что жалобы эти вызваны одной и той же причиной: в обоих случаях видна была попытка Высотина заставить офицеров заниматься не только своими узкими специальными делами, а интересоваться всем, что происходит на корабле. «Это и есть один из путей, которым идет Высотин к сплочению коллектива. Как я этого до сих пор не понимал?» — продолжал думать Золотов, слушая длинное и бессвязное объяснение фельдшера. И хорошая зависть к Высотину, чувство гордости за бывшего ученика впервые пробудились в душе Золотова.

— Прежде чем осуждать начальника, нужно глубоко понять его цель, — сказал он, когда Плакуша замолчал. — А за вас, лейтенант, я перед Высотиным виноват, — и, вспомнив о Кипарисове, Золотов добавил, — за вас и за многих других...

— Вы?!

— Да, я... очень теперь сожалею, что видел в вас только узкого специалиста.

— А как же моя мечта о берегу? — запинаясь, снова начал было Плакуша.

— Это не мечта, лейтенант, право, не мечта. Надумали увильнуть от трудностей морской службы, а в этом я содействовать вам не стану. — Золотов поднялся навстречу жене. — Пойдемте-ка лучше вместе смотреть «Третий удар»!

Плакуша поклонился подошедшей Полине Васильевне.

— Благодарю за приглашение... — Он потрогал лоб рукой. — У меня, кажется, мигрень! — И, козырнув Золотову, фельдшер свернул на аллею, ведущую к морю.

Размахивая руками, он выбежал на оконечность мыса. Вдоль каменной ограды двигались редкие прохожие. В темном океане шел пароход; он был так далеко, что его огни походили на звезды, плывущие над водой. Пароход уходил в чуждаленные страны. Вскоре огни исчезли за горизонтом.

На дороге показалась колонна матросов, с песней возвращающихся из города. Впереди шагал баянист в сдвинутой набекрень бескозырке.

Плакуша поглядел на мглистую даль океана, где скрылся пароход, на колонну матросов, на щеголеватого лейтенанта, сопровождающего строй, и, вздохнув, мечтательно прошептал:

— Эх! Все-таки красива морская жизнь.

От ходьбы у него горели и ныли ноги, мучила жажда. Он огляделся по сторонам: «Куда это я забрел? Здесь и отдохнуть-то негде!»

Вдоль берега тянулись складские помещения, редкие дома. За стеной каменного мола, в закрытом «ковше» стояли мелкие рыболовные суда: катера, сейнеры, шаланды. Неподалеку была пристань, а рядом с ней стоял на сваях «поплавок» — павильон фруктовых вод. Из его открытой двери падал яркий свет.

«Была бы со мной Наташа, как славно мы провели бы вечер!» — подумал Плакуша.

До военной гавани, где стоял «Державный», итти было еще далеко, и фельдшер решил отдохнуть на «поплавке», съесть мороженое, выпить бутылку лимонада.

На настил «поплавка» ветер заносил брызги — после шторма с океана все шла и шла зыбь. Волны медленно, бесшумно подходили и вздымались, обрушиваясь на берег. Скользя ладонью по мокрым от брызг перилам, Плакуша уже подходил к двери павильона, но вдруг заметил приближавшийся к пристани пассажирский катер. На самом носу «морского трамвая» стояла женщина с букетом цветов. Она показала Плакуше удивительно знакомой. Он всмотрелся и не то увидел, не то догадался: «Наташа!»

Пить расхотелось. Плакуша, облизнув пересохшие губы, зашагал к пристани. Зашагал без определенной цели, повинувшись какому-то внутреннему чувству.

Высотин заметил фельдшера, едва сошел на пирс.

— Что же вы, лейтенант, все один, скучаете? Да подойдите же к нам.

Плакуша не знал, что ответить. Он растерянно посмотрел на командира, потом на рассматривающего его с любопытством Сережу.

— Разрешите представить, — сказал Высотин Анне, — наш корабельный фельдшер Валерий Александрович Плакуша...

Плакуша чутьчку выступил вперед, склонив голову. «Случай-то какой, один на тысячу!» — подумал он, искоса поглядывая на Наташу.

Плакуша щельнул каблучками. «И чего я распаркиваюсь, ведь, наверно, смешно!» — подумал он, сердясь на самого себя. Он заметил, как улыбнулась Анна и прыснула, прижимая цветы к лицу, Наташа, и совсем некстати сказал:

— Очень рад...

— Чему же вы рады, лейтенант? — спросил Высотин.

— Хорошо все то, что хорошо кончается, — невпопад ответил Плакуша, отступая в тень. От слов Высотина ему стало не по себе. «Эка, он меня и здесь поддевает». Плакуша украдкой взглянул на Наташу: «Что она обо мне думает?»

— Мама, спать хочу, — сказал Сережа.

Анна на минуту призадумалась.

— Вот что, Наташенька, — сказала она, — мне необходимо на полчаса заглянуть на верфь.

— Ладно! — Наташа взяла Сережу за руку. — Я сама его уложу.

— Андрей Константинович, вы со мной? — спросила Анна.

— Конечно! — Он поднял Сережу на руки. — Давай прощаемся, малыш. — А вы, лейтенант, я думаю, проводите Наталью Ивановну, — обратился Высотин к Плакуше.

Узкая боковая улочка поднималась на сопку. Шелетели вершины деревьев. Свет падал из освещенного окна на каменные плиты тротуара.

— Я вас часто видела, — сказала Наташа. — Я думала, вы из санитарного отдела. В нашем детсаду много детей военных.

— Значит, вы заметили меня? Я очень люблю ребят...

— Я тоже... — Наташа кивнула и, помолчав, неожиданно сказала: — Я, знаете, поклонница водного спорта. Почему я вас никогда не встречала в яхт-клубе?

— Я... я не умею плавать.

Этим признанием он унижал себя. Но его словно провало, и он заговорил о том, что он сугубо береговой человек и никогда не любил и не будет любить море.

Наташа тихо засмеялась.

— Вот как... А я-то думала...

Сережа, уставший за день, захныкал, потирая кулачками глаза, и Плакуша взял его на руки. Мальчик заснул, склонившись к нему на плечо. Некоторое время они шли молча. Но вот Наташа остановилась у железной решетчатой ограды, за которой белел двухэтажный дом с балконом, обвитым плющом. Она выжидающе посмотрела на фельдшера, качая рукой железную дверцу калитки. Плакуша видел ее лоб, пушистые кудряшки на висках, мальчишеский профиль, склонившийся к полузавядшему букету.

Он робко спросил:

— Вы разрешите встретиться с вами в следующий раз?..

Наташе чем-то понравился ее новый знакомый. Он показался ей искренним, робким и очень забавным. Хотелось пошутить с ним, подурачиться.

— Это обязательно, лейтенант? — По тону ее голоса Плакуша понял, что она не отказывается, что это в конце концов только игра. «Сейчас или никогда», — решил он.

— Я понимаю вас... Первое знакомство... Хотите, в следующий раз мы пойдем в театр или музей? Если любите литературу, будем читать стихи. — Он не знал, о чем еще ему дальше говорить. Кажется, она дважды зевнула.

— Знаете ли, Валерий Александрович, вы очень милый человек, но... — Наташа совсем закрыла лицо цветами, — вам нельзя довериться... Вдруг, катаясь на лодке, мы опрокинемся... Ведь вы не умеете плавать... Вам нечего рассказать о море, которое я так люблю!

Он не мог понять, говорит ли она серьезно, или все это шутка, продолжение той игры, которую она сама начала.

— Не мучайте, Наташа! Я научусь плавать и управлять шлюпкой... — он говорил, поддельваясь под ее шуточный тон. Ему вдруг стало с ней легко и свободно. Она

была чуточку меньше его ростом, в ее поднятых на него глазах были доверчивость и веселое лукавство.

— Хорошо, — сказала Наташа, беря из его рук Сережу и отступая за калитку. — В следующий раз, когда будете на берегу, поедem кататься на взморье. И так, до скорой встречи! — Наташа, улыбнувшись, протянула Плакуше букет.

— Возьмите, Валерий Александрович, цветы. Это от меня для вас...

— За что? — прошептал он, чувствуя, что ему не хватает дыхания.

— Поставите в каюте и будете нюхать. — Она засмеялась. — Цветы будут напоминать о слове, которое вы дали мне...

Скрипнула дверь, на лестнице замолкли шаги, а Плакуша все еще стоял, ожидая чего-то невозможного. И Наташа появилась в раскрытом окне, помахала рукой:

— Уходите, Валерий Александрович! Вы опоздаете на корабль. — Она погасила свет, скрылась за шторой.

Он постоял еще несколько минут, думая о том, что он — счастливейший человек на земле и ему вовсе не хочется возвращаться на «Державный», что для него ничего нет лучше, чем быть рядом с любимой девушкой. Но он тут же вспомнил о службе, о многих делах, ждущих его на корабле, о беседе, которую он завтра должен провести с матросами, и вначале медленно, а потом все быстрее зашагал к гавани и почти бегом взбежал по сходне на корабль.

— Вы, Валерочка, пунктуальный человек... — сказал Гаранин, — минута в минуту... — Он поднял глаза. — Ба! Медик пришел с цветами, что это значит?

— Приходите после вахты, сыграем в шахматы. Я, наверно, сегодня вообще не усну...

Плакуша отделил от букета два тюльпана и воткнул их в подставку для ручек в чернильном приборе на столе перед Гараниным.

— Пусть украшают флотскую службу...

Затем фельдшер зашел в кают-компанию, в каюту политпросветработы и в матросские кубрики и всюду оставил по несколько тюльпанов. Ему хотелось поделиться своей радостью со всеми людьми на корабле.

В руках фельдшера остался один цветок. Распахнув дверь своей каюты, Плакуша, не зажигая света, бросился на койку и, прижав горячий щекой к подушке, прошептал:

— Я, Наташенька, свое слово сдержу...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Возвратившись на корабль, Высотин узнал, что сегодня вернулся из отпуска замполит, и решил сам зайти к нему. В это время и Парамонов собрался официально доложить Высотину о своем возвращении из отпуска.

— А я уже к вам думал итти, товарищ капитан третьего ранга, — сказал Парамонов, открывая на стук дверь каюты.

— Кто к кому раньше пришел, тот и гостем будет. Мы уже заочно знакомы, слышали друг о друге, ведь так? — Высотин протянул руку. Парамонов крепко пожал ее.

Пропуская Высотина в каюту, Парамонов сказал:

— Гостю я всегда рад...

Высотин окинул взглядом широкие плечи замполита, его открытое лицо с русым хохолком волос надо лбом. «Ну и дядя, плечи — косая сажень!» Он достал портсигар и предложил:

— Покурим, Николай Николаевич?

— Самая что ни на есть мужская привычка, говорят, — улыбнулся Парамонов. — Да только я как-то не удосужился ее приобрести.

Высотин защелкнул портсигар.

— Вы курите, товарищ командир, — сказал Парамонов. — К запаху табака я привык: знаете сами — соберется шарод на баке, подсядешь, заговоришь. Все чадят вокруг. Вот и приучился дымом дышать не хуже заправского курильщика.

— Прощаете, значит, слабости людям? — спросил Высотин, зажигая спичку и прикуривая.

— Слабости бывают разные, и люди на корабле разные. Так ведь?

Глаза у замполита были с добродушной лукавинкой. Он как бы приглашал: «Начнем, товарищ командир, разговор о корабельных делах».

Высотин, однако, промолчал. Хотя беседа и началась в том дружеском и непринужденном тоне, которого он хотел; хотя возвращение из отпуска замполита совпало с моментом, когда Высотин нуждался в крепкой и верной поддержке, все же он медлил начинать разговор о «Державном».

Он спросил, как замполит провел отпуск, какие виды на урожай в нынешнем году в Сибири. Затем разговор зашел об электростанции, где побывал Парамонов, и о последних международных событиях. Высотин рассказал об иностранном самолете, нарушившем границу в Белых Скалах, о коротком бое, который произошел над гаванью, о гальваноударных минах, обнаруженных у побережья.

— Есть твердые предположения, что один из проходящих Седые буруны иностранных кораблей сбросил мины в расчете, что океанское течение их занесет в нашу гавань.

— Наглеют господа... — заметил Парамонов.

— Да, — согласился Высотин. — А мы в свою очередь должны сделать выводы. Очень серьезные выводы... — Он прошелся по каюте, подтянутый, строгий. Его длинная тень заметалась по переборкам, сверкнули погоны в электрическом свете. «Ну, чем ты мне поможешь, замполит? — думал Высотин. — Поймешь ли ты до конца то, чего я хочу?»

Самому Парамонову не терпелось поделиться с командиром своими взглядами на дальнейшую совместную работу, однако и он, ожидая, когда Высотин даст повод к этому, сдерживал себя. На «Державный» Парамонов пришел служить с гральщика. Впервые он столкнулся с большим коллективом, незнакомой ему техникой. Нужно было многому учиться. Золотов охотно делился с Парамоновым своими знаниями. Замполит с благодарностью относился к командиру. Но потом он стал замечать, что не все

так благополучно на корабле, как ему это казалось первое время. На «Державном», как и на других кораблях соединения, были отличники, в совершенстве овладевшие флотской специальностью, культурные, политически грамотные моряки, и наряду с этим были и отстающие матросы, которые иной раз нарушали дисциплину. Первых ставили в пример, в праздничные дни выбирали в президиум собрания, о них писали в стенной газете, а отстающих, нарушающих дисциплину, порицали, с ними проводили беседы, критиковали их на собраниях. И вся воспитательная работа как бы растекалась по двум каналам. В центр внимания попадали две группы людей — передовых и отстающих. А основная масса матросов и старшин, те, которые ничем особым не выделялись, как бы оставались в тени.

Парамонов задумался над этим и пришел к выводу, что главным звеном, за которое нужно ухватиться, которое нужно тащить, являются именно «середняки» — они составляли ядро экипажа. «Вот если добиться, чтобы все они превращались в отличников, тогда все сдвинется с места и, как река, сломавшая лед, пойдет быстро вперед, — думал Парамонов — Отсталых матросов трое, пятеро — и обчелся. Их втянет, увлечет за собой масса... А те, что сегодня передовики, должны будут подняться на новую, высшую ступень. От хорошего качества к отличному, ко всему тому наилучшему, что может дать человек!» Парамонов пришел к Золотову и рассказал ему о своих замыслах.

Золотов внимательно выслушал его и сказал:

— Все правильно, Николай Николаевич, только правильно оно, так сказать, вообще. Трудно сделать, чтобы все стали отличниками, не бывает так...

— Как не бывает? Уже есть целые заводы, стройки, предприятия, где каждый рабочий — стахановец! Вся страна стремится к этому.

— Не горячитесь, замполит, — сказал Золотов официальным тоном. — Разве я против? Я — за! Но внесем ясность... На заводах, предприятиях — труд творческий, производительный, есть там и материальная заинтересованность, а мы на боевом корабле, где все подчинено воинскому закону. Как командир, я обязан не уговаривать, а приказывать; должен добиваться, чтобы подчиненные ни на шаг не отступали от требований военной присяги и воинских уставов. Люди у нас замечательные, они живут и учатся именно так... Разве этого недостаточно? Вы же предлагаете нечто большее.

— Извините, Терентий Иванович, — перебил Парамонов, — не большее, а как раз то, что подразумевает устав, что соответствует его духу. «Добросовестно изучать военно-морское дело. Образцово выполнять воинские приемы» — сказано в уставе. Разве это не значит, в конечном счете, добиваться того, о чем говорю я?

Золотов подумал немного и ответил:

— Да, вы правы... Но все равно этого я не могу приказать. Это придет само собой, когда настанет время. Вы как политработник можете, конечно, и пометчать. Не спорю, приятно и не грешно пометчать о празднике. Но дело у нас нынче конкретное, будничное: добиться, чтобы плохих матросов не было, неудовлетворительные оценки изжить. Сделаем его, и будем пока довольны. Что же до того, чтобы весь экипаж стал отличным, — тут Золотов пожал плечами, — я думаю, это пустое прожектерство. На

«Державном», как и на всех других кораблях соединения, люди по-разному относятся к службе. Одни хорошо, другие хуже. Это естественно... Так было всегда, так будет еще долго, потому что уровень сознательности людей различный.

В тот день Парамонов ушел от Золотова глубоко расстроенный и смущенный. Он чувствовал свою правоту, чувствовал сердцем и в то же время не находил нужных слов, чтобы опровергнуть такие спокойные, уверенные доводы Золотова.

Случилось так, что на следующее утро замполиту прибыла телеграмма: «Приезжай немедленно, боюсь. Жена». И хотя он понимал, что, по всей вероятности, телеграмма — только следствие мнительности беременной женщины, тревога охватила и его самого.

Через неделю Парамонов был в Красноярске. Жена благополучно родила двух сыновей-близнецов. Он самозабвенно за ней ухаживал. Потом отпуск кончился, но жена решила остаться у родителей до осени.

В дни отпуска Парамонов не забывал о своем разговоре с Золотовым и по дороге в Белые Скалы внутренне готовился к бою. Решение было принято твердое: он убедит Золотова и словом и делом, а если командир все же не пойдет ему навстречу (об этом думать не хотелось) — что ж, тогда придется обращаться за помощью к начальнику политотдела.

«Почему Золотова сняли? Сняли или выдвинули? Ну, об этом узнаю позже. А вот как посмотрит на мою идею новый командир?»

— Гордитесь, небось, сыновьями, Николай Николаевич? Экие бутузы! — перебил Высотин мысли Парамонова. Он рассматривал стоявшую на письменном столе фотографию, привезенную Парамоновым из отпуска: муж и жена, оба веселые, улыбающиеся, у каждого на руках по ребенку.

— Горжусь, конечно! А у вас тоже есть такие?

— Будут, Николай Николаевич, возможно, будут, когда женюсь... Но пока, знаете, я хотел бы поговорить с вами о другой, о корабельной семье.

Голос Высотина прозвучал несколько глуховато. Парамонов понял, что на душе командира неспокойно.

— Так вот, Николай Николаевич, я хотел бы рассказать вам о своих впечатлениях — о людях, о корабле... — продолжал Высотин, садясь рядом с замполитом.

Было что-то располагающее к доверию в том, как слушал Парамонов, подперев голову рукой, смотря прямо в глаза собеседнику. И Высотин, начавший несколько сухо, постепенно, сам того не замечая, стал говорить так, будто говорил он с давно знакомым, близким человеком.

Парамонов слушал внимательно. Никогда еще не представлялась ему общая картина службы на «Державном» с такой ясностью, как сейчас. У нового командира оказался острый глаз офицера-руководителя. Он видел серьезные упущения там, где другие видели только следование укоренившейся привычке, он подмечал слабости людей с уверенностью опытного психолога...

— Превосходно знает службу старший помощник, но действует, мне порой кажется, не как человек, а как машина. Все у него по полочкам разложено — здесь матрос, здесь старшина, здесь офицер, тут поощрение, тут взыскание — сам форму, как броню, носит и на других

смотрит так, будто они в броне. Спроси у него, например, что у бодмана на сердце, чем увлекаются командиры боевых частей в свободное время — Бипарисов, знаете, даже удивится такому вопросу.

Или вот возьмите Озерова. Молодой, старательный, работу любит — лежит у меня к нему душа. Но ведь не знает он, за что ухватиться. Оставьте его на самого себя хоть неделю, и между боевой подготовкой и партийной работой полный разнбой пойдет... А наша молодежь? — Высотин заговорил о незрелости Гаранина, об узости интересов фельдшера Плакуши.

«И все-таки чего-то ему нехватает, — продолжал слушать, думал Парамонов, — он хочет уничтожить один, другой, третий недостаток, а надо бы найти основу для уничтожения всех».

Когда Высотин закончил и откинулся на спинку кресла, Парамонов сказал:

— Позвольте теперь мне, Андрей Константинович, рассказать вам одну историю. — Он сощурил глаза. — Это, знаете, история про людей, которые умеют смотреть.

— Уж не притча ли? — улыбнулся Высотин.

— На притчи я не мастак. Сама жизнь многое под-
сказывает..

— Что ж, я слушаю, — сказал Высотин.

— Было это в июле сорок второго года, — начал Парамонов, — в Сталинграде. Я ведь тамошний житель, служил на Волжской флотилии. Квартиру хорошую на Ленинской улице имел. Ну вот утром по какому-то делу на завод — на «Баррикады» ушел. А тут как раз днем «юнкеры» налетели. Первый раз массированно бомбили город. В общем, возвращаюсь я к вечеру — и, верите, как сейчас вижу, осталась от моего дома одна декорация: крышу сорвало, фасад обвалился. Смотри, любуйся, чем квартиры обставлены. Три стены еще, правда, стоят, да тоже под ветром шатаются. А в небе снова «юнкеры» гудят. Стою я, настроение у меня, сами понимаете, какое — можно хуже, да некуда. И вот подходит ко мне старичок, такой аккуратный, профессорского вида, и спрашивает: «Ваш, что ли, дом?» — «Какой там дом, отвечаю, был дом, а теперь одни камни остались».

А старик говорит: «Смотреть не умеете, товарищ военный, — и на развалины рукой показывает. — Вот вы здесь только камни видите, а я вижу, как из этих камней новый дом отстроят и люди заживут в нем счастливо. Так-то».

И, правду скажу, только плечами пожал. Грешен: подумал, не с ума ли старик сошел?

Парамонов посмотрел на выражавшее нетерпение лицо Высотина и продолжал:

— А вот в прошлом году летом мне снова случилось быть в Сталинграде. Пешком с вокзала пошел, смотрел, как заново город строится, яну, и добрал до знакомой улицы. Вижу, один пустырь, другой, рабочие кирпич укладывают, балки несут, и, представьте, на месте моего дома новый стоит, правда деревянный, но двухэтажный. И так я этому обрадовался, что показался он мне красивым и навечно поставленным. Вспомнил я прошлое, войну вспомнил. «Прав же, думаю, был тот старик».

А тут как раз ко мне подходит этакий шпингалет, лет четырнадцати, весь глиной и мелом перемазанный, чтобы понимали, что рабочий человек. «Вы кого ищете?» —

спрашивает: «Никого, отвечаю, не ищу, а смотрю и радуюсь. Дом-то хорош!»

А парнишка как засмеется: «Это ж барак, разве ему долго стоять?! Вот через год приходите — мы здесь такой домище в пять этажей отгрохаем! Вот это да!»

— Вот, собственно, и все, — закончил Парамонов.

— Интересно, — сказал Высотин, — но...

— Не только интересно, Андрей Константинович, — вставил Парамонов, — но прежде всего, я считаю, поучительно. Вы вот очень глубоко и метко охарактеризовали положение на «Державном»; кажется, ни одного недостатка не пропустили. Это хорошо. А теперь давайте заглянем в будущее, посмотрим, каким должен быть и будет «Державный». Если правильно увидим это будущее, тогда пойдем, за что нам в настоящем ухватиться, на что опереться, вокруг чего всех людей объединить. И настроение у нас гораздо лучше будет. Согласны, заглянем в будущее?

— Что ж, заглянем. — Высотин улыбнулся несколько недоверчиво.

— Каким же должен быть «Державный» завтра?

— Каким? Передовым, образцовым кораблем, конечно, — ответил Высотин.

— А что значит — образцовым? Это значит, — медленно, будто взвешивая слова, сказал Парамонов, — чтобы люди на нем служили образцовые. Каждый матрос — образцовый во всем. И требование теперь такое к каждому — образцовость.

Высотин задумался.

— Это, конечно, верно. Но в общей форме оно ясно всем. В общей форме... — повторил он.

— Нет, в конкретной форме, хоть и не все сразу, — твердо сказал Парамонов. — Вы, вероятно, не раз задумывались над тем, к чему стремиться, чего хочет весь советский народ, какие требования ставит он теперь перед каждым коллективом, перед каждым человеком. А скажите, пробовали ли вы с этой точки зрения подойти к нашим корабельным делам? Помните, чему учит нас товарищ Сталин: правильно руководить — это означает найти правильное решение вопроса, учитывая опыт масс; организовать исполнение правильного решения, опираясь на прямую помощь и поддержку со стороны масс; организовать проверку исполнения этого решения, чего опять-таки невозможно сделать без прямой помощи масс.

Парамонов немного помолчал.

— Я считаю, — продолжал он, — что исправление недисциплинированных, отсталых матросов, которых у нас совсем немного, нельзя больше считать единственной и даже основной задачей. До сих пор это приводило к тому, что люди, служившие ни так, ни сяк, «троечники» эти самые, чувствовали себя слишком спокойно. Наша главная цель, как я ее понимаю, должна быть в том, чтобы добиться у всей команды такого настроения: «Раз не служишь отлично, значит, отстаешь».

— Вы думаете, это нам удастся? Отличников на «Державном» пока еще немного, — сказал Высотин.

— Да, но это самые лучшие, самые авторитетные люди. Они нам помогут поднять и сплотить воедино всех. Я убежден, товарищ командир, мы стоим сейчас на пороге правильного решения.

У многих людей впечатления детства оставляют в душе незаглаженный след, а идеалы, созданные в годы отрочества, сохраняются и в зрелом возрасте. Хорошо и легко, если эти идеалы близки тому, чего требует жизнь. Но ведь так бывает еще не всегда. И много мужества надо порой человеку, чтобы во имя живой жизни отмести начисто воспоминания и мечты, ставшие трухой. И это тоже еще не все умеют.

Отец Кипарисова был кадровым офицером русского флота. Участник трагических Цусимских событий, он еще в 1905 году разуверился в монархии. Хотел уйти в отставку, но потом решил, что недостаточно богат для этого. Служил аккуратно, позволяя себе либеральные вольности в разговорах в кают-компаниях, но избегая всего, что могло скомпрометировать его в глазах правительства всерьез. В 1917 году он колебался. В 1918 перешел на сторону революции, стал ее честным военспецом. В 1923 году Аркадий Борисович Кипарисов умер. Его сыну Ипполиту было всего два года.

Все, что слышал о своем отце Ипполит Аркадьевич от матери, было окутано туманом ее наивно-восторженной любви к покойному мужу. Воспитанница института благородных девиц, в трудные годы специализировавшаяся на переводах иностранной литературы, она и ныне жила в каком-то книжном и наполовину выдуманном ею мире, в котором причудливо смешивались черты былого дворянского Петербурга и нынешнего Ленинграда, и даже образ мужа воспринимался ею сквозь призму старинных романов. В ее представлении робкий либерализм Аркадия Борисовича был смелым служением высоким идеалам, переход его на сторону революции — очистительной жертвой. В том же духе был выдержан и офицерский кодекс чести, который она стремилась внушить сыну.

Ипполит Кипарисов в отличие от матери вырос человеком холодным и рассудительным. Да это, пожалуй, и не удивительно. Жизнь разносила в щепы иллюзорный мир его матери. Воспринимать без иронии все, о чем она говорила, просто нельзя было. И все же многое в ее словах импонировало ему и жило в нем, хотя и перекроенное на новый лад. В школе, а затем в Военно-морском училище Ипполит Аркадьевич почти ничем не отличался от других, и его взгляды, казалось, ничем не отличались от взглядов других советских людей. Его порой поругивали за неспособность к общественной работе, но тут же хвалили за напористость и целеустремленность в учебе. Товарищи, бывало, пошменывались над склонностью Кипарисова к позерству, но восхищались его выдержкой. Сам Кипарисов считал свою жизнь вполне обычной. И если бы его спросили, что в ней главное, он ответил бы так же, как любой из его товарищей, искренне и уверенно: «Служение Родине!» Он и сам, пожалуй, не замечал, как, постепенно видоизменившись, внушенные матерью понятия о чести окрашивали те твердые правила жизни, которые он выработал для себя.

Солнце высоко стояло в чистом небе. Издали доносился равномерный гул прибоя. Кипарисов шел по улице, размышляя о Высотине.

Всех офицеров Кипарисов подразделял на три категории. К первой относились «прирожденные моряки» — люди, влюбленные в море, в свой корабль, живущие по всем правилам писаных и неписаных флотских традиций. Эти люди, безудержно смелые, ценящие превыше всего морскую лихость и выучку, возвышались на голову над всеми остальными. Во вторую — в категорию «слуга» — попадали офицеры, честно тянущие служебную лямку, знающие свое дело, но лишенные «искры божьей». Если для первых корабль был родным домом, то для вторых — только «пловучим учреждением». Третью категорию составляли «салаги» — новички, недавно пришедшие на флот.

Люди первой категории, к которым, конечно, Кипарисов причислял и себя, должны были относиться друг к другу с особым уважением и дружеским расположением, помня всегда, что они-то и есть соль флота, взаимно прощая недостатки и подчеркивая достоинства. Отношение к людям второй категории целиком определялось на службе выполнением всех требований устава, а вне службы — холодной и равнодушной вежливостью. Что касается «салаг», то они ничего, кроме пренебрежительного снисхождения, не заслуживали.

Кипарисову трудно было порой определить, к какой категории относится офицер, но как только это было сделано, все остальное шло уже как по маслу.

Светов, например, принадлежал к первой категории, и Кипарисов не уставал им восхищаться; Золотов после некоторых колебаний был отнесен ко второй, Плакуша — к третьей.

Личные качества, не входившие в круг морских доблестей, существенной роли в классификации Кипарисова не играли. И будь в характере Светова множество недостатков, а в характере Плакуши столько же достоинств, это не заставило бы Кипарисова изменить манеру поведения с ними.

Кипарисов, оберегая носки новых ботинок, шел осторожно по мелким камешкам еще не асфальтированного тротуара, направляясь к верфи. Шел и думал о Высотине. Как следовало относиться к нему?

Честно говоря, нельзя было отрицать того, что Высотин обладал многими превосходными качествами: он жил на корабле, отлично знал морское дело, был решителен и умен, на груди у него Золотая Звезда Героя. Чего же более? И все же Кипарисов не чувствовал расположения к Высотину и не мог найти для него места в своей системе. Высотин позволял себе поступки, нарушавшие традиционную с точки зрения Кипарисова офицерскую этику. И, наконец, он подвергал порой сомнению то, что делал сам Кипарисов и что раньше считалось образцовым. «Значит, либо Высотин вовсе не такой уж хороший моряк, как это кажется, либо...»

Показался длинный дощатый забор, огораживавший двор верфи, красное четырехэтажное здание заводоуправления.

Кипарисов присел на скамейку в сквере, положил рядом букет бархатисто-красных оранжерейных роз, добытый им с превеликим трудом, снял фуражку, щелчком сбросил пушинку с рукава тулжурки.

Если ничего непредвиденного не случится, Анна Ивановна должна с минуты на минуту появиться на улице.

Кипарисов хорошо все обдумал. По всем внешним и внутренним данным Анна была для него подходящей парой. Красивая, умная, умеющая обращаться с людьми, она в любом обществе будет привлекать внимание и завоевывать уважение. Она поймет его стремления, и не только поймет, но и поможет добиться успеха. Кипарисов любил предаваться честолюбивым мечтам: в них он уже видел себя командующим соединением, а Анну, ставшую его женой, директором большого завода.

О том, полюбит ли его Анна, он не думал, так как был слишком уверен в себе.

Сегодня, воспользовавшись приятной для него встречей с Анной, Кипарисов решил попутно выполнить неприятное поручение, с которым собственно Высотин и направил его на верфь. Еще при Золотове, по настоянию старшего помощника, на верфи была заказана шляпка такого же образца, как на «Державенном». Теперь он же должен был отменить заказ. Кипарисов еще раз подосадовал на Высотина.

Анна увидела Кипарисова, как только вышла из проходной. Он быстро пересек улицу и, подойдя к ней, сказал:

— Здравствуйте и разрешите мне поздравить вас, Анна Ивановна.

Анна даже немного растерялась. Этот внезапно выросший перед ней малознакомый моряк, с которым она познакомилась на службе и перебросилась несколькими фразами, явился вдруг с букетом цветов, поздравляя ее... Все это показалось Анне смешным и нелепым.

— Здравствуйте, капитан-лейтенант Кипарисов. Так, кажется?

— Да, Кипарисов, Ипполит Аркадьевич. — Он склонился перед ней. — Неужели забыли?

— Нет, помню. — Она протянула ему руку, и он крепко пожал ее. — Но с чем вы меня поздравляете?

— Поздравляю с прошедшим днем рождения. Я ведь помню, во время нашей беседы по поводу заказа «Державного» вы как-то обмолвились об этой дате. Верьте, я обязательно поздравил бы вас вчера, но неожиданно ушел на берег мой командир, а вы ведь знаете — командир и старший помощник не могут покидать борт корабля одновременно. Такова служба...

Кипарисов протягивал ей цветы. Он держался так самоуверенно, будто был ее старым приятелем, будто и в самом деле она должна была ждать его вчера, а он — извиняться, что не мог прийти.

— Любопытно, — сказала насмешливо Анна, — а я и не знала, что день моего рождения для вас такая торжественная дата.

Кипарисову, стоявшему с букетом в протянутой руке, стало не по себе. Он, однако, решил не отступать:

— Примите, прошу вас, этот скромный подарок. Розы вам так к лицу! — Он бросил на нее восхищенный взгляд.

Эта настойчивость не понравилась Анне.

— Я думаю, капитан-лейтенант, они украсят вашу каюту, — сказала она. — А у меня, видите, руки заня-

ты. — Подмышкой у нее был сверток чертежей, в левой руке объемистый коричневый портфель. — И потом, я तोплюсь и, к сожалению, должна распрощаться с вами.

Анна сдерживала себя, она не хотела быть слишком резкой. Среди моряков у нее было много друзей, и она привыкла относиться к людям в военной форме с уважением и доверчивостью.

Кипарисов был достаточно умен, чтобы понять, что избрал неправильный путь. Строгий и насмешливый тон Анны хоть и заставил на мгновение растеряться, но не обидел его. Даже наоборот: сразу выросло уважение к ней. «Я не ошибся, — подумал Кипарисов, — она стоит того, чтобы добиваться ее расположения медленно и упорно». Он решил повернуть разговор.

— Простите, Анна Ивановна, если я вас чем-нибудь обидел, — сказал он очень серьезно, — но я искал повод, чтобы поговорить с вами о важном деле.

— О делах я разговариваю на службе, — сухо ответила она.

— У меня не было никакой возможности вырваться днем, а дело не терпит отлагательств. Разрешите, тем более что нам по пути.

— Вы ведь не знаете, куда я иду.

— Если понадобится, я готов идти хоть на край света — тут до него, кажется, рукой подать, — сдержанно улыбнувшись, пошутил Кипарисов.

— Что ж, — Анна пожала плечами, — я вас внимательно слушаю.

Они пошли к центру города. Анна была уверена, что дела у Кипарисова никакого нет и что сейчас он будет выдумывать какую-нибудь чепуху. Однако Кипарисов сразу же заговорил о шляпке, и Анна, хотя ей трудно было преодолеть неприятное чувство, появившееся в начале разговора, стала внимательно слушать.

— Мы еще, к счастью, не приступили к работе, — сказала она, — и я охотно сниму заказ, нецелесообразность которого пыталась, насколько помню, вам доказывать. Но что заставило вас передумать?

— У нас, видите ли, новый командир, — ответил Кипарисов.

— И его мнение несколько отличается от вашего?

— Да, к сожалению.

— А я рада, что мнение Высотина совпало с моим.

— Вы его знаете?

— Он мой старый друг.

Кипарисов прикусил губу, однако тут же оправился и, как бы для того чтобы доказать свою правоту, стал рассказывать о шляпочных соревнованиях, в которых ему пришлось участвовать.

— Шляпка — это визитная карточка корабля, — говорил он, — поэтому она должна вызывать восхищение изяществом своих линий, и легкостью, и быстротой.

Анне не хотелось спорить. Она промолчала. А Кипарисов уже перешел к воспоминаниям о своем заграничном плавании в военные годы. Стараясь во что бы то ни стало заинтересовать Анну, он нанизывал один на другой смешные эпизоды, говорил о виденном им за границей глупейшем кинофильме, о напоминающей какофонию музыки «буги-вуги», преследовавшей его целые дни.

Кипарисов рассказывал хорошо, мелкими, но точными штрихами рисуя картину разложения буржуазной культуры. Его было интересно слушать.

Но вот показался, наконец, дом, где находится детский сад.

— До свиданья. Я пришла. — Анна отворила калитку.

Она задержалась во дворе на несколько минут, разговаривая с Наташей, а Сережа выбежал на улицу. Он запрыгал по тротуару на одной ноге, потом попытался поймать вертевшегося у его ног воробышка, но тут какой-то моряк подхватил его на руки.

Впрочем, Сережу это не смутило. Моряков он знал хорошо и привык к ним. Вытянув шею и шевеля губами, он подсчитывал звездочки на погонах и сказал уверенно:

— Капитан-лейтенант, дайте кортик!

...Когда Анна вышла на улицу, она увидела Кипарисова, который, присев на корточки, надевал пояс с кортиком на ее сына.

Сережа стоял, задрал голову и выставив ногу вперед, и сколько же гордой важности было на ребячьем лице!

— Простите, что не ушел. Восхищен был этим очаровательным малышом.

— Сережа! — не отвечая Кипарисову, обlickнула сына Анна.

— Ваш сын? — спросил Кипарисов, делая вид, будто не догадался об этом раньше.

— Сережа, отдай дяде кортик.

Мальчик отрицательно замотал головой.

— Не дам, он сам мне дал поиграть. Не дам! — Лицо у него было такое — вот-вот расплечется.

Кипарисов снова подхватил его на руки.

— Разрешите мне донести его до вашего дома.

Анна невольно смягчилась. Она, как и всякая мать, могла простить многое за внимание к своему ребенку.

— Хорошо. Здесь недалеко, — сказала она и, поглядывая на Кипарисова, подумала: «Слишком уж демонстративно показывает он свое восхищение Сережей».

Кипарисов снова заговорил, на этот раз о своей любви к морю.

— ...Красота морской службы, красота военной одежды, красота корабля, высшее совершенство его форм, лихие, как ветер, и в то же время послушные вашей воле матросы, командный мостик, с которого ты смотришь, как альпинист, достигший вершины Эльбруса. А океан? Командовать на нем эскадрой — это ведь чувствовать себя хозяином океана. У каждого хорошего офицера в перспективе трезубец Нептуна...

«Пышно, слишком пышно, — думала, слушая Кипарисова, Анна, — и опять красуется».

Сереже меж тем, видимо, надоел кортик и наскучил непонятный для него разговор. Он сосредоточенно расстегивал пояс.

— Пусти, дядя! — И едва только Кипарисов опустил мальчика на землю, как тот стремглав бросился к крыльцу и затормошил гревшегося там на солнце большого, ленивого кота.

— Ну, вот и дом, — сказала Анна.

— Разрешите к вам заходить? — спросил Кипарисов. И, натолкнувшись на ее строгий взгляд, поспешно добавил: — На верфь, по нашим плюточным делам...

Анна кивнула головой и вошла в дом.

Кипарисов, оглянувшись по сторонам, пристроил злополучный букет между железными копыцами калитки и быстро пошел по направлению к бухте. Уходил он всетаки с таким чувством, что первый, пусть не слишком удачный, шаг к сближению с Анной сделан.

Вечером, улегшись в постель, Анна подумала о Кипарисове. Перебрала в памяти все детали их разговора и пришла к заключению: «Позер». Она вспомнила о щегле, влетевшем к ней в окно кабинета. «Вот так же покрасуется мундиром, попрыгает и — фюит! Не завидую женщине, которая его полюбит. Ну да бог с ним».

Мысли Анны как-то сами собой вернулись к Высотину. Она вспомнила, как Наташа сказала ей однажды: «По-моему, есть люди, которые хранят свою любовь бережно, как хрупкую хрустальную вазу». И вдруг, представив себе Высотина, пришедшего к ней с хрупкой хрустальной вазой в руках, улыбнулась.

3

Высотин был профессиональный военный и профессиональный моряк. Смысл своей жизни он видел в службе, и то, что он делал по долгу службы, неизбежно совпадало с его личными желаниями. Грани между одним и другим не было, во всяком случае он не мог бы найти ее сам.

Он любил историю и с увлечением, исключительно для себя, для отдыха, изучал эпоху Петра Первого. Проходило, однако, некоторое время, и в докладе о боевых традициях, который он делал уже по обязанности, появлялся интересный раздел о Гангутском сражении.

Днем он решал практические вопросы, связанные с воспитанием молодых офицеров, а вечером его тянуло перечитать Суворова, Макарова или полистать сочинения Ушинского и Песталоцци.

Утверждая план боевой подготовки «Державного», он невольно задумывался над большими вопросами современного военного искусства и снова обращался к книгам. Читая о морских боях минувшей войны, Высотин рисовал для себя схемы, решал, как бы он сам поступил в том или другом случае, командуя кораблем или соединением кораблей, случись в будущем подобная операция. В связи с этим он просматривал технические и военные журналы последних лет, новейшие лоции, разбирал возможные варианты взаимодействия с сухопутными силами... В эти часы он чувствовал себя ответственным за флот в целом и в то же время за судьбы всех его людей, за каждый боевой пост — мельчайшую клеточку в его живом организме. И мысли его снова возвращались к «Державному».

Учеба была для Высотина и трудом, и отдыхом, и творческой потребностью. От книги к книге, казалось ему, он поднимается по ступеням к далекой вершине.

...Разговор с Парамоновым взволновал Высотина. Замполит видел за обычными, примелькавшимися словами «образцовый корабль» что-то новое, живое, разви-

вающееся, чего не замечал он. Как всегда в трудные минуты, Высотин обратился к сокровищнице мудрости, к книгам, в которых он привык находить ответы, уничтожающие его сомнения. Он раскрыл сборник, в котором были помещены высказывания Ленина и Сталина по вопросам воинского воспитания, и сразу же его внимание привлекла опубликованная там короткая запись в судовом журнале крейсера «Червона Украина», сделанная товарищем Сталиным в 1929 году:

«Был на крейсере «Червона Украина». Присутствовал на вечере самодеятельности.

Общее впечатление: замечательные люди, смелые, культурные товарищи, готовые на все ради нашего общего дела.

Приятно иметь дело с такими товарищами. Приятно бороться с врагами в рядах таких бойцов. С такими товарищами можно победить весь мир эксплуататоров и угнетателей».

«Как товарищ Сталин высоко оценил моряков! — думал Высотин. — Умеем ли мы, командиры, вот так, по-сталински, ценить наших матросов, все ли делаем, чтобы все мы всегда были достойны такой похвалы?» Высотин стал перебирать в памяти все свои дела изо дня в день, задавая себе вопрос: «А не мог ли я сделать лучше?»

Ему захотелось с кем-нибудь посоветоваться. «Парамонов? Нет, он только на-днях прибыл. Да с ним и был уже большой разговор. Кипарисов? А почему бы и не он?» Странно было, что старший помощник, который должен быть его правой рукой, до сих пор стоял от него дальше, чем все другие офицеры. «Может быть, здесь я и найду с ним общий язык. Он ведь любит «Державный», гордится им».

Высотин послал за старшим помощником. Ожидая его прихода, думал о том, почему возник с первого дня ледок в их отношениях. По привычке стал искать ошибки прежде всего в собственных поступках и пришел к выводу: «Не берег я его самолюбия. Он ведь очень гордый, привык считать себя безукоризненным офицером — каково же ему было выслушивать замечания, даже самые правильные... Медленно, спокойно надо его поворачивать», — решил Высотин.

Когда Кипарисов вошел, Высотин усадил его рядом с собой.

— Я просмотрел план боевой подготовки, Ипполит Аркадьевич, — сказал он, — теперь там все в порядке, вы уловили главную мысль и четко ее оформили. Спасибо.

— Я очень рад этому. — Кипарисов поднялся. «Наконец-то похвалили», — подумал он.

— Садитесь, садитесь! — Высотин мягко положил руку ему на плечо. — Нам предстоит длинный разговор.

Кипарисов сдвинул брови и весь подался вперед, показывая, что приготовился внимательно слушать.

— Вы, вероятно, не раз задумывались о будущем нашего корабля, о росте его людей?..

Кипарисов кивнул головой. Правда, все выходящее за рамки непосредственных, повседневных служебных обязанностей обычно не занимало его мыслей. Но в конце концов у него в запасе всегда было достаточно хотя и общих, но бесспорно правильных фраз о дисциплинарной практике, о необходимости своевременно поощрять луч-

ших и наказывать нерадивых матросов. Он их и высказал Высотину.

— Все это так, — согласился Высотин. — Но достаточно ли этого, чтобы, скажем, исправить Стебелева или добиться, чтобы расчет Зеленцова, из года в год выполняющий нормы удовлетворительно, стал стрелять отлично?

Кипарисов поднял правую бровь, отчего левый глаз у него прищурился и лицо приняло самодовольное выражение.

— У каждого человека есть какое-либо врожденное призвание, склонность, — сказал он убежденно, — этим и определяется выбор профессии, любовь к ней... Но на военную службу идут все, и не секрет, что на флоте есть люди, которые, подобно Стебелеву, настоящими моряками никогда не станут, хоть кол им на голове теши. А такие, как Зеленцов, были середняками и останутся середняками.

— А если завтра в бой? Ведь у орудия будет все тот же Зеленцов, а котельным машинистом Стебелев. Ведь именно они, а никто другой.

— Что ж, у противника на кораблях тоже не все врожденные моряки. В среднем же качества русских, советских матросов и офицеров бесспорно выше. Это история уже убедительно доказала.

— В среднем, — повторил Высотин. — Нет, Ипполит Аркадьевич, не в среднем, а у всех и во всем... И не только в истории дело.

— Почему не в истории? — Кипарисов не понял Высотина.

— Потому что нам мало сознания своего превосходства над врагом, нам надо, чтобы это превосходство постоянно увеличивалось, изо дня в день. Понимаете, Ипполит Аркадьевич? — Высотин поднялся и заговорил горячо, смотря в глаза Кипарисову: — Никуда не годятся эти «теории» о прирожденных и неприрожденных воинах. Советская военная наука подняла на небывалую высоту не только человека-одиночку, полководца, офицера-организатора, а всех, всю массу солдат, матросов, бойцов.

Кипарисов чувствовал себя неловко под взглядом Высотина. Поведение командира казалось ему странным, разговор — ненужным. Ему было неприятно сознавать, что командир смотрит на вещи глубже, чем он. Теперь, после того как Кипарисов встретился с Анной, это было особенно тяжело. И он не мог удержаться от искушения поддеть Высотина.

— А как же все-таки быть со Стебелевым? Я ограничился выговором за опоздание.

Высотин задумался. Старший помощник не хотел продолжать большого разговора. Что ж, не стоит его принуждать. И так есть о чем ему поразмыслить на досуге.

— Стебелева зачислите в боцманскую команду, — высказал Высотин давно продуманное решение.

— В боцманскую? Почему? — спросил Кипарисов.

— Во-первых, потому, что сейчас я еще не могу доверить ему машины; во-вторых, потому, что боцман самый опытный и терпеливый воспитатель на корабле; в-третьих, потому, что в боцманской команде есть вакансия; в-четвертых, наконец, потому, что, я думаю, Стебелев все-таки любит свою профессию и, значит, приложит все усилия, чтобы заслужить право вернуться к ней...

Когда Кипарисов ушел, Высотин вызвал Шермату Ташыбаева. Он давно уже собирался поговорить с этим комсомольцем, пользовавшимся большим уважением у всего экипажа.

— Я слышал, вы работаете над изобретением, которым заинтересовались на верфи? — спросил Высотин, когда Ташыбаев вошел в каюту.

— Это не изобретение, товарищ командир, — поправил смутившийся Шермат, — а рационализаторское предложение, и то не совсем законченное...

— Это не беда... Мне, например, главный инженер завода говорил о ташыбаевском принципе расположения водоотливных средств на новых кораблях. Приятно это звучит: «ташыбаевский принцип», — правда ведь?

Ташыбаев покраснел.

— Приятно, товарищ капитан третьего ранга, — признался он, — но только ведь я многого не учел. Образования пока не хватает.

— Образования добьетесь... Учитесь и, кажется, неплохо. — Высотин улыбнулся. — Вы советовались с командиром электромеханической боевой части? Он, наверное, кое-что подсказал вам?

— Нет... — Ташыбаев запылулся. — Видите ли, товарищ командир, я думал, что раз мое предложение касается строительства кораблей торгового флота... А потом инженер капитан-лейтенант Махотин всегда так занят... Я не осмелился...

— Напрасно, — Высотин осуждающе покачал головой. «Неважная еще слайка между людьми на «Державном». — Вот что, Ташыбаев, покажите мне свой проект. Я хоть не инженер, но, может быть, тоже кое-чем смогу вам помочь.

— Сейчас принести? — спросил Ташыбаев обрадованно.

— Сейчас! — ответил Высотин и, помедлив, добавил: — Пригласите ко мне офицера Махотина. Давайте уж втроем голову ломать...

Когда Ташыбаев вернулся и стал раскладывать на столе схемы, а следом за ним вошел Махотин, Высотин достал из шкафа книги по судостроению, и они трое — два офицера и матрос — склонились над столом.

4

Головенченко перевидал на своем веку всяких матросов. Встречал и таких, как Стебелев, — хмурых, озлобленных, упрямых. С таким матросом надо много терпения, настойчивости, а главное — душевности. «Сердце у человека как подсолнух: всегда до солнца повертается», — частенько говаривал главный старшина. Он не понимал только, зачем котельного машиниста, специалиста третьего класса, направили к нему. «Он ведь примет назначение в боцманскую команду, как наказание». Боцман высказал это соображение Кипарисову, на что старший помощник ответил:

— Наш командир воспитывает по Макаренко, понимают?

Боцман о Макаренко слышал, даже читал «Педагогическую поэму», но связи между ней и стебелевским назначением уловить не мог.

Вопреки ожиданиям боцмана, Стебелев отнесся к своему назначению совершенно равнодушно. «Где бы ни служить, лишь бы время шло», — примерно так, судя по выражению лица матроса, заключил Головенченко.

Вот и сейчас сидит Стебелев рядом с Донцовым, лениво перебирает пальцами пеньку, то и дело поглядывая на берег: «А что там сейчас на берегу интересного? Пыль, жара, копать».

Боцман меж тем ведет беседу:

— Морская наука дотошная. Наше, к примеру, боцманское дело историю наибольшую имеет. При адмиралах Нахимове или Ушакове механиков, котельных машинистов вовсе не было, а первый человек на всю команду был боцман. Вот вы маты плетете — как пряди завиваете? Одну за другой рядами вправо и влево. А есть еще другой способ завить — наискосок. Мелочь, скажете, а моряк всякую мелочь знать должен. — Боцман подумал немного и прибавил: — Сам адмирал Макаров на что ученый был человек, а маты, может, как Стебелев сейчас, учился плести.

На хмуром лице Стебелева мелькнула улыбка.

— Что-то я не слыхал, товарищ главный старшина, чтобы Макаров в боцманской команде служил, — сказал Донцов.

— Не слыхал? Стебелев! — вдруг перебил себя боцман. — Вам мушкетель дан не для того, чтобы на палубе без дела лежал.

Боцман строго поглядел на Стебелева и закончил:

— Ну, там служил Макаров или не служил... Это я вам так, к примеру сказал. А вот это уже точно, — тут боцман солидно кашлянул: — Матрос, который всю науку морскую знать будет, может, и сам боцманом станет...

Никто из матросов не подумал бы посмеяться над профессиональной гордостью боцмана. Кто еще из боцманов пользовался таким уважением в соединении, как он?! С ним командир «Державенного», на что уж гордый человек, по такелажным делам не стеснялся советоваться. В порту, на складах называли боцмана все по имени и отчеству. Как бы ни были заняты интенданты, для Головенченко у них всегда находилось время, а боцманы с других кораблей всюду пропускали его без очереди.

Даже усы, солидная комплекция, манера держаться — все у него было именно такое, какое должно быть у образованного представителя боцманской профессии.

Когда контр-адмирал Серов впервые прибыл на корабль, а Головенченко, будучи в клубике, подал команду «смирно» и отрапортовал, контр-адмирал сказал с улыбкой невольного восхищения: «Ну, и голос у вас — настоящий боцманский!» Головенченко не растерялся и браво ответил: «Так точно, боцманский и есть!»

...Бросив внимательный взгляд на Стебелева и удивившись в том, что матрос уже увлекся работой, Головенченко поднялся.

Приближалось время, когда нужно было красить погреба, цистерны, переборки. У боцмана в кармане лежало требование в порт на краску. Его должен был подписать старший помощник. Однако Кипарисов был на берегу, и боцман направился прямо к Высотину.

— Что у вас ко мне, боцман? — спросил Высотин.

Головенченко протянул бланк.

— Надо вот подписать, печать поставить...

Высотин взял бумагу. Еще принимая корабль, он обнаружил, что шкиперская кладовая до отказа набита бухтами тросов, запасными комплектами сигнальных флагов и, наконец, банками с краской, которой с избытком хватило бы на двухлетнюю кампанию. Он тогда не стал доискиваться, почему сделаны такие запасы, но сейчас не удержался:

— Разве на «Державном» краска уже вся вышла, боцман? — спросил Высотин.

— Так не то чтоб вышла, — замылся Головенченко, — ну, а раз положено... В общем, товарищ капитан третьего ранга, в порту можно получить, дадут, — закончил он доверительно.

— Можно, говорите?

— Можно, — подтвердил боцман и с гордостью добавил: — Мне интенданты доверяют...

— Допустим, — сказал Высотин, — а что будете делать с этой краской?

— В хозяйстве всегда сгодится, — ответил боцман и хитровато блеснул глазами. — Всякий зверь к себе гребет, только курица от себя... — закончил он половицей.

Высотин пристально посмотрел на Головенченко. «Греби к себе, гащи в свой угол, — с досадой думал он о словах Головенченко. — Честнейший ведь человек боцман, а копошится в нем собственник...» Высотин взял карандаш и медленно перечеркнул бланк боцманского требования.

— Нехорошо, боцман, очень плохо. Вы по сути дела обманываете государство... Сегодня же сдадите в порт все излишки.

Головенченко изменился в лице, шея у него побарщела. Он не понимал, о каком обмане государства может идти речь, — разве «Державный» не государственный корабль? Легко сказать: «Сдай излишки». Головенченко копил имущество годами, чтобы быть гарантированным от перебоев в снабжении. Правда, их в последнее время не стало, но, как говорится, запас кармана не трет. Обида поднималась в душе боцмана.

— Не для себя — для корабля стараюсь... — вырвалось у него.

Высотин, нахмурившись, прервал боцмана:

— Ступайте выполнять приказание!

Головенченко, ни на кого не глядя, прошел мимо матросов, занятых плетением матов, и вскоре снова появился с метром в руках. Что-то бурча себе под нос, он стал самолично измерять площадь окраски. На вопросы Головенченко не отвечал, словно набрал в рот воды.

Никто так бы и не узнал, что произошло, если бы не Вася Мошкин. Вестовой, проходя мимо каюты командира, случайно услышал конец разговора между Высотиным и Головенченко. Услышанное так поразило Мошкина, что он, вместо того чтобы идти на камбуз, прибежал к Донцову и рассказал, за что боцман получил «фитиль». Донцов пожал плечами, а Стебелев, в душе которого пробудилось сочувствие к Головенченко, пробурчал:

— А знает ли командир, что в порту, когда тебе нужно дозарезу, говорят: «Нет на складе»?

— А когда спросишь два ящика, дают один, — охотно подхватил Мошкин.

Неизвестно, кто еще высказался бы по столь неясному вопросу, как вдруг раздалось недовольное боцманское: «Кхм!» — и Головенченко, выступив вперед, сердито спросил у Стебелева:

— Вы в порту бывали? Нет! Чья чужие слова повторяете?

А на Мошкина Головенченко так посмотрел, что тот, словно по большому сбору, взлетел по трапу единым махом, даже каблуки не цокнули.

...После обеда от борта «Державного» отвалили две тяжело нагруженные шлюпки со шкиперским имуществом. Лицо у Головенченко было такое, словно он хоронил близкого ему человека.

5

Все эти дни Золотов работал в штабе много и напряженно. Серов давал ему одно поручение за другим. Однажды он сказал:

— Вы давно не были на «Державном», — поезжайте, посмотрите, как у них идут дела...

На другой день рано утром Золотов отправился к Светову.

«Державный» стоял на рейде.

Шлюпка, на которой шел Золотов, приближалась к кораблю перед самым подъемом флага. На озаренной утренним солнцем палубе выстроилась команда. С моря, строй казался высеченным из одного огромного куска белого с голубой полосой мрамора. Рейд замер в напряженной тишине. На флагманском корабле скользнул вниз поднятый ранее «до места» флаг «исполнительный», и тотчас же на «Державном» прозвучала поданная высоким и торжественным голосом команда: «Флаг и гюйс поднять!»

Сигнальщики, стоящие на фалах, стали поднимать флаг и гюйс. Раздался бой склянок, заиграли горнисты; командиры вахтенных постов засвистали дудками. Военно-морской флаг с оранжево-черной гвардейской лентой, раздуваемый ветром, поднялся на «Державном» — символ чести, гордости и славы — никогда не спускавшийся перед врагом флаг!

Какой моряк не ценит этой торжественной минуты, кто из моряков не переживает этих волнующих чувств заново каждый день!

Церемония поднятия флага кончилась.

Старшина шлюпки, на которой находился Золотов, вытянул горизонтально левую руку, что означало: «Имею на борту офицера».

Золотов поднялся по трапу. Светов уже ждал его и сразу пригласил в каюту. Он встретил Золотова несколько настороженно, не хотел начинать разговор. Пусть говорит Золотов: по первым фразам он определит, прибыл ли тот как представитель штаба или просто как гость, как Терентий Иванович.

«Определенность в отношениях прежде всего» — таково было правило Светова.

Золотов собирался провести на корабле весь день, посмотреть, поговорить с людьми, но не официально.

Удобней было бы начать с очень короткой дружеской беседы со Световым, а потом, так чтобы получилось само собой, пройти без сопровождающих по кораблю. Молчание Светова тяготило его. Но и он не знал, с чего начать.

— Ну, каковы успехи на «Дерзновенном», Игорь Николаевич? — произнес он, наконец, вертевшись на языке слова.

— Отлично, Терентий Иванович. Чего же лучше? К плаванию готовы. На стрельбах лицом в грязь не ударили... — Светов перечислял прошлые и будущие успехи с одинаковой уверенностью. — А с чем начальство пришло? Проверять будете или просто соскучились, в штабе сидючи?

— Просто соскучился!

— Ну, тогда все в порядке! — Светов весело улыбнулся. — Пожалуй, перекусим. А потом, если хотите, под парусами на шлюпке походим. Погода подходящая!

— Спасибо, Игорь Николаевич, я уже завтракал, и потом я бы предпочел походить по кораблю. Может быть, найду новые, еще не обнаруженные крупницы гвардейского опыта.

— Хорошо! Покажу вам все наши золотые россыпи, — с готовностью согласился Светов.

Однако именно этого Золотов хотел избежать. Ходить вместе со Световым имело бы смысл, если бы он собирался писать восторженные репортажи о «Дерзновенном» в связи с какой-нибудь юбилейной датой. Игорь Николаевич был мастер показать товар лицом. Он говорил бы много и убедительно об образцовой организации службы, заслугах экипажа корабля. И, словно для иллюстрации его мыслей, подходили бы и подчеркнута четко доклады командиры боевых частей. И, подражая адмиралам парусного флота, Светов вытаскивал бы белоснежный носовой платок, провел им по крышке люка и с удовольствием отметил бы, что нет на нем ни единой пылинки.

— Нет, Игорь Николаевич, я не хотел бы отрывать вас от служебных обязанностей. И, кроме того, знаете, человек вы стремительный, а я ведь тугодум. Если не возражаете, я предпочел бы походить один.

— Что ж, как хотите, товарищ капитан второго ранга, — сказал, подчеркивая официальность обращения, Светов. «Значит, все-таки проверять, выискивать грехи пришел...» — подумал он с неудовольствием.

Золотов, выйдя из командирской каюты, отправился сразу же в машинное отделение. Был час осмотра, проворачивания механизмов и ухода за материальной частью. Опытный офицер знает, как много можно узнать о службе на корабле в это время.

Осмотр и проворачивание механизмов начинаются сразу же после подъема флага. Отводится на это 20—25 минут ежедневно. Здесь нет строгих нормативов, в которые надо уложиться, как, например, в учебных стрельбах, нет определенных заданий и сроков, с которыми связан ремонт, нет обязательного материала, который надо усвоить, как в часы политзанятий.

Старшина группы решает, на что следует обратить внимание, опытным глазом специалиста стремится определить те, по большей части почти незаметные, недостатки, которые, однако, грозят порой большими неприятностями в трудных и длительных походах.

Для моряков добросовестных и осторожных осмотр и проворачивание механизмов — дело значительное и серьезное. Они действуют, как опытные врачи, которые, осматривая даже здорового человека, стремятся определить характерные особенности его организма, чтобы предотвратить заболевания в будущем. Для людей халатных этот осмотр техники — формальность.

Ни того, ни другого не уловил Золотов в группе котельных машинистов на «Дерзновенном».

Все пятнадцать минут, которые он провел рядом с ними, матросы смазывали и чистили механизмы, надраивали и без того блестящие медные поручни у трапа.

— Уверены, что все в порядке? — спросил Золотов у старшины группы.

— У гвардейцев всегда все в порядке, товарищ капитан второго ранга, — ответил старшина и добавил, широко улыбаясь: — У нас, если у кого не в порядке, так только держись! Командир таких на «Дерзновенном» не терпит.

Золотов, не сказав ни слова, отошел. Это был знакомый ему световский стиль, усвоенный почти всем экипажем корабля: с чужими, — а такими считались все, не служащие непосредственно на «Дерзновенном», — следовало разговаривать только с чувством уверенности и прервосходства.

Золотов побывал на занятиях по боевой подготовке, понаблюдал за корабельными работами, беседовал со штурманом, почти экзаменовал артиллеристов. Он ловил себя на том, что не может поверить, будто на «Дерзновенном» все обстоит благополучно. Однако факты опровергали его внутреннее чувство. На занятиях матросы отвечали четко, у всех были образцово составленные конспекты; артиллеристы действовали со слаженностью и точностью хорошо отрегулированных автоматов. При всем желании придаться было не к чему.

«Собственно говоря, почему у меня должно быть желание придаться? Нет ли здесь просто мелкой зависти?» — подумал Золотов. За последнее время ему нередко случалось жестоко осуждать себя. Каждый день, с тех пор как он сдал «Державный», был для него днем настоящей, хотя по большей части только внутренней самокритики.

На этот раз, однако, он чувствовал, что ни в чем не может обвинить себя.

Глубоко задумавшись, спускался Золотов по трапу в трюм. В это время на палубе сыграли заходжение. Прибыл кто-то из большого начальства. Пожалуй, следовало представиться, но Золотову хотелось побыть наедине с самим собой. Сегодня снова пришла к нему тоска по морю, тоска по своему кораблю. Проверая «Дерзновенный», он всякий раз думал, как поступил бы сам в том или ином случае, если бы был командиром, и от этого боль становилась все острее. Золотов направился туда, где не было важных механизмов, где редко появлялись даже матросы. Пробираясь в сумерках едва освещенного трюма, он вдруг услышал под ногой странный хлюпающий звук и остановился удивленный. Тяжело наклонившись, он опустил руку. У самой обшивки ладонь погрузилась в грязь.

Когда Золотов вошел в каюту командира, он застал там Звенигорова. Начальник политотдела протянул руку

Терентию Ивановичу, глазами указал на кресло и продолжал говорить, обращаясь к Светову:

— Я просматривал утвержденных вами план массовой работы. Беседовал с замполитом. Характерно, что вы вычеркнули из плана лекцию «О новейших достижениях советского кораблестроения», уменьшили количество докладов об успехах советского народа в выполнении плана послевоенной пятилетки, о международном положении... Почему вы это сделали?

— Но я за этот счет увеличил количество дополнительных занятий по изучению материальной части для матросов, по тактике — для офицеров. — Лицо Светова выражало искреннее недоумение. — У нас не университет. Вы ведь сами все время настаиваете на том, что вся политическая работа должна быть направлена на решение задач боевой подготовки.

— Боевой и политической, — поправил Звенигоров.

— Я обмолвился, — сказал Светов.

— Не думаю. — Начальник политотдела внимательно посмотрел на Светова. — Не сознательно, но все-таки вы противопоставляете одно другому. Не хотите понять, что чем выше и шире будет политический и общекультурный кругозор ваших матросов, тем выше будет и боеготовность «Дерзновенного». Вы говорите: «Не университет». Уверю вас, что служба на флоте — золотые годы для нашей молодежи — как раз и есть университет военноморского дела.

Светов упрямо молчал.

— Далее, — продолжал Звенигоров, — ваш замполит человек с большим опытом, прошедший войну...

— Да, в армии...

— Это не мешает ему быстро овладевать морской культурой, — перебил начальник политотдела. — И вообще запомните, что морская культура есть только часть культуры военной, и нечего тут возводить китайскую стену. И потом, чем вы ему помогли? Почему вы не хотите считаться с его мнением? Почему, вопреки его настояниям, списали матроса Стебелева?

— Пока я командир корабля, товарищ капитан первого ранга, я единоначальник, — возразил Светов.

— Единоначальник... — Звенигоров раздраженно постучал пальцами по столу. — Быть единоначальником значит особенно тщательно продумывать каждое свое решение, а не делать все, что взбредет в голову. Тот, кто считает себя непогрешимым, ошибается обычно наиболее жестоко.

— Вы обо мне? — Светов поблдевел.

— В виде предостережения, — ответил Звенигоров.

— Но ведь на «Дерзновенном» служба идет хорошо, — сказал Светов.

— По некоторым признакам я начинаю в этом сомневаться...

— Единственный случай, плохо характеризующий «Дерзновенный», произошел в мое отсутствие. И этот случай был и будет единственным, товарищ капитан первого ранга.

— А вы что скажете по этому поводу? — неожиданно обратился начальник политотдела к Золотову.

Золотов не вмешивался в разговор. На несколько минут он почувствовал себя сторонним наблюдателем. В словах Звенигорова была глубокая правда. Но Золотов ленил себя

на том, что не может не сочувствовать и Светову. Золотов знал по собственному опыту, как тяжело пересматривать заново свои мысли, поступки, привычки... «Упрямый человек, трудный, а командир прославленный, о своих впечатлениях надо ему сказать наедине, по-товарищески. Так он только обидится», — решил Золотов. Но вопрос Звенигорова застал его врасплох.

— Внешне служба идет, как положено, — медленно проговорил Золотов. — Но вот что, Игорь Николаевич, — не мог он удержаться, — в трюме я обнаружил грязь. — Золотов вытянул правую руку, посмотрел на нее так, будто не вымыл ее тщательно под краном полчаса назад.

— Не может быть! — Светов вспыхнул.

— Сам измерил глубину. — Золотов приложил ребром ладонь левой руки на середину ладони правой.

— Виновные будут наказаны. Благодарю за указание. Жаль, руки до всего не доходят, — оправдываясь, Светов повернулся к Звенигорову.

Звенигоров, однако, смотрел в иллюминатор. Над самой водой кружились чайки. Небо было попрежнему безоблачным, но ветер усилился. На волнах выросли белые пенные гребешки.

— Свежая погодка!

— Да, — согласился Золотов.

— Люблю такую. Разрешите мне, товарищ Светов, на вашей гоночной шлюпке до берега пройти.

— Сейчас на ней невозможно, — быстро ответил Светов, тревожно взглянув на бухту.

— Почему же, ведь не шторм?

— Шлюпка требует небольшого ремонта. Да и лучше на катере... — Светов смутился. Сам он сейчас решил бы на любой посудине идти хоть в открытое море, но разрешить начальнику политотдела идти в такую погоду на своей, специально для гонок построенной шлюпке... «Нет, ни за что!»

— Значит, нужен ремонт?

— Да, небольшой ремонт. — Светов замаялся.

— Эх, Светов, Светов... — Звенигоров рассмеялся. — Ведь я же понимаю, почему вы не разрешаете. Знаю, как строили свою «призовую». Приходилось видеть, как такие гоночные красавицы под ударами волн в щепки разлетались. Бойтесь?

— Не за себя боюсь, — ответил Светов.

— Знаю, что не за себя. Советую вам подумать о многом, очень крепко подумать, — сказал начальник политотдела, прощаясь.

...Светов проводил глазами катер со Звенигоровым и Золотовым.

«Подумать, крепко подумать... Ерунда, — решил он, — просто они сами подходят ко всему с готовым шаблоном и придираются к тому, кто не укладывается в этот шаблон. Пусть другой корабль на эскадре обгонит «Дерзновенный» — вот тогда я подумаю».

6

— Вы обратили внимание на странное противоречие в характере Светова? — сказал задумчиво Звенигоров Золотову, когда катер уже отвалил от борта «Дерзновенного». — Подчиненных зажал в кулак, а сам никому под-

чиняться не хочет, полной свободы для себя требует... Я сказал «странное», — поправился через минуту начальник политотдела. — Нет, пожалуй, оно не так уж редко встречается.

Золотов промолчал.

Катер, переваливаясь с волны на волну, входил в бухту. Матросы-крючковые, выставленные на корме и на носу лицом по ходу катера, застыли в положении «смирно». Их обветренные, загорелые лица были сосредоточены и напряжены. По небу, задернутому перистыми облаками, быстро промчался самолет, оставив за собой ленту белесого дыма. Тени от облаков едва заметно отразились в воде, пробегая у борта катера. Золотов проследил за тем, как они растворились и исчезли, будто смытые набегавшими волнами. Потом он провел рукой по коленям, страшивая залетевшие брызги, и, подняв глаза, осмотрелся. Неподалеку на якоре стоял «Державный». К его борту пришвартовалась нефтеналивная баржа. Золотов узнал по очертаниям фигуру Кипарисова, распорядившегося на палубе, боцмана, стоявшего у трапа, Донцова со шлангом в руках. «Мне бы сейчас с ними быть», — подумал Золотов, — хоть посмотреть, как живут без меня».

— Скучаете? — перехватив взгляд Золотова, спросил Звенигоров.

— Скучаю, — сознался Золотов. У него шевельнулась мысль: попросить начальника политотдела забросить его на часок на «Державный», но катер уже повернул к берегу. «Поздно. Неудобно. Да и не стоит без дела», — подумал он.

Золотов оглянулся через плечо. Еще раз окинул взглядом родной корабль, потом посмотрел на тающий вдаль силуэт «Дерзновенного».

— Ну, как, Терентий Иванович, есть чему поучиться у Светова? — спросил Звенигоров.

— Если осторожно учиться, так есть, — ответил Золотов.

— «Осторожно», — повторил Звенигоров и понимающе кивнул головой. И вдруг задал новый вопрос. — У вас, кажется, давние споры со Световым. О чем, если не секрет?

Золотов заколебался. Удобно ли ему сейчас осуждать товарища? Да и как высказать коротко то, о чем говорилось много раз и по разным поводам? Он потер лоб рукой, потом глубже надвинул на лоб фуражку. Ветер усиливался.

Звенигоров опустил ремешок фуражки, поправил его под острым подбородком.

— Отрывайте-ка душу, Терентий Иванович...

— Никакого секрета в этом, конечно, нет, — решил Золотов. — Знаете, такое у меня ощущение, будто идет «Дерзновенный» все время самым полным ходом, котлы работают на предельной форсировке. А командир на мостике стоит, обо всем забыл, собой любитесь. И других приглашает: «Полубуйтесь, мол, какой я стремительный и необыкновенный».

— А Светов, вероятно обвинял вас в том, что вы год за годом шли «самым малым»? — спросил Звенигоров.

— Точно.

Золотов подивился тому, как быстро и верно началь-

ник политотдела определил сущность разногласий между ним и Световым. Звенигорова в свою очередь заставили задуматься слова Золотова.

«На предельной форсировке»... Но в самом ли деле это так? Вероятно, сравнение неточно. Но все же надо будет с замполитом и с коммунистами «Дерзновенного» потолковать. Разобраться и помочь...»

Катер шел вдоль берега. Волны медленно и мерно накатывались на скалы, и они то скрывались за завесой пены, то вновь появлялись, с каждым разом, казалось, все более свежие и чистые, яростно сверкающие в солнечных лучах.

Вдали показался флагманский корабль.

Звенигорову сегодня особенно не понравился Светов. Дело даже не в том, что на «Дерзновенном» были обнаружены упущения. Исправить их не так уж сложно. Обо всем этом будет доложено командующему. Он, конечно, отдаст приказ: Светов получит взыскание за грязь в трюме, непригодная к делу шлюпка будет заменена, время, отведенное для политинформаций, не будет заниматься ничем иным. С этой стороны ничего не вызывало сомнений. Беспокоило другое. Звенигоров чувствовал, что Светов подчинится приказу против своей воли, подчинится формально, оставаясь при каком-то своем, особом, давно выношенном мнении.

«Но что же это за мнение? Откуда оно? Чего добивается командир «Дерзновенного»? Ясный ответ на все эти вопросы не приходил. И пока его не было, нельзя быть уверенным в Светове. Каждый день мог принести несожиданности».

— Я не убежден, что любой котельный машинист на «Дерзновенном», который отлично держит пар «на марке», сумеет исправить простейшее повреждение, и сомневаюсь, что любой наводчик, прекрасно совмещающий стрелки, сумеет разобрать затвор орудия, — сказал Золотов. — Но это, может быть, слишком высокие требования?

Звенигоров бросил на него быстрый взгляд. Золотов продолжал думать, очевидно, о том же, что и он.

— Требования ваши справедливы. Но почему вы все же сомневаетесь, Терентий Иванович?

— Этаким, знаете, шик-блеск...

— Это еще не доказательство, — сказал Звенигоров, — то, что вы назвали сейчас «шик-блеск», может быть и высшим выражением морской выучки, выражением любви к своему кораблю.

— А грязь в трюме?

— Допустим, случайность, результат недосмотра.

«Может быть, и так, может быть, я не прав», — подумал Золотов.

«А ведь и Золотов по-своему прав. Нельзя только случайностью объяснять промахи Светова», — решил Звенигоров.

Они снова замолчали.

Катер повернул к пирсу. Стайка легких тральщиков чуть покачивалась на волнах. На их ряях развевались узкие и длинные вымпела. На идущем навстречу шестивесельном яле офицер поднес руку к фуражке, гребцы в знак приветствия взяли весла на валец, Звенигоров и Золотов сидя отдали честь.

«Да, на «Дерзновенном» не все благополучно, — продолжал думать Звенигоров, — а я по привычке считал, что там «должный порядок», и своих работников к тому же приучил». Он с досадой постучал пальцами по мокрому от брызг планширу, затем поднял голову, глубоко вдохнул свежий морской воздух и обратился к Золотову:

— Ну, как, Терентий Иванович, Полина Васильевна себя чувствует?

7

В кубрике после ужина было немногочленно. Двое матросов гладили форменные рубахи, готовясь к увольнению на берег, четверо других играли партию в домино, что издавна неизвестно почему называется у моряков: «Забить козла», Зеленцов у иллюминатора читал книгу.

Солнечный свет вливался в кубрик широким потоком, вспыхивал на металлических стенках матросских рундуков, на переборках, окрашивал в золотистый цвет русые, коротко остриженные волосы Зеленцова.

В кубрик вошел Донцов, стоял у стола, наблюдая за азартно стучавшими костяшками матросами, спросил, посмеиваясь, приготовлена ли капуста для проигравших, потом направился к Зеленцову.

— Ну, как дается агротехника? — Донцов заглянул в книгу и присел рядом с артиллеристом.

— Чем больше учишься, тем больше знать хочется! — Зеленцов перевернул страницу, на которой были изображены стебли хлебных злаков, и с упрямым выражением на лице, будто кто с ним спорил, добавил: — А все-таки стану я образованным человеком. Польза от этого большая.

— Что верно, то верно, — согласился Донцов. — Я не мешаю?

— Нет. Ребята вон как костяшками стучат, а я, когда читаю, ничего не слышу. — Зеленцов снова склонился над книгой.

«Брепкий у него характер», — не без уважения подумал Донцов.

К артиллеристу он сегодня подсел не случайно. После того, как Ташыбаев рассказал ему о своем споре с Зеленцовым, секретарь комсомольской организации встревожился. «Неужели Ташыбаев прав? Неужели Зеленцов служит так, лишь бы положенное время отбыть?» Сначала он хотел было поговорить сразу обо всем с артиллеристом начистоту, но потом решил прежде порасспросить об успехах Зеленцова у командира боевой части. Лейтенант Гаранин, занятый своими делами, ответил на вопрос Донцова коротко, без долгих размышлений: «Упрекнуть старшину второй статьи Зеленцова ни в чем не могу. А что звезд с неба не хватает, так тут уж ничего не поделаешь. Не дано, значит...»

«Не дано... Может, и так, может, Шермат погорячился. Со своей меркой к нему подошел», — думал Донцов.

Характеристика, которую дал Зеленцову Гаранин, полностью совпадала с тем мнением, которое давно сложилось у секретаря комсомольского бюро.

Положение у Донцова было явно затруднительное. Он не чувствовал себя вправе, да и не хотел просто отмахнуться от мнения Ташыбаева, но и не знал, в чем обвинить Зеленцова. Сказать ему, что он слишком увлекается

агрономией, так ведь это будет неправильно. И замполит, и секретарь партбюро, и сам Донцов не раз поощряли стремление того или иного матроса или старшины к учебе. Сказать, что учеба стала у Зеленцова помехой службе, так это надо еще фактами доказать. «А то бросишь упрек впустую, — думал Донцов, — только зря человека обидишь. Потом поди, попробуй с ним по душам потолковать».

Донцов решил не торопить событий. «Помирю его с Ташыбаевым, а там уж посмотрим, что к чему».

Видя, что артиллерист погрузился в чтение, Донцов вытащил из кармана брошюру и тоже стал читать. Некоторое время они сидели молча.

Кто-то из матросов, кончив гладить, с грохотом отставил утюг и включил репродуктор. В кубрик ворвалась громкая и веселая песня: «А я сам, а я сам, я не верю чудесам». Зеленцов захлопнул книгу и с досадой огляделся вокруг, словно говоря: «Ну, как тут заниматься, прямо руки опускаются!» Потом он обратился к Донцову:

— Что это у тебя за брошюра?

— Тоже по сельскому хозяйству. О Героях Социалистического Труда. Читал?

Зеленцов посмотрел заголовок на обложке.

— Читал, конечно!

— Надо бы с матросами беседу провести. Возьмешься?

— Возьмусь охотно, — сказал Зеленцов и, смущенно улыбувшись, добавил, — меня ведь, сам знаешь, хоть хлебом не корми, а о земле потолковать дай.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Донцов, поднимаясь.

На корабельном радиоузле сменили пластинку. Теперь в кубрике звучала мелодия физкультурного марша. Зеленцов вдруг соскочил с рундука, на котором сидел, и, вытянув перед собой руки, несколько раз подряд быстро присел.

— «Чтобы тело и душа были молоды...» — Он весело поглядел на Донцова. — Отдыхать так отдыхать.

— Раз так, пойдем на палубу, — предложил Донцов.

— Пойдем, — согласился Зеленцов. Он был доволен тем, что секретарь комсомольского бюро не заговорил с ним о ссоре с Ташыбаевым. «Тот, чорт, упрямый, никогда не промолчит. Да ведь Донцов жизнь понимает. Человека за словом видит...» — подумал он.

Предвечерний воздух над гаванью был мягким и прозрачным. Вода и небо окрасились в бледнорозовые тона; розовой краской, казалось, отвечивали и палубные надстройки «Державного» и жаркое марево над его трубой.

— Тишь да благодать какая на воле! — сказал Зеленцов, оглядывая гавань и раскинувшийся на сопках город. — Вот бы мне сейчас побывать в Саратове! На завод к брату заглянул бы, а потом — на колхозные поля. Мне ведь они по ночам снятся.

— Это я понимаю. Разве родные места забудешь? — ответил Донцов.

— Вот послушай, — продолжал Зеленцов, — недавно представил к себе, если бы всех нас, матросов, старшин, офицеров, могли демобилизовать. Да послали б на заводы и в колхозы. Сколько бы мы делов наделали!

— Я тоже об этом думал, — сказал Донцов, — а потом о чужом самолете вспомнил... — Он помолчал немного. — Вспомнил и давай газеты в подшивке листать. Какой номер ни развернешь — мы о мире, а они, враги

знаши, о войне. Вот и выходит, чтобы могли наши люди коммунизм строить, должны мы у орудий стоять!

— Это верно...

Разговаривая, они шли по палубе.

В это время Ташыбаев у зарядного станка тренировал Мошкина — по боевому расписанию заряжающего. Мошкин подымал с палубы учебный снаряд, клал его на лоток и снова снимал. Снаряд-болванка был тяжелым. Работа требовала споровки и немалой физической силы. Веснушчатое лицо Мошкина покраснелось, маленькие глаза возбужденно блестели, а рыжеватый чуб, выбившийся из-под бескозырки, потемнел от пота.

— Быстрей! Еще быстрей! — командовал Ташыбаев. — Вот посмотри, как надо, — сказал он, становясь к станку, видя, что Мошкин уже изнемогает от усталости.

В тонких, но крепких, жилистых руках Ташыбаева снаряд казался почти невесомым, движения командира орудия были красивыми и точными, будто все, что он делал, не стоило ему большого труда.

— Классный артиллерист Ташыбаев, правда? — сказал Донцов Зеленцову. — Чисто работает.

— Мастер... — согласился Зеленцов и посмотрел подозрительно на секретаря комсомольского бюро. «Уж не собирается ли он советовать мне итти на выучку к Шермату?» Такой поворот разговора был бы для Зеленцова неприятен.

— Специалист классный, а плавает еще плохо, — продолжал меж тем Донцов, — вот я и хотел предложить, чтобы ты над ним шефство взял. Ты же пловец отличный!

Зеленцов удивленно посмотрел на Донцова. «Неужели ничего не знает о ссоре?» Он собирался было уже отказаться, но в это время Ташыбаев, завидевший старшин, подошел к ним, широко улыбаясь. Он так просто и приветливо поздоровался с Зеленцовым, что у того всякая настороженность пропала. «Молодец Шермат, плохого на сердце не держит».

Зеленцов со всеми на корабле был в ровных, хороших отношениях, многих он мог бы назвать своими приятелями, однако, друга, душевного друга, с которым можно было бы поделиться всеми своими мыслями, рассказать о всех своих радостях и печалях, даже поспорить иногда, — такого друга у него не было. Ташыбаев ему нравился давно. Шермат учился, изобретал, читал очень много. «У него в жизни, как и у меня, есть своя цель, — думал Зеленцов. — С ним сойтись интересно».

Шермат охотно откликался на всякое проявление дружеских чувств со стороны Зеленцова, но, как ни странно, их сближению мешало то, что Ташыбаев был отличником, которого всем на корабле ставили в пример, а о Зеленцове почти не вспоминали.

Не то, чтобы Зеленцов завидовал Шермату. Он не слишком переживал то, что его расчет готовил орудие к стрельбе дольше, чем ташыбаевский, что его замочный получал на занятиях по специальности не отличную, а хорошую или удовлетворительную оценку, но все это как-то задевало самолюбие старшины. До недавнего времени Зеленцова несколько успокаивало то, что и сам Ташыбаев как будто не придавал своим успехам особого значения, но в последнем споре Шермат не постеснялся

подчеркнуть свое превосходство, и старшина решил: «Дружба врозь, наставников и без него хватает».

Сейчас, однако, он снова колебался.

— Вот, Шермат, предлагаю Зеленцову взять над тобой шефство по плаванию. Как смотришь? — спросил Донцов.

— Если Степан не против, я с удовольствием, — сказал Шермат.

— Так договорились?!

— Хорошо, — сказал Зеленцов, внешне равнодушно — он еще не хотел признаться самому себе, что стать учителем Ташыбаева было для него приятно.

— Хочу еще сегодня в наводке попрактиковаться, — сказал Ташыбаев, — лейтенант Гаранин мне разрешил. Пойдем вместе, Степан, — предложил он Зеленцову.

Тот, однако, с сомнением почесал затылок.

— Книжка очень интересная, дочитать ее хочется...

— Не отказывайся, Степан, пойдем, в другой раз дочитаешь. — Ташыбаев взял Зеленцова за рукав и добавил с увлечением: — Понимаешь, такая у меня мечта, чтобы при наводке ни на одну тысячную отклонений не было. Давай вместе тренироваться, а потом своих наводчиков лучшими на корабле сделаем! Вот и получится — ты мне, а я тебе — станем помогать! — Ташыбаев даже потянул Зеленцова за руку.

Если бы Ташыбаев не произнес последней фразы о «взаимной помощи», Зеленцов, возможно, принял бы его предложение. До того как стать командиром орудия, старшина был замочным и в наводке ни достаточного опыта, ни больших практических навыков не имел. Однако теперь все предстало перед ним вдруг в ином свете. «Ах, вот к чему они разговор свели», — подумал Зеленцов. Ему стало обидно, что и дружеское внимание Донцова, и то, что говорилось о плавании, и все прочее, как ему сейчас казалось, было только предлогом... «Значит, хитрят со мной товарищи».

— У меня сегодня дело поважнее есть, чем потеть у орудия, рекорды ставить, — буркнул он.

— Ну, это уж ты перехватил, — взмечтался Донцов, — важнее боевой специальности у нас ничего нет.

— Я тоже службу понимаю, — Зеленцов махнул книжкой, которую держал в руке, — только у каждого свой интерес, а личное время не вами мне отведено, чтобы указывать, как его использовать. Я, может, от увольнения на берег для учебы отказался. Да что там!..

Зеленцов повернулся и, не оглядываясь, пошел к трапу, ведущему в кубрик.

— Вот видишь, — сказал Ташыбаев, провожая глазами Зеленцова. — Разве я не прав?

Донцов промолчал.

— Пойдем к орудью, наводкой займемся, — крикнул Ташыбаев Мошкину, продолжавшему стоять у зарядного станка.

«Как же тут быть? Кто прав? — думал Донцов, вспоминая, что командир корабля как-то высказал неудовольствие расчетом Зеленцова. — Кто мне об этом говорил? Кажется, секретарь партбюро. А какой это был случай? Ах, да... Зеленцов с опозданием доложил о готовности во время боевой тревоги». Дело начинало казаться все более серьезным, и Донцов решил, что без совета Парамонова тут не обойтись.

...Солнце только стало клониться к закату, а в небе уже прорезался месяц, такой тонкий и белесый, словно пронизанное далеким светом, похожее на рожок крохотное облачко.

«Державный» стоял на рейде, и Головенченко после приборки обходил на шлюпке вокруг корабля, проверяя его внешний вид.

Эта несложная на первый взгляд обязанность, повторяющаяся ежедневно утром и вечером, требовала, как и все, что по службе исполнял боцман, глубокого знания морского дела.

Головенченко тщательно осмотрел борта — нет ли на них грязных пятен, подтеков или царапин, проверил забортные трапы, швартовы и, отойдя на шлюпке подальше, окинул взглядом «Державный».

Не болтаются ли на реях фалы, не обгорела ли краска на дымовой трубе?.. Мало ли еще какая окажется неприятность: матрос оставил тряпку после приборки на леерах, а командир и за нее с боцмана спросит...

Однако ни на чем не задержался придирчивый взгляд Головенченко. «Державный» стоял празднично чистый и строгий, гордо красуясь над волнами.

«Коханный мой, — словно о живом существе, растроганно подумал Головенченко, любуясь кораблем. — Что я ни сделаю, чтобы ты был наилучший на свете. Что я ни сделаю... хм... А командир недоволен...»

Боцман сердито подергал свой ус. Мысли его переменили направление.

Два взыскания за последний месяц получил он от нового командира. Первое — за перегруженную шлюпку, второе — за завышенное требование в порт на краску. Два «фитиля»! А ведь пошел второй десяток лет, как Головенченко ничего, кроме благодарностей, по службе не имел.

«Почему мне так трудно приспособиться к требованиям нового командира?» — думал Головенченко. Он вспомнил, как едва сдержался, выслушивая незаслуженный, по его мнению, выговор. Не выдержав сурового взгляда Высотина, стал он смотреть тогда на звездочку на его погоне, и бушевавшее в нем раздражение вдруг угасло. Почему это произошло, боцман, пожалуй, не мог бы объяснить. Но и не отдавая себе в том ясного отчета, он чувствовал, что за этой офицерской звездочкой стоят долгие годы учебы, знания опытных воспитателей, десятки книг, сотни лекций и многое другое, чего он, боцман, не знает.

«Конечно, приказ командира — закон. Его и в мыслях не следует подвергать сомнению! — думал Головенченко. — Но надо разобраться, понять, чего хочет командир, на что нацеливает он... Без этого хорошо служить нельзя!..»

Шлюпка пришвартовалась к борту, и Головенченко поднялся по трапу на «Державный». Теперь он шел по кораблю, проверяя шлюпочное имущество, весла, рангоут, паруса, потом заглянул в кубрики. Все было в полном порядке. Нигде ни единой соринки — «чисто, как в прибранной горнице». И все же утерланное спокойствие не возвращалось к Головенченко.

«И когда я первое взыскание получил, мне казалось, что все в порядке, и когда второе — тоже, — думал он. — Значит, и третье может нагрнуть, как снег на голову».

У Головенченко накопало недовольство самим собой, а четкого вывода он сделать не мог. «Пойду к комиссару, посоветуюсь», — наконец решил он.

Головенченко с первых дней службы привык называть комиссарами всех политработников и этой своей привычке не изменял никогда, хотя и знал и понимал, конечно, разницу между комиссарами, обладавшими равной с командирами властью, и замполитами, которые полностью были подчинены командиру-единоначальнику. Но слову «комиссар» боцман придавал особое значение. Комиссар — это партия, а партия для старого беспартийного боцмана была символом всего самого мудрого и святого.

Встречал, конечно, боцман за свою долгую жизнь и коммунистов и политработников, не соответствовавших его идеалу. Тогда, оглядев критически какого-нибудь хвастуна или бюрократа, он говорил коротко и веско: «Не настоящий».

Что Парамонов был настоящий комиссар, боцман чувствовал с первой встречи. Было в открытом, спокойном взгляде замполита, в его неторопливых движениях, во всем его облике что-то, сразу привлекавшее к нему сердца.

Когда боцман вошел в каюту Парамонова, там сидели уже Озеров, Донцов и Кипарисов. Головенченко в замешательстве остановился. Разговор, который он собирался затеять, должен был бы происходить наедине.

— Присаживайтесь, боцман. Как раз во-время заглянули. — Парамонов сказал это с такой уверенностью, будто и в самом деле заранее знал, зачем пришел боцман.

Головенченко осторожно присел на край узенькой койки, с трудом втиснувшись между Озеровым и Донцовым.

— Угощайтесь, — сказал Парамонов, поставив на стол кучечек с крупными красными вишнями. — Сибирские, мичуринские! — И, помолчав, добавил: — Так вы все, товарищи, не можете еще до конца понять, чего хочет от вас командир и что мы должны делать? Так, что ли?

Никто не ответил на вопрос замполита. Кипарисов не считал возможным вести такой разговор в присутствии подчиненных, Донцов был здесь младшим по званию и не хотел быть выскочкой, боцман был застигнут врасплох поразившей его прозорливостью замполита.

Впрочем, Парамонов, видно, и не ждал ответа.

— Командир все требовательнее и требовательнее относится к нам, — продолжал замполит, — он хочет, чтобы мы думали вместе с ним, как вывести наш корабль в передовые. И я считаю: надо, чтобы у каждого было святое недовольство собой и своими товарищами.

— На одном недовольстве далеко не уедешь, — холодно заметил Кипарисов.

— А мне кажется так: если не оценишь самокритично то, что делал вчера, не сможешь двигаться вперед сегодня, — сказал Озеров и посмотрел на Парамонова, словно обращаясь к нему за поддержкой.

Кипарисов положил в рот спелую вишню и, повернувшись к секретарю партбюро, заметил:

— Это, конечно, очень хорошо на производстве и в партийной работе. Но в военных вопросах с критикой надо быть поосторожней. Да зачем далеко за примерами ходить? Я знаю, что Светов критику и самокритику не особенно жалует, а никто не скажет плохое о «Дерзновенном»?

— Вряд ли на «Дерзновенном» дело обстоит так хорошо, как вы думаете, — возразил Парамонов. — Да, да, вряд ли! Я беседовал с замполитом «Дерзновенного». Он иного мнения...

Кипарисов едва не поперхнулся косточкой от вишни, которую сосал, не зная, куда ее девать. Он зашел, чтобы договориться с Парамоновым о строгом разграничении функций: пусть командир требует с замполита все, что касается всяких тонкостей воспитательной работы в часы политзанятий и в свободное время, а он, старший помощник, будет отвечать за порядок службы на корабле. В последнее время то и другое почему-то смешивали. Оборот, какой принимал разговор, его явно не устраивал. Неожиданно, однако, Кипарисов обрел поддержку в лице боцмана.

— Критика — дело, конечно, хорошее, — задумчиво проговорил Головенченко, — а только я понимаю ее так: раз критикуешь, научи сам, как сделать лучше.

— Ergo, — Кипарисов усмехнулся, — следовательно, вряд ли политработник чему-нибудь научит, скажем, инженер-механика, артиллерист — боцмана, боцман — радиста. Критикующий должен сам стоять выше критикуемого.

Боцман удивился тому, как старший помощник повернул его мысль. Сам он, кажется, вовсе не то хотел сказать. «Что же ему ответит замполит?»

Парамонов на минуту задумался. Пригладил рукой торчащий надо лбом хохолок русских волос и проговорил спокойно:

— Что же, в известном смысле вы правы. Но скажите, товарищ Кипарисов, критиковали вы когда-нибудь книгу писателя или картину художника? Критиковали?

— Конечно, но...

— Значит ли это, что вы лучше писателя могли бы написать роман, лучше художника нарисовать картину? Вряд ли. И тем не менее и критика ваша и советы могли быть дельными, если вы ясно представили себе задачу, которую должен был решить художник или писатель, хорошо знали действительность, которую они стремились изобразить.

Озеров и Донцов внимательно ловили каждое слово Парамонова, как ученики на уроке. Головенченко обдумывал сказанное медленно, мысленно примеряя отвлеченные суждения к своей конкретной практике.

— Ну, это вещи от нас весьма отдаленные, — заметил Кипарисов. Он, наконец, вынул мешавшую вишневую косточку изо рта и положил ее в пепельницу.

— Верно, отдаленные, — согласился Парамонов, — но ведь чем ближе, тем лучше знаешь, тем заинтересованности больше.

Кипарисов взглянул на часы.

— Может быть, это в какой-то степени и интересно, — равнодушно сказал он, — но, по-моему, мы зря

тратим порох, товарищ замполит, — ведь здесь не собрание и не заседание партийного бюро, а так, случайный разговор.

— Не случайный. Мне кажется, здесь собрались люди, активно заинтересованные в судьбе нашего корабля. Ведь никого я не приглашал специально, а каждый пришел со своими мыслями. И как бы ни были различны эти мысли, цель у них одна. Значит, есть нам смысл поговорить.

— Есть! — твердо ответил боцман и взглянул на Донцова. Озеров вытащил из кармана блокнот с записями.

Кипарисов в это время думал о том, как следовало ему поступить. Должен ли он, старший помощник, ставить себя в положение человека, которого поучает рядовой политработник? «Интересно, как бы в этом случае поступил Светов?»

— Итак, обменяемся мнениями, подумаем о том, что предстоит нам сделать, — сказал Парамонов.

— Однако без меня. Извините, дела. — Кипарисов поднялся и с иронией в голосе закончил: — Желаю успеха в дебатах!

Когда старший помощник ушел, боцман достал из кармана набитую табаком трубку. Озеров пересел на освободившееся кресло. В каюте сразу стало просторней. В открытый иллюминатор врывался свежий воздух. Слышны были плеск волн и крики носящихся над гаванью чаек.

Парамонов не торопился начинать разговор. Он знал, что каждый из пришедших к нему людей ждет совета и помощи в неотложном деле. И Озеров, у которого, конечно, много разных вопросов — от утверждения планов радиовещания и стенных газет до организации вечера встречи моряков с кораблестроителями, и Донцов, который любил обсуждать вместе с замполитом поведение, характер и привычки своих комсомольцев, и старый служака-боцман, очевидно, потрясенный двумя взысканиями, полученными за короткий срок, — все они почувствовали, что их прежняя работа в чем-то не удовлетворяла нового командира, все они были вправе требовать, чтобы замполит выслушал их внимательно и каждому помог. Но сегодня Парамонов не хотел говорить о частностях, как бы значительны они ни были. Сегодня нужно было открыть им то общее и самое важное, что было решено командиром.

— Скажите, Донцов, — спросил, наконец, Парамонов, — сколько у вас в комсомольской организации отличников?

— Больше половины, — ответил с гордостью Донцов.

— Вы думаете, это хорошо?

— Не плохо!

— В том-то и дело, что только не плохо! Что значит — половина? Если наводчик, например, будет превосходный, а замочный плохой, разве орудие будет стрелять хорошо?

— Это, конечно, так, — согласился Донцов. Но тут же, представив себе Ташыбаева и Зеленцова стоящими рядом, добавил: — Однакоже отличник потому и есть отличник, что другие хуже его.

— Ошибаетесь, Донцов, — сказал Парамонов. — Человек становится отличником не потому, что другие вообще хуже его, а потому, что он сегодня служит лучше

других. Но и завтра он не перестанет быть отличником оттого, что другие станут так же хороши, как он. Просто отличников становится все больше, и они совершенствуются все быстрее.

— От кого же они будут отличаться? — с недоумением спросил боцман.

— Не «от кого», а «чем», — ответил Парамонов. — Они будут отличаться тем, что все будут отлично делать свое дело.

— Значит, «Державный» может стать отличным кораблем? — вдруг вырвалось у Озерова, и глаза его заблестели. Он теперь понял, к чему клонит Парамонов, и мысль замполита захватила его. — Это — как стахановский завод, как «Калибр», например!

— Да, — улыбнулся Парамонов, — и это общая задача. А пока для нас ближайшая цель — добиваться организации отличных боевых постов, отделений, отличных боевых частей, и здесь еще много работы. Согласны, боцман?

— Что ж, дело хорошее, — медленно, еще обдумывая услышанное, ответил Головенченко.

— Ну, раз хорошее, так с вас и начнем. Боцманская команда имеет все основания, чтобы в ближайшее время выйти в передовые.

Головенченко промолчал. Он-то понимал, что такие вещи не делаются «по пучьему веленью». Мало было бросить людям призыв, надо было еще чем-то его подкрепить. А сам он сейчас ничего нового предложить не мог. Зато Донцов, едва перед ним была поставлена ясная цель, сразу отыскал, как ему показалось, кратчайший путь к ее достижению.

— Стоит только убрать Стебелева, — вмешался он, — а остальные уже и сейчас готовые отличники, только что еще не все по приказу объявлены.

— Стебелева, значит, предлагаете по шеям? — спросил Головенченко.

— Не по шеям, а перевести в другое отделение. Мне самому его, может быть, больше, чем другим, жалко, но ведь мы же создаем показательное отделение.

— Показное, — буркнул Головенченко.

— Не согласны, боцман? — спросил Парамонов.

— Не согласен, товарищ капитан-лейтенант. Стебелева мне сам командир поручил справным матросом сделать. — Головенченко решительно поднялся. Казалось, он заполнил собой все свободное пространство каюты. — И чтобы всех отличниками по приказу объявить — тоже нет моего согласия. И не будет, пока не скажет командир: «Боцман Головенченко, служба у вверенном вам подразделении поставлена во всех отношениях образцово!»

— Верно, боцман. — Парамонов одобрительно улыбнулся. — А секретарь комсомольского бюро должен учесть, — обратился он к Донцову, — что Стебелев теперь уже не отстающий, а самый обыкновенный средний матрос, плохих оценок у него нет.

— И сам Донцов не настоящим будет отличником, если из Стебелева отличника не вырастит, — вмешался и Озеров. Он почувствовал, что до конца правильно понял то, что предстояло сделать.

Донцов вспомнил о сегодняшнем разговоре с Зеленцовым. «И с этим еще дело не легкое».

— Я понимаю, — сказал он, — здесь с налета не возьмешь. Работа большая предстопт и трудная.

— Лучше не скажешь, — подтвердил Парамонов, — только голову выше, Донцов. Смелее и веселее надо за большое дело браться... Ну, вот... О конкретных мерах пусть каждый сегодня сам подумает, а завтра обсудим, — закончил он.

Боцман и Донцов ушли. Озеров на минуту задержался. Ему хотелось рассказать Парамонову о том, как трудно ему, молодому коммунисту, быть секретарем партбюро, как терялся он в отсутствие замполита оттого, что не чувствовал души партийной работы.

— А главное, чего нужно добиться, — сказал задумчиво Парамонов, будто продолжая ранее начатую мысль, — главное, чтобы не было будничности, чтобы каждый день был у нас как канун большого праздника.

Озеров посмотрел на Парамонова удивленно.

— Не удивляйтесь, Озеров. Когда вся работа насыщена большой радостью, ничего будничного в самом обычном деле нет. — Парамонов взял лежавший на столе календарь и начал его рассеянно перелистывать. — Нет человека, который накануне торжественного дня в жизни не стремился бы стать лучше и чище. А такой день приближается для всех нас. Его зримые черты уже ясно проступают в облике нашего сегодня. Я имею в виду коммунизм — понимаете, Озеров?

Озеров взволнованно кивнул головой.

— Понимаю. Это и есть душа партийной работы. — Он отвечал не Парамонову, а самому себе.

9

Домашний кабинет Светова по обстановке представлял собой точную копию его командирской каюты на «Державенном». Только репродукция картины Айвазовского изображала не девятый вал, а тихое, залитое лунным светом море.

Игорь Николаевич сел на стул и задумался. Опять на душе скверно. В последнее время все чаще и чаще он ощущал какую-то странную, непривычную для него неуверенность в будущем. Это ощущение не имело ничего общего с мыслью об опасности, грозящей ему. Такая мысль только укрепила бы его волю. Нет, тревога овладела им без видимой причины или по причине совершенно незначительной. Почему, например, вчера утром у него было ровное и спокойное, а после полудня отвратительное настроение? Он перебирал в памяти реплики офицеров за обедом в кают-компании. Говорили, кажется, о предстоящих шлюпочных гонках, об охоте, о каком-то неудачнике, который оказывался лицом к лицу с медведем, когда ружье у него было заряжено дробью, а по уткам вынужден был бить пулей. Не везет... Да, да, спорили о том, что такое «не везет». Он сказал: «Не везет только дуракам и бездельникам». Правильно сказал. Но ведь именно после этого спора тревожно забилося его сердце. «Брунда!»

Будь Светов хоть немного суеверен, он решил бы, что имеет дело просто с предчувствием, но недаром он гордился своим трезвым, деловым умом. Нужно было до-

искаться до коренных, скрытых причин того, что нарушало его душевное равновесие, и устранить их.

Светов считал, что так же, как хаотичных, разбрасывающихся людей лучше всего дисциплинируют железные рамки устава, так хаотичные, распыляющиеся мысли становятся ясными и четкими, когда их коротко и строго изложишь на бумаге.

Он достал из ящика письменного стола чистый лист, написал размашисто: «Вероятные причины служебного порядка», подчеркнул как заголовок. Следовало припомнить все неприятные разговоры за последнее время.

а) Замечания контр-адмирала на совещании и Звенигорова при посещении корабля; особенно досаден случай с самолетом.

б) Два спора с Андреем Высотиным.

в) Стычки с замполитом на тему о воспитании матросов».

Кажется, все! «Может ли это служить достаточной причиной для длительной тревоги?» Тут же ответил: «Конечно, нет. Контр-адмирал продолжает считать «Дерзновенный» лучшим кораблем в соединении. Он и является лучшим и будет лучшим, как бы ни пыжился Высотин. Что касается замполита, то ему просто следует еще раз дать понять, что он не должен вмешиваться не в свои дела».

Из столовой донесся стук тарелок, металлический звон собираемых в горсть вилок и ножей, хлопнула дверца буфета. Затем послышались приближающиеся шаги.

Татьяна вошла и решительно села в кресло напротив мужа.

— Мне надо поговорить с тобой, Игорь!

— Может быть, мы отложим этот разговор хоть часа на два? Я работаю... — У Светова не было никакого желания заниматься сейчас переживаниями жены. Он уже две недели не был дома и предпочитал делать вид, что никакой размолвки между ними не произошло. «Время все сотрет», — думал он.

— Через два часа я не смогу. Я буду занята, — сказала твердо Татьяна. Ее обычно робкий и покорный взгляд не был сейчас ни робким, ни покорным, и даже сами глаза, которые всегда казались по-детски мягкими и уступчивыми, приобрели какой-то новый холодный, стальной оттенок. И от этого преобразилось вдруг все ее лицо, ставшее гордым и строгим. И так как Светов впервые видел жену такой, он искренне удивился:

— Занята?

— Да, занята.

— Какая же это у тебя сверхсрочная работа? — спросил он уже с легкой иронией.

— Ни шить, ни стряпать, а остальное тебя все равно не интересует.

— Что ж, говори, если это так неотложно. — Он усмехнулся.

— Ты напрасно смеешься, Игорь, — начала она, волнуясь, — мы с тобой женаты уже почти двенадцать лет...

— Да, около этого.

— Погоди, не перебивай. Двенадцать лет назад я влюбилась в тебя. И ты подчинил меня своей воле,

растворил меня в себе, заставил жить только для тебя. Я забыла о себе, моя гордость была в твоих успехах. Я не училась и не работала, чтобы ничто не отвлекало от учебы и работы тебя. Ты стал Героем Советского Союза, и это было такой же радостью для меня, как будто сама я получила высокую награду.

— Значит, ты была счастлива?

— Да, была.

— А теперь разочаровалась во мне?

— Нет, не разочаровалась.

— Так в чем же дело?

— Я в себе разочаровалась, Игорь. Ты давно уже со мной не делишься своими заботами, своими замыслами. Я стала для тебя только привычной вещью домашнего обихода.

— Зачем же преувеличивать?

— Нет, я не преувеличиваю. Именно вещь. И знаешь, почему? Потому, что я отстала от тебя, опустошилась. Я давно отошла от своих интересов: Теперь у меня нет и твоих. И вот я поняла, что мне надо найти свое настоящее место в жизни, не быть только твоим придатком. Ты понимаешь, Игорь, это будет лучше для нас обоих.

Весь этот разговор был для Светова совершенно неожиданным. Он ждал с ее стороны жалоб на недостаток внимания, любви, приготовился утешить ее, приласкать. Он готов был даже к слезам, истерике... Но перед ним сидела какая-то новая Татьяна, уверенная в себе, не нуждавшаяся в покровительстве. Что-то случилось в ее жизни, но что и когда?

— Ты долго над этим думала? — спросил он наконец.

— Да, долго. Иначе не сказала бы сегодня.

— Что же ты собираешься делать? Это тобой тоже уже решено?

— Да. Буду работать в женском совете, поступлю заочно в учительский институт, приму участие в воскресниках по строительству школы.

— И все сразу? — перебил Светов. Его раздражало спокойствие Татьяны.

— Да, сразу.

— Не состоится, — сказал он жестко. — Будет ли еще из тебя толк — неизвестно, а пока это приведет только к тому, что в доме начнется ералаш. Когда я вырву свободный вечер для театра, жена уйдет на собрание, когда я попрошу ее переписать мою работу, она будет готовиться к зачету, и так далее и тому подобное... Ты знаешь, я этого не терплю.

— Что ж, все-таки придется потерпеть. Я ни за что не отступлю.

— Вышоть до развода? — не удержался он от насмешки.

— Что ты сказал?! — Татьяна вскочила. — Как мог ты это сказать?

— Но я ведь пошутил.

— Этим не шутят, Игорь!

— Послушай, Татьяна...

Резкий длинный звонок донесся из коридора.

— Кого это чорт принес?

Татьяна повернулась и вышла из комнаты.

Светов красным карандашом поперек листа написал: «Причины семейные». Положил карандаш, скомкал бумагу, бросил под стол в корзину.

Из коридора слышался грудной голос Полины Золотовой:

— Нет, нет, Танюша, я раздеваться не буду. Ты собирайся быстрее. Опаздываем.

«Куда это они опаздывают?» Светов решил не выходить из кабинета. Полина Васильевна раздражала его сегодня. «Ее рук работа», — подумал он.

Хлопнула входная дверь. Татьяна ушла, даже не попрощавшись.

«Так... Невесело». Если бы ему сказали, что он в какой-либо степени отрицает женское равноправие, Светов рассмеялся бы. Он прекрасно знал, что есть тысячи женщин талантливых, сильных, отважных, достойных всяческого восхищения. Только болван мог бы требовать, чтобы такие женщины ограничивали себя пеленками и кухней. Однако каждый случай является прежде всего частным случаем. Татьяна — не Софья Ковалевская, не Долорес Ибаррури, не Паша Ангелина. Ее талант заключается в том, что она чудесная жена. Муж у нее выполняет большое, нужное для государства дело. Оберегая его от мелких житейских забот, она исполняет свой долг. Не только с лично эгоистической, но и с общественной, государственной точки зрения это было целесообразно. Вред, который произошел бы от того, что ее муж вынужден был бы лишиться раз отвлечься от своего дела, несравнимо больше той пользы, которую могла бы принести такая, ничем не примечательная Татьяна, работая, скажем, учительницей в школе. Мало ли есть таких учителей. Так думал Светов всегда. Он был убежден в своей правоте. И до сих пор Татьяна была с ним согласна.

Что же произошло теперь? Что изменилось по существу? Почему конфликт с Татьяной совпал со служебными неприятностями? Явилось ли это причиной неуверенности и тревоги, поселившейся в его сердце? Или была какая-то другая, более глубокая причина?

Светов обратился к военным годам. Тогда никаких сомнений у него не было. Каждый бой, из которого он возвращался победителем, приносил новую славу. Каждый бой подымал его в глазах людей и в глазах Татьяны. На корабле, в штабе, дома — всюду и постоянно его окружала атмосфера глубокого уважения. Никто не считал бы для себя обременительным выполнить любое желание, любую просьбу Героя, босвого командира. Как-то само собой пришла к нему уверенность в том, что он может требовать не только то, что ему положено для пользы дела, но и то, что является лишь данью любви и уважения.

«Значит, и теперь, — пришел Светов к естественному для него выводу, — надо всякий раз доказывать свое право на особое положение. Кто много требует, с того многое и спросится», — переиначил он известную половицу.

Светов снова выдвинул ящик стола, достал оттуда толстую общую тетрадь в коричневом колленкоровом переплете, положил перед собой. На первой странице заголовок — «О роли командира в бою», на второй и третьей —

короткий план, на четвертой — «Глава первая». Она начиналась утверждением: «Чем сложнее и опаснее условия боя, чем кровопролитнее борьба, чем большим испытаниям подвергается мужество матросов и младшеслужащих офицеров, тем выше роль командира корабля. За его поведением следит весь экипаж, по выражению его лица судят об успехе или неудаче. Авторитет настоящего командира в таких условиях должен расти с каждой минутой, в противном случае он упадет очень низко».

Светов с удовольствием перечитал этот тезис. Далее шли исторические примеры деятельности великих флотоводцев: Ушакова, Нахимова, Корнилова. Вторая глава была целиком посвящена эпизодам из личного опыта автора реферата. Светов командовал катером на Черном море, сражался на Балтике и на Тихом океане. Рассматривая эпизод за эпизодом, отбирая то, что казалось ему наиболее типичным, Светов пришел к выводу, который считал теперь весьма важным и даже решающим: в условиях современного скоротечного морского боя каждый матрос выполнял ограниченные функции, сводившиеся, как правило, к ряду всегда одинаковых движений. Практически в самый ответственный момент для замочного, например, важно было только открывать и закрывать замок орудия с максимальной четкостью и быстротой. Ценность рулевого в решающую минуту определялась лишь тем, насколько он уверенно и твердо держал заданный курс. Значит, — подвел итог Светов, — успех всякого боя зависит от двух обстоятельств — от личных качеств командира и идеальной исполнительности его людей. «Так же, как все члены хорошо натренированного тела выполняют любую мысль, зародившуюся в мозгу, — записал он, — так же мгновенно, беспрекословно и точно должен на своем участке выполнять любой матрос и старшина приказ. Главная задача боевой подготовки в мирное время состоит, таким образом, в том, чтобы это качество вошло в плоть и кровь подчиненных...»

Светов задумался не о самой работе, а о плодах, которые она должна была принести. Это с ним случалось нередко. Скоро он закончит статью, пошлет ее в журнал. Статья будет опубликована, конечно, немедленно. О нем заговорят как о глубоко мыслящем офицере. Опыт «Дерзновенного» станет предметом изучения на всем флоте, имя Светова замелькает в печати. Вскоре перед ним откроется еще более широкое поле деятельности.

«А Татьяна? С Татьяной просто. — Светов улыбнулся. — Завтра же дам ей переписывать работу, главу за главой. Пусть сделает несколько стилистических замечаний. Это ее займет и воодушевит. Она, конечно, сразу же вспомнит, как Софья Андреевна переписывала десять раз «Воину и мир». В общем все глупости выскочат из ее головы...»

...Светов сидел, полузакрыв глаза. На смену возбуждению пришло спокойное сознание уверенности в будущем. Настольная лампа под зеленым абажуром излучала мягкий, успокаивающий свет, и казалось, этот свет, сумеречный и нежный, скользит по дымчато-голубому морю, золотая борг шхуны на картине Айвазовского.

Высотин привык твердо выполнять свои обещания. На днях он принес Золотову в штаб конспект архивных материалов. Золотов принял их с благодарностью. Разговор в штабе был коротким и суховатым, так как оба офицера торопились по своим делам. Все же Золотов повторил приглашение от имени своего и Полины, и теперь Высотин не мог уже больше откладывать посещения Золотовых. Он отправился к ним в первый же свободный вечер.

— Наконец-то собрались, Андрей Константинович, — встретила его Полина, — я уж было на вас обиделась. Ну что ж, давайте по русскому обычаю...

Они расцеловались тоскратно.

Золотов вышел в рубахе с расстегнутым воротом, сердечно пожал руку.

— Помнишь дядю Андрея, Оленька? — спросил он у дочери, показывая глазами на Высотина.

— Дядю Степу, — шутя поправила Оля.

— Андрея!

— Нет, Степу! — упорствовала Оля.

— Это она по Михалкову, — пояснила Полина.

— «Жил высокий гражданин по прозванию «каланча», — вспомнив, засмеялся Высотин. И удивился тому, как легко и просто он снова вошел в эту семью. «А я-то, чудак, все боялся, не окажусь ли незваным гостем», — подумал он.

Полина, дружески обняв обоих мужчин, ввела их в кабинет. Сыновей отправила в спальню, сама же с Олей принялась накрывать на стол. Высотин видел сквозь неплотно прикрытую дверь, как плавно двигалась она по комнате. В руках у нее мелькали разноцветные графинчики, в которых, он догадывался, были особые ароматические настойки.

Смотря на Полину, Высотин невольно вспомнил Анну. На мгновение ему представилось, что это его, а не Золотова квартира, что это она, Анна, вместе с ним принимает гостей. Высотин с трудом заставил себя вернуться к действительности.

— Вы уж простите, Терентий Иванович, что я так долго не приходил, — сказал он Золотову.

— Вы уж простите, Андрей Константинович, что я плохо вас приглашал, — в тон ему ответил Золотов и закончил с подкупающей откровенностью: — Мы ведь оба понимаем, что было время, когда нам трудно было так запросто разговаривать.

— Было и прошло, правда? — Высотин не был еще, однако, убежден в последнем до конца.

— Конечно. Мне оченьгодились для доклада ваши записи. Благодарю. — Потом Золотов показал на пачку тетрадей, лежавшую на столе. — Скоро вот вынесу на общественный суд.

— Доклад?

— Да. Ведь главное, что хотелось, — оценить каждую деталь с большой государственной высоты, а это трудней всего. И знаете, что помогло мне? — продолжал Золотов. — Работа в штабе. Я ведь ее сначала неохотно принял, не любил над бумагой корпеть, а вник — захватила меня всего. Масштабы большие. Огромная ответ-

ственность. Хотя должность моя и скромная, а каждую ниточку видишь, которой флот со всей страной связан. Любой план на соединение составить — значило для меня вырасти на целую голову.

— Стало быть, вы, Терентий Иванович, теперь убежденный штабист? На корабль и не тянет? — спросил Высотин.

— Еще больше тянет, — сознался Золотов. — Постепенно ясно становится, что я делал плохо и что мог бы сделать гораздо лучше. Я ведь ревниво и за вашими делами слежу.

— На «Державном», положим, вы давно уже не были.

— Я не был, да народ с «Державного» у меня бывает, и не только офицеры. За полчаса до вашего прихода вот Ташыбаев и Донцов ушли...

Высотин посмотрел на Золотова, ожидая продолжения, — ему было очень интересно, как отзовется теперь о «Державном» его бывший командир, — но Золотов поднялся, достал с полки какую-то книгу, полистал страницы.

— Послушайте, — сказал он и прочитал вслух: — «Любопытно было бы воспитывать вместе рожденных в один и тот же день ребенка и котенка в течение примерно двух лет: преподносить им одни и те же игрушки, толковать им одно и то же поведение, одинаково вознаграждать или наказывать за одни и те же действия. Мы были бы свидетелями одного и того же, по существу, процесса развития психических реакций...»

— Что это за бред? — перебил Высотин.

— Действительно бред, — согласился Золотов. — Принадлежит он прославленному буржуазной прессой американскому философу и педагогу Торндайку. Видите ли, Торндайк считает, что все воспитание детей и взрослых, гражданских и военных, сводится к дрессировке, или, как он выражается, «к установлению определенных связей между данной ситуацией и данной реакцией». Это его хозяевам вполне подходит.

— Но к чему это вы цитировали? — все еще недоумевая, спросил Высотин.

— Люблю сравнивать и противопоставлять. — Золотов рассмеялся. — Беседовал я как-то со Звенигоровым, и он сказал мне: главное в воспитании людей — умение опираться на их же собственные хорошие качества. Верная ведь мысль и благородная. Вот на днях я на «Звонком» был. Там комсомольцы литературную конференцию провели на тему «Быть такими, как наши любимые герои». И знаете, как выступали: «Вот ты, мол, Иван, у Олега Кошевого равняешься, а простое комсомольское поручение не выполнил. Он, если б живой был, с тобой здороваться не стал. А ты, Петров, думаешь, может, что у Мересьева тоже бы упорства не хватило плавать научиться». И, верите ли, красные, как после бани, встают Иванов и Петров и торжественно обещают исправиться. Здорово ведь!

«Надо будет посоветовать Донцову использовать этот опыт», — подумал Высотин.

А Золотов меж тем продолжал:

— Да что за примерами далеко ходить: вон у вас на «Державном» Ташыбаев — и отличный артиллерист, и студент, и изобретатель. Очень важно нам об этих фак-

тах не забывать. — Золотов задумался. — Да, о чем это я, бишь, начал? О Торндайке. Что ж, чтобы врага изучить, чтобы гордость за нашу страну была еще больше, и этого ученого ублюдка, собирающегося дрессировать людей, как котят, вспомнить порой не мешает.

Полина стояла на пороге комнаты, прислушиваясь к разговору.

— Прошу ужинать, товарищи философы!

Стол был уставлен маленькими тарелочками со всевозможными закусками: грибами маринованными и солеными, салатами, рыбой под различными соусами.

— У вас за столом, Полина Васильевна, аппетит никогда не исчезает, даже, наоборот, увеличивается от блюда к блюду, — сказал Высотин.

Полина кивнула головой:

— Спасибо. Вот только вы да сосед наш Евтерев оценить по-настоящему умеете.

— Евтерев? Михаил! Где же он? Повидать бы его хотелось.

— На службе. Жену его звала, но она отказалась, письма пишет.

Золотов в это время отодвинул тарелку. Он, видимо, не прислушивался к разговору Полины с Высотиным, занятый своими мыслями, и задумчиво сказал:

— Волнуюсь я, честно вам скажу.

— Из-за чего волнуетесь? — удивился Высотин.

— Да все о том же, о докладе думаю. Как выступать на теоретической конференции? Полтора часа я буду говорить, значит, многим должен обогатить слушателей, а ведь в зале люди сияют не голубей меня.

— Зато вы специально готовитесь глубоко. Литературы больше других прочли.

— И это, может, верно. — Золотов достал трубку, подумал и добавил: — Есть у меня, правда, еще козырь. Кажется мне, я довольно основательно разработал один незаслуженно мало освещенный в нашей теоретической литературе вопрос: о командире как создателе, вдохновителе, одним словом, душе единого коллектива. Что вы на это скажете?

— Здесь, за столом, — сказал Высотин, — только то, что скоро снова попрошусь к вам в ученики.

— Нет, Андрей Константинович, вы далеко шагнете, — серьезно ответил Золотов, — в ученики не возьму, а вот другу такому всегда буду рад.

— Что же, выпьем за дружбу! — подхватила весело Полина, поднимая над столом маленькую рюмку и ласково поглядев на мужа и Высотина. — За дружбу больших и малых командиров!

Высотин чокнулся с Полиной, Золотовым, даже с Оленькой, в бокале у которой пенился лимонад.

— Дельный тост, — сказал он, поднося рюмку к губам. — За такой можно и повторить...

— Как говорится: «первая — колом, вторая — соколом», — сказал, закусив грибок, Золотов, снова разливая настойку из графина.

«Три искуса молодец держит», «Изба о четырех углах строится», — засмеялась Полина, зная наперед поговорки, которые вспомнит сегодня муж.

После ужина Золотов снова пригласил Высотина в кабинет,

— Теперь, Андрей, — сказал он, — хочу вам кое-какие секреты раскрыть. Верней, не секреты, — улыбнувшись, поправился он, — а так, наблюдения старого моряка, каких в книгах не вычитаешь. Когда сдавал вам «Державный», говорили мы больше официально, вы не спрашивали, да и мне не до того было. Думал, перед походом на «Державный» приду, обо всем расскажу, да, боюсь, времени не выберу.

Золотов разложил на столе обычную географическую карту и стал рассказывать о подводных камнях в проливе Седые буруны, об узкой горловине входа в бухту Соколиная, об изменчивом характере течений у сопки Безымянной. Он знал каждую скалу, каждый риф и подводную мель в этих краях, помнил, при каком ветре, в какое время суток их надо обходить с норда и зюйда, оста или веста. Высотин слушал внимательно, стараясь не пропустить ни слова; по временам он делал в блокноте пометки карандашом.

...Высотин ушел от Золотова поздно вечером. Терентий Иванович вышел его проводить. У самых ворот они столкнулись лицом к лицу со Световым. Игорь поднес руку к козырьку фуражки, смотря только на Золотова, и быстро прошел мимо.

— Что-то, видно, не вяжется у вас дружба со Световым, — сказал Золотов, качая головой. — Во всем критика ваша, Андрей, виновата. Так ведь? — закончил он, придавая своим словам оттенок шутки.

— Так-то оно так, да только это, я думаю, временная размолвка, Терентий Иванович, — ответил Высотин, прощаясь.

11

Событие, происшедшее в воскресный день, взволновало и расстроило весь экипаж «Державного». О нем спорили и в офицерской кают-компании, и в каюте политпросветработы, и в матросских кубриках. Хотя само по себе это событие не было таким уж значительным, но оно неожиданно задело многих людей, оценивавших его по-разному, в соответствии со своими склонностями, симпатиями, характером и даже служебным положением.

Виновником случившегося оказался секретарь комсомольской организации Донцов. Это об его поведении шли жаркие споры. Но сам старшина весь вечер выходного дня просидел в кубрике, мрачный и неразговорчивый, поиграл немного на баяне, потом стал бесцельно листать книгу, читать которую, видно, он не мог. Он отказался, как ни уговаривал его Петров, даже выйти на пубук, где в это время собрались повеселиться матросы.

Причиной столь необычного душевного состояния всегда общительного и веселого старшины Донцова было следующее.

Утром в гавани состоялись шлюпочные гонки. К ним готовились давно. Душой этой подготовки были тренировавший команду гоночной шлюпки Озеров и первый гребец корабля Донцов.

Спорт на «Державном» всегда любили, как любят его всюду и все моряки.

Однако при Золотове он считался важным делом лишь в обязательные часы физподготовки. Отношение к спорту

в иное время каждый был волен определять для себя сам. К успехам и неудачам «Державного» на состязаниях Золотов был довольно равнодушен. Переживания по этому поводу вызывали у него снисходительную улыбку. Шлюпочной команды, хорошо подобранной и специально тренированной, на корабле не было. Мудрено ли, что в соревнованиях о победе и не мечтали. Не оказаться бы на финише последними — и ладно.

Высотину же победа на предстоящих соревнованиях представлялась делом первостепенной важности. Мало того, что результаты гребли — одно из верных свидетельств общей подготовки моряков, их закалки, организованности, умения напрячь силы и волю, — победа была нужна Высотину, как нужен, пусть даже маленький, но вполне очевидный успех в первом бою командиру отряда, состоящему из необстрелянных или долго отступавших бойцов. Ничто так не окрыляет, как победа, ничто так не укрепляет веры в свои силы и возможности.

Эти свои мысли Высотин высказал офицерскому составу корабля. Знал о них и Донцов. О кандидатурах участников будущих соревнований даже говорили на заседании комсомольского бюро, потому что почти все гребцы были комсомольцами. Озеров внимательно выслушивал и записывал мнения офицеров и старшин о гребцах, готовил и проверял шлюпку, подбирая для нее весла вместе с боцманом Головенченко. Сам Высотин, за которым оставалось последнее и решающее слово, полностью и без всяких изменений утвердил состав команды, представленный ему Озеровым.

Тренировки проходили напряженно и образцово. Были все основания предполагать, что шлюпка «Державного» на гонках займет одно из первых мест.

По началу надежды корабельных «болельщиков» как будто подтвердились. Едва был дан старт, как шлюпка, на корме которой сидел Озеров в сдвинутой набекрень фуражке, стремительно развивая скорость, вырвалась вперед. Ее гребцы будто слились в одно неразрывное целое. Казалось, все они живут и движутся, подчиняясь одному звучащему, все нарастающему внутри них ритму. В такт этому ритму быстро и легко сгибались и разгибались их спины, взлетали и падали весла, разом погружаясь в воду. Озеров редко подавал команды. Люди понимали его по движению руки, по взгляду, как понимает дирижера хорошо слаженный оркестр.

Командиры кораблей наблюдали за ходом соревнований с катера командующего. Серов сам, в прошлом страстный спортсмен, стоял, окруженный офицерами. Здесь были и командир «Морской державы», и Звенигоров, и Высотин, и Светов, и Золотов. Глаза у командующего горели, он весь подался вперед, пальцы его рук то сжимались, то разжимались, будто и он участвовал в гребле.

Примерно на середине дистанции шлюпка «Державного» обошла шлюпку флагманского корабля. Теперь перед ней маячила лишь шлюпка «Державного».

— Когда только так наловчились грести? — спросил удивленно Золотов.

— Молодец, командир! — на мгновение повернувшись к Высотину, бросил коротко Серов.

Высотину было приятно оттого, что командующий почувствовал нити, которые шли от него к его гребцам на шлюпке.

— Моих все равно не обогнать, — сказал Светов.

Высотин промолчал.

Был жаркий безветренный день, и вода в гавани сверкала россыпью солнечных бликов. На нее долго нельзя было смотреть, так играл и переливался на воде солнечный свет. Только изредка вкатывались в бухту пологие небольшие волны — это давал знать о себе океан, но эти волны, пробежав немного, сливались с неподвижной водяной гладью.

Шлюпка «Державного» ускорила ход. Просвет между ней и шлюпкой «Державного» стал понемногу увеличиваться.

— Да, не догнать, — воскликнул разочарованно Серов, обращаясь к Высотину, — на «Державном» класс гребли выше.

— Не догнать, — согласился Высотин. Он понимал, что в такую тихую погоду облегченная шлюпка Светова имеет все преимущества перед его стандартной. Догадывался Высотин и о другом. Заметив интерес командира к шлюпочным соревнованиям, Кипарисов предложил ему освободить команду шлюпки на длительный срок от всех корабельных работ и нарядов. Высотин ответил сухо:

— На военном флоте нет такой узкой специальности — гребец.

Командир «Державного» подозревал, на чьем опыте основывает свое предложение его старший помощник, однако спрашивать об этом не стал. Тем более не считал он себя вправе опорочивать успехи «Державного» сейчас.

Завоевать второе место было тоже достаточно хорошо. На первый раз этим можно было вполне удовлетвориться.

Однако если так думали Серов и Высотин, то команда шлюпки «Державного» была настроена совершенно иначе. Гребцы напрягали все силы, гибкие весла дугой изгибались в синеватой воде. Озеров подал команду увеличить и без того быстрый темп гребли.

Есть на флоте своеобразное и совсем неофициальное мерило для испытания гребцов высшего класса. Они должны суметь довести гребок до такой силы, в конце гребка рвануть веслом с такой стремительностью, чтобы даже окованная по краю медью лопасть его, не выдержав сопротивления не успевшей расступиться воды, треснула и сломалась. Испытание это выдерживают немногие, да и те, кому раз это удалось, отнюдь не уверены в том, что это им удастся и вторично. Моряка, сломавшего во время гребли лопасть весла, чествуют, гордятся им.

Есть у спортсменов-моряков и одна команда, не предусмотренная никакими инструкциями, вернее, даже не команда, а возглас, выкрик: «Ломай весла!» Она допускается только в исключительных случаях, у самого финиша, когда на карту ставится все, когда уже не имеет решающего значения ни ритм, ни темп гребли. Слишком мало времени, слишком маловероятно, что за оставшиеся секунды хоть одно весло будет и вправду сломано. Важно только, чтобы утомленные гребцы напрягли до предела или даже сверх предела свои силы и вложили их без остатка в каждый гребок.

Возможно, Озеров и держал про запас эту неуставную команду, но он никогда не произнес бы ее до срока. Между тем Донцов уже вошел в азарт. Обычно выдержанный и спокойный, он сейчас забыл обо всем на свете. «Сильней и быстрей... обогнать во что бы то ни стало шлюпку «Дерзновенного!» — стучало в его мозгу. Он чувствовал, что матросы делают все возможное, а шлюпка «Дерзновенного» попрежнему шла вперед.

Когда до финиша остались последние кабельтовы, Донцов, взглянув на Озерова и по его напряженному лицу решив, что настало то время, когда нужно подхлестнуть гребцов, вдруг самовольно хрипло выкрикнул: «Ломай весла!»

Озеров сдвинул брови и выругался вполголоса. Однако сдерживать людей уже не решился. Расстояние между шлюпками «Державного» и «Дерзновенного» стало сокращаться, и вдруг послышался треск. Весла на левом борту ударились друг о друга. Шлюпка повернулась на девяносто градусов... Донцов сломал лопасть весла.

...На катере командующего Высотин в недоумении развел руками. Он еще не знал, что произошло, но понимал, что дорогие секунды потеряны. Шлюпка «Дерзновенного» подходила к финишу, и оркестр приготовился уже играть туш победительнице соревнования. Шлюпка флагманского корабля, а за ней одна, другая, третья, четвертая пронеслись мимо шлюпки «Державного».

— Ну, товарищ Высотин, так еще «Державный» ни разу не позорился, — резко сказал командующий. — Надо бы приказать оркестру за это самое вашей шлюпке «Чижика» сыграть...

Светов при последних словах командующего рассмехался и негромко пропел: «Чижик-пыжик, где ты был». Золотов сокрушенно покачал головой и с досадой отвернулся.

Это была минута острой обиды для Высотина. Он чувствовал, что вот-вот взорвется. Потупя глаза, чтобы не встретиться с насмешливым взглядом Светова, он до боли закусил губу. Тонкий шрам на его лице побагровел, наливаясь кровью.

По старому морскому обычаю команде шлюпки, пришедшей на гонках к финишу последней, оркестр в насмешку играл песенку о чижике. От этого обычая на советском флоте официально отказались давно, но помнили о нем моряки крепко. На каждом соревновании кому-нибудь да приходилось выслушать, краснея, нехитрую мелодию, если не в исполнении оркестра, то хоть сыгранную каким-нибудь весельчаком на губной гармошке. И то, что о «чижике» вспомнил даже командующий в минуту крайнего раздражения, говорило о живучести шуточного обычая, который не удавалось отменить никакими приказами.

...Когда шлюпка подошла к борту «Державного», Озеров, не сдержавшись, при всех сказал Донцову:

— Стыд, право, за вас какой! Силой своей, что ли, похвастать захотели? Выделиться вам надо было?! А о товарищах, о корабле своем забыли. Такое секретарю комсомольского бюро простить нельзя!

Донцов молча склонил голову.

...Наступила звездная ночь, и корабль залило голубым светом. Донцов лежал на койке с открытыми глазами.

Начальство его не вызывало, видимо желая разобраться во всем спокойно, когда улягутся страсти. Товарищей он просил оставить его в покое, да и они еще не знали, что сказать ему. Считали его виновником поражения, сердились, но и укорять лишний раз не хотели.

Донцов поднялся на койке. Убедившись, что все вокруг спят, достал из рундука бинт и стал перевязывать у локти распухшую правую руку. Когда сломанное весло вырвалось из его рук, Донцов растянул сухожилия. Тогда никто этого не заметил, не заметил и он сам. Уже сменив весло и принявшись вновь грести, он ощутил острую мучительную боль. Он хотел скрыть ее от товарищей. Поэтому он даже, хотя и через силу, но все-таки немного поиграл на баяне. Самым неприятным и постыдным было бы для Донцова, если бы кто-нибудь подумал, что он ищет сочувствия или жалости.

Бинтуя руку, Донцов горько размышлял: «Срам какой! Азарту поддался и дисциплину нарушил. И это допустил я — старшина, секретарь комсомольского бюро. Но ведь я хотел сделать, чтобы было лучше, а вышло наоборот... — Донцов поморщился. — Разве этим успокоишь самого себя?..» Он стал завязывать концы бинта. Ему было неудобно делать петлю левой рукой, и тогда он зубами с силой затянул узел. Боль понемногу утихала, но спокойствие не приходило. Он даже подсадовал на себя. «И чего только я маюсь. Вот морока... Может, хочу, чтобы кто по голове погладил: «Ах, Ванечка, несправедливости на свете еще много...» — Донцов чертыхнулся и решил, что в конце концов уже поздний час и пора спать. «Утро вечера мудренее».

Не успел Донцов, однако, улечься, как у его койки мелькнула тень. Кто-то ступая на цыпочках, подошел и стал рядом.

— Иван, не надо так... — услышал Донцов горячий, взволнованный шопот Ташыбаева.

— Что «не надо так», Шермат? Не понимаю тебя... Ты ошибаешься, если думаешь, что я нюни распустил... — сердито и сухо сказал Донцов. Его раздражала мысль, что Ташыбаев, наверное, хочет его жалеть или в чем-то ему сочувствовать. — Ты, Шермат, дипломатию не разводи... Вечером ты то и дело в кубрик заглядывал и сейчас опять. Что я тебе — чудо какое, что ты с меня глаз не сводишь. Иди-ка лучше спать.

Ташыбаев отрицательно покачал головой.

— Друг в беде — значит, я сам в беде, — так у нас говорят. Давай откровенно обо всем толковать. — Он присел на железный рундук, стоящий у изголовья койки, и продолжал: — А я тебя ругать собираюсь. Такая у меня на тебя злость была, ну, не сказать. Гребец ты хороший, а вот на... в лужу сел...

При скудном свете мерцающей на подволоке электрической лампы Донцов увидел, как сжались в кулаки маленькие и крепкие руки Шермата.

— А я думал, ты, как друг, пожалеть меня пришел, посочувствовать мне... — со скрытой иронией в голосе заметил Донцов. — Зачем же ты тогда сказал: «Иван, не надо так?»

— Конечно, не надо так, Иван... Гляжу, ты руку бинтуешь, неудобно тебе, а никого не попросишь помочь.

Словно ты среди чужих... Вот поэтому я и сказал: «Не надо так...»

— А-а-а!.. — протянул вслух Донцов.

— Вот тебе и «а-а-а!» — тихо засмеявшись, передразнил Ташыбаев и, неожиданно сделавшись серьезным и строгим, жестко спросил:

— Признайся, во всем себя оправдал уже?

Донцов приподнялся на локте и, избегая прямого ответа, спросил сам:

— Верить, Шермат, что я не из пустого молодчества сломал лопасть у весла?

— Это-то я знаю, — согласился Ташыбаев, — а критиковать, Иван, я тебя все же буду, и крепко, только держись...

— На критику не обижусь. — Донцов задумался, точно проверяя себя, и повторил: — Если правду скажешь, не обижусь. — Ему было и приятно, что Шермат разговаривает с ним честно и откровенно, и в то же время совсем не хотелось предстать перед другом в роли обвиняемого.

— Значит, совсем, по-твоему, плох Донцов? — спросил он.

— Поступил плохо, совсем плохо, — упрямо ответил Ташыбаев.

В эту минуту с соседней койки свесилась голова Петрова. Радист, все время прислушивавшийся к разговору, с негодованием воскликнул:

— Да что там толкует Шермат? Ведь ты, Донцов, всю душу вкладывал, чтобы победы на гонках достичь. Разве твоя вина, что не повезло. Может, лопасть у весла с гнильцой была? А если не с гнильцой, тогда тем более... я первый, например, твоей силе завидую!

Заступничество Петрова Донцова, однако, не обрадовало.

— Ишь, какой защитник выискался... — неожиданно для самого себя сердито сказал он, — в герои, значит, возводишь... Только не жди от меня за это спасибо...

— Вот тебе и на! Я к тебе по-человечески, по-дружески, а ты сориться хочешь, — обиженно возразил Петров.

Донцов промолчал. «Чего же мне надо?» — мелькнуло у него в мыслях.

— Вот слышишь, Иван, есть такие настроения еще кое у кого из наших матросов, — сказал Ташыбаев, — они, вроде Петрова, тебя не только оправдывают, а даже героем считают. Сколько лет, говорят, ни на одном из кораблей нашего соединения еще никто такой силы гребок не делал... Донцов, говорят, в своем роде чемпион...

— Правильно... — подхватил Петров, по своему горячему, обидчивому, но отходчивому характеру уже простивший Донцову его резкость. — Кто у нас самый лучший и сильный гребец? Все скажут — Донцов! Вот те, которые хотят стать такими же отличными гребцами, как он, и поднимают его... не осуждают его, как некоторые другие... — Петров махнул рукой в сторону Ташыбаева.

— Экий, однако, ты великий утешитель, друг Петров, — перебил Донцов насмешливо. Он, конечно, не мог всерьез ни возмущаться, ни сердиться на Петрова, потому что тот излагал именно те доводы, которыми сам Донцов в душе оправдывал свой поступок. Но в то же время Дон-

цов понимал, что именно с этими приятными для него мыслями как раз и следует бороться, беспристрастно, по-комсомольски оценивая свое поведение. Спор между Ташыбаевым и Петровым был для него как бы отражением того внутреннего спора, который он весь вечер вел сам с собой. И если Донцов отвечал Петрову резко и насмешливо, то только потому, что его собственные оправдания звучали в устах простоудушно восхищавшегося им Петрова так легковесно, что Донцову даже стыдно было их слушать.

— Ты не слушай его, Иван! — быстро сказал Ташыбаев, — не к хорошему он тебя клонит...

— Сам разбираюсь... — сказал спокойно Донцов. — Вот что, товарищи, завтра собираем комсомольское бюро и ставим вопрос о поведении Донцова на гонках. И чтобы никаких кривотолков.. Давайте-ка теперь спать, ребята.

...Спать, однако, матросам довелось немного. Вскоре прозвучал сигнал боевой тревоги.

12

Ночная тревога не была предусмотрена планом, и ее никто не ждал. Высотин и сам пришел к решению объявить ее только поздней ночью, вновь и вновь обдумывая слова Серова: «Так еще «Державный» никогда не позорился! Надо бы приказать оркестру «чижика» вашей шлюпке сыграть». Жесткие, но справедливые слова! Много надо сделать, чтобы загладить промах. «Да, очень недоволен командующий мною», — решил Высотин.

Он не мог знать, что в тот же вечер за чаем в салоне контр-адмирала на «Морской державе» Звенигоров с улыбкой, но не скрывая неодобрения, заметил Серову:

— А все же, Кирилл Георгиевич, у вас иногда на спортивных состязаниях чувства горячего «болельщика» побеждают спокойную рассудительность командующего, хоть и завидую я вашему юношескому жару, но...

— А что, командующий — не человек... Что, он и разозлиться не может, обмолвиться! — вспыхнул Серов. Звенигоров не стал спорить. Он понимал, что сердится командующий, главным образом, на самого себя, и разговора на эту тему не продолжал. Но сам Серов позже, уже прощаясь со Звенигоровым перед сном, обронил как бы невзначай:

— При всем том гребцы на «Державном» хорошо тренированы. И другие успехи, возможно, у них есть. Мы их отметим, как только они скажутся...

...Всего этого Высотин не знал, и знать не мог. Замечание командующего тревожило его. Злой смех Светова еще звучал в ушах. «Ни одной моей ошибки Игорь мне не простит. Ведь не сдержался он — «чижиком-пыжиком» меня обозвал». Раздраженный, Высотин был беспощаден к себе. «А может, и впрямь я либеральничая с личным составом», — думал он.

Поражение на гонках он не мог расценивать как случайность. Вскоре «Державному» предстоял длительный океанский поход. Но Высотин не был уверен, что все люди «Державного» готовы к этому походу, что не произойдет случаев, подобных тому, который произошел с Донцовым, или других столь же неожиданных и столь же неприятных. Разговор с Пармоновым о создании отличного ко-

рабля, который недавно произвел на Высотина такое большое впечатление, сейчас, в минуту раздражения и гнева, казался ему отвлеченным. «Общая хорошая идея сама по себе еще не может изменить конкретных людей. Что же делать? Есть ли другой путь к быстрому успеху?» Высотину вдруг показалось, что он нашел единственный ответ: «Требовать, требовать и еще раз требовать, проверять и требовать и снова проверять...» — проговорил он вслух. И так как ему не хотелось терять ни единой минуты, он тут же вызвал Кипарисова и приказал срочно подготовить все для имитации пожара, затопления отсека и других возможных боевых тревог.

Ночь еще лежала над океаном. «Державный» стоял на открытом рейде, и тяжелые волны, гонимые ветром, глухо бились о его борт. В предрассветной мгле далеко-далеко на горизонте мерцала зеленоватая утренняя звезда.

Высотин поднялся на ходовой мостик вместе с Кипарисовым. Командир был хмур и неприветлив. Молчал и старший помощник, которому хотелось спать. Был он, однако, свеж и выхрип и надушен. На холодном лице Кипарисова нельзя было прочитать — одобряет или осуждает он неожиданный приказ командира.

На корабле стояла тишина. Только гулко отдавался на железной палубе каждый шаг вахтенных, скрипела якорная цепь да слышались мерные удары волн.

— Начнем, товарищ командир? — спросил, поглядев на хронометр, Кипарисов. Высотин молча кивнул головой. Тишину ночи разорвал тревожный гул. Он звучал недолго и резко оборвался. И те секунды, которые он длился, показались Высотину чрезвычайно длинными. Палуба была безлюдна. Но вот разом из всех дверей и люков выбежали матросы. Они торопились к своим боевым постам, заспанные, наспех одевшиеся, громыхая незашнурованными ботинками. Зашнуровать ботинки, заправить, как положено, одежду можно будет и после, когда представится время. А сейчас дорого каждое мгновение...

Матросы быстро занимали боевые посты, и в груди Высотина шевельнулась гордость за них. Он одобрительно кивнул головой, указывая на палубу, поднимавшемуся на мостик Парамонову. Однако тут же вновь нахмурился, заметив бегущего в одной тельняшке Стебелева. «Нехорошо, право нехорошо», — подумал он.

Обернувшись к Кипарисову, Высотин сказал:

— Ипполит Аркадьевич, дайте вводные: первая — главному калибру приготовиться к открытию огня, вторая — на палубе у бакового орудия от взрыва авиабомбы: пожар.

Послышались команды... Артиллеристы у орудий задвигались, готовясь к бою. Палубу «Державного» окутал густой дым. Это горели зажженные в нескольких местах дымовые шашки. Вспыхнула ярким огнем куча обильно смоченной соляром пакли и другие горючие материалы. Столб пламени взметнулся вверх, озаряя фигуры комендоров. Этот багровый отсвет, казалось, перекинулся далеко в океан, зажег полосу зари и окрасил море вокруг корабля в фиолетово-красный цвет.

— Что там у Зеленцова? — отрывисто спросил Высотин.

— Его пост своевременно доложил о готовности к бою, — ответил Кипарисов.

— Я не об этом спрашиваю... — процедил Высотин сквозь зубы, — я спрашиваю, почему он не проявляет инициативы, ведь у него под носом пожар?..

Высотин не успел договорить. На месте, где жарко горела куча пакли, показались люди, выделенные вахтенным офицером. Казалось, действовать быстрее, уверенней, сноровистей, чем действовали они, было невозможно.

Шипели огнетушители, выбрасывая пенные струи, хлестала вода из брандспойтов.

— Что делают, черти! — вдруг вырвалось у Парамонова. И его будто волной смыло с мостика.

Высотин, нахмурившись, смотрел вниз. Матросы, тушившие пожар, выстроились вдоль борта, в спешке они не учли поднявшегося ветра, который теперь гнал пламя прямо на орудие Зеленцова. Можно было только подивиться выдержке комендоров, которые, приготовившись к стрельбе, стояли по местам, несмотря на то, что воздух уже был раскаленным и горячие искры обжигали руки и лицо.

Вмешательство Парамонова сразу исправило дело. Теперь люди с брандспойтами стали между орудием и очагом пожара и сбивали огонь в сторону борта. Языки пламени становились все короче, приобретая темный густовишневый оттенок.

— Молодец замполит, — сказал Высотин.

— Опытный офицер, — неохотно подтвердил Кипарисов и, не удержавшись, добавил: — Хотя и не настоящей моряк... политработник...

Парамонов меж тем оглянулся по сторонам. Ему хотелось увидеть Озерова. Запасный командный пункт, куда тот по тревоге должен был явиться, находится неподалеку. «Почему же его не оказалось здесь во время пожара? Разве не понимает он, что секретарь партбюро обязан быть всегда в самом трудном и опасном месте... Ну, я его за это отчитаю», — рассерженно подумал Парамонов.

...Тревога продолжалась долго. Матросы выбивались из сил. Последним было учение по борьбе за живучесть корабля. Один из отсеков считался затопленным. Предполагалось, что давление воды все время увеличивалось, что оно грозило выпучить переборки в соседних отсеках, где располагались механизмы, жизненно важные для корабля.

Здесь работала аварийная группа, руководимая самим боцманом Головенченко. Тут же находился и Донцов.

Головенченко распоряжался спокойно и уверенно, по-сасывая пустую трубку. Это был обычный самообман заядлого курильщика, с трудом обходившегося без табака в напряженные минуты жизни.

— Быстрее поворачивайтесь, хлопцы, тут вам не в хате на печи!

Парамонов, уже успевший спуститься в трюм, услышав гулкий бас боцмана и разглядев у него в зубах трубку, невольно улыбнулся. Старый служака-боцман позволял себе порой, когда не было начальства, маленькое вольности. Другому, пожалуй, не простили бы ни трубки в зубах, хотя и не дымящейся, ни свободных отступлений от уставных команд. Но Головенченко был Головенченко — фигура единственная в своем роде. Он умел

поставить себя так, что подчиненные, следуя его примеру в любых работах (а он был мастер на все руки), отнюдь не пытались перенимать то, что было его маленькими привилегиями.

В отсеки, соседние с условно затопленным, внесли тяжелые брусья. Бодман отметил на переборках мелом места, куда нужно было их упереть. Брусья плотно вгонялись между переборками по всей длине отсека. Их установка требовала недюжинной силы. Любо было смотреть на то, как работал Донцов. Казалось, он совсем забыл о тех неприятностях, которые мучили его. С увлечением выполнял указания боцмана, он в то же время зорко поглядывал по сторонам, словно выискивая дело погрудней, будто спрашивая: «Кому там еще тяжело, где подставить свое плечо, что поднять, перевернуть?»

«Поглядеть на Донцова, так не работа, а наслаждение... А может, обиду свою в труде глушит», — подумал Парамонов. Он сурово осуждал Донцова за происшествие на шлюпочных гонках, но ему казалось самым важным то, как поведет себя теперь комсомольский вожак и какие выводы он сделает. Парамонов подошел поближе и тут только обратил внимание, что у Донцова перевязана рука, а лицо его по временам искажает гримаса боли. «Где это он покалечился? Не отправить ли его к фельдшеру?»

— Что это у вас с рукой, старшина? — спросил Парамонов.

— Это от гребли... — ответил, обернувшись, Донцов и добавил поспешно: — Так, ерунда. С работой я, не сомневайтесь, справлюсь.

Тон голоса Донцова, поспешность, с которой он сказал «ерунда, справлюсь», — напомнили Парамонову что-то очень знакомое... «Ну да, вот так же не желали уходить с поля боя легко раненные бойцы». Замполит понял душевное состояние Донцова, понял, как важно ему сейчас доказать, что он достоин уважения товарищей. Ни слова не говоря, Парамонов налег рядом с Донцовым плечом на распорку, которая никак не хотела становиться на место. Толстый брус заскрипел и выпрямился.

— Силенкой, значит, мы с вами не обижены, — сказал, улыбаясь, Парамонов.

Донцов с благодарностью посмотрел на замполита.

— Спасибо, товарищ капитан-лейтенант, — и вдруг добавил тихо: — Завтра хочу провести внеочередное бюро по моему вопросу...

— Ну, что же, проводите, я приду послушать, — сказал Парамонов. «Пока секретарь комсомольского бюро ведет себя как должно», — подумал он.

После отбоя тревоги Парамонов поднялся на мостик. Увидев замполита, все еще хмурый Высотин спросил:

— Ну, как ваше мнение, капитан-лейтенант?

— Превосходно действовала аварийная группа, особенно отличился Донцов, — твердо ответил Парамонов.

Высотин недовольно сдвинул взъерошенные брови.

— Ну, и оценка, — сказал он резко. — Да ведь ваш Донцов вчера проштрафился больше, чем сегодня он мог отличиться... И вам об этом тоже не следовало забывать... А о превосходных действиях... Ну, об этом говорить уж совсем не время. Много у нас еще недостатков. — Повернувшись к Кипарисову, Высотин спросил у него:

— А вы как полагаете?

Кипарисов, уловив настроение командира, с готовностью ответил:

— Надо повторить все с начала, не жалея ни себя, ни людей!

— Все? Но какой в этом смысл? — удивился Парамонов.

— Смысл?! — Высотин неожиданно ответил за Кипарисова. — Смысл в том, чтобы научить людей действовать образцово. А этого, замполит, одними разговорами не добьешься.

Парамонову стало не по себе. «Почему это сердится на меня командир?» Не найдя ответа, Парамонов пожал плечами: «Ладно, все в свое время выяснится», — и, обернувшись, окинул взглядом океан.

Небо и вода с каждой минутой светлели. Где-то за горизонтом поднималось солнце. Волны еще скрывали чуть показавшуюся огненную кромку его диска, а по всему горизонту уже поднялись пурпуровые столбы разгоравшейся зари. Людям, которые только что снова прилегли, спать осталось самую малость.

Парамонов сошел с мостика, размышляя о том, что ему предстоит сейчас делать. «Если и повторит командир тревогу, так во всяком случае не так уж скоро. Надо с матросами, старшинами поговорить, ошибки разобрать». Он машинально вытаскил платок и провел им по лбу, отирая пот. Платок был весь в саже. «Фу ты, с самого пожара хожу чумазый, — с неудовольствием подумал Парамонов. — Забегу на минутку в каюту, хоть умоюсь».

Не успел, однако, Парамонов, сбросив китель, склониться над умывальником, как снова зазвучали колокола громкого боя.

— Ну и ну! — только и проговорил он, одеваясь на ходу и выбегая из каюты.

13

Заседание комсомольского бюро должно было состояться в каюте политпросветработы после ужина. Члены бюро подходили по одному, и все с нелегким чувством. Труднее всех было Ташыбаеву. Осудить ближайшего друга, да еще публично, — что в жизни может быть хуже и больней? Охотнее всего Шермат думал о том, с каким гневом он бы обрушился на человека, посмеявшего заподозрить Донцова в желании похвастать, выделить себя на гонках — в любом мелком и нечестном по отношению к товарищам намерении. Но вряд ли сегодня, когда страсти уже улеглись, кому-нибудь придет это в голову. Гораздо более вероятно, что надо будет выступать против тех, кто захочет совсем снять вину с Донцова. Бледный, осунувшийся после бессонной ночи, Ташыбаев проскользнул в каюту, тихо сел за стол и принялся перелистывать последний номер военного журнала.

Петров, наоборот, вошел решительно, остановился у порога и огляделся. Вид у него был воинственный. Он знал Донцова дольше всех. Вместе с ним начинал службу, и уже с той поры для радиста Донцов стал образцом всех флотских добродетелей. Не раз говаривал Петров, проводя беседы с молодыми, прибывшими на корабль матросами: «Хотите знать, с кого брать пример — с Донцова. Слу-

жите, как Донцов, дружите, как Донцов...» С грохотом опустившись на стул рядом с Ташыбаевым, Петров сказал внушительно:

— И тебе и вообще никому в обиду Донцова не дам. Слышишь, Шермат.

— Умерь свой пыл и восторги. От них, мне кажется, сам Донцов и тот на тебя в обиде, — ответил спокойно Ташыбаев.

— Значит, ты будешь сегодня вроде как прокурор, а я вроде адвоката, — усмехнувшись, сказал Петров.

— Что это за судебная коллегия? Вы о Донцове, наверно, — вмешался в разговор только что вошедший Салиев. — Будем просто смотреть правде в глаза...

Старшина котельных машинистов несколько месяцев тому назад стал кандидатом партии, но еще продолжал оставаться членом комсомольского бюро. К его слову и раньше прислушивались, а сейчас стали относиться с особым уважением. За ним стоял уже авторитет партийной организации, и сам Салиев, чувствуя, что крепость этого авторитета в какой-то, пусть в самой небольшой мере зависит и от него, старался говорить только хорошо обдумав каждое слово. Сейчас его темные миндалевидные глаза были строги. Столкнувшись с их взглядом, Петров осекся и только спросил:

— Ты считаешь, Салиев, что надо Донцову взыскание вынести?

Салиев задумался. Петров нервно застучал пальцами по столу, а Ташыбаев еще больше поблдедел.

— Плох, по-моему, тот комсомолец, кто хочет заранее принять решение о судьбе товарища, не выслушав его самого, — наконец сказал Салиев, потом он посмотрел на часы и спросил: — Кажется, время?

В каюту вошел Парамонов.

— Донцов задержится минут на пять, не больше, — сказал замполит. — Он у фельдшера.

Парамонов сел в углу, у открытого иллюминатора, и взглянул на море. Оно показалось ему неприветливым. Серое облачное небо низко висело над водой, из гавани выходил большой, выкрашенный в белый цвет пассажирский пароход. За ним с криком летели чайки.

«Но где же это задерживается Озеров, — подумал с досадой Парамонов. — Ему-то уж полагалось бы сегодня непременно быть здесь». Парамонов за последние сутки не виделся с Озеровым. Воскресным вечером, узнав, что секретарь партбюро вернулся на корабль, он хотел зайти к нему, но каюта оказалась запертой. За вечерним чаем Озеров тоже не появился. Когда Парамонов спросил о секретаре партбюро у Гаранина, тот отшутился:

— Знаете, товарищ замполит, у нас еще при Золотове так иногда говорили: «Если хочешь жить в уюте, спи всегда в чужой каюте». — Заметив однако, что замполит шутки не принял, Гаранин добавил уже серьезно: — Лейтенант Озеров сидит в корабельной библиотеке и там в одиночестве переживает горечь поражения на гонках.

«Ладно, пусть немного попереживает», — добродушно решил Парамонов и вызывать Озерова не стал. В часы ночных тревог замполит тоже не столкнулся с секретарем партбюро ни разу. Да и времени, чтобы разговаривать с ним, тогда не было. Потом утром Парамонова вызвали в политотдел, и он лишь подчас тому назад вернулся,

— Секретаря партбюро предупреждали? — громко спросил Парамонов.

— Так точно, предупреждали, — ответил Петров, — только он сказал, что очень занят... Все пишет и пишет, даже разговаривал со мной и то писал, — закончил радист неофициально.

«Что у него может быть такое срочное», — удивился про себя Парамонов.

В каюту вошел Донцов и остановился у стола. Правая рука у него была на перевязи. Сразу же предложив Петрову вести протокол, он взял себе слово.

— Только что, — начал он твердо, — в коридоре я встретил Стебелева, и он сказал мне, этак с подковыркой: «Что ж, старшина, и с вами всякое может случиться?» — Голос у Донцова вдруг прервался, он склонил голову, помолчал, видимо скрывая волнение, потом выпрямился и продолжал говорить так же уверенно и твердо, как начал: — Я ответил Стебелеву: «Да, товарищ Стебелев, случилось. И не побоюсь я себя перед товарищами осудить...» Так вот в чем считаю себя виновным: во-первых, в том, что, будучи рядовым гребцом, позволил себе отдать приказ; во-вторых, в том, что мой приказ был вредным... Ну, и во всех последствиях. Словом, я грубо нарушил дисциплину, стал виновником поражения на гонках.

Донцов замолчал и сел. В лице его не было ни единой кровинки. Петров с Ташыбаевым переглянулись. Никто бы, пожалуй, не осудил Донцова с такой прямоотой и резкостью, с какой он сделал это сам. Петров уже понял, как была бы смешна и нелепа та роль защитника, к которой он себя подготавливал. Ташыбаев еще не думал о выступлении. Он просто переживал все вместе с другом.

— Товарищи, — тихо сказал, поднимаясь, Салиев, — товарищи, вы знаете, чему я больше всего рад. — Салиев обвел глазами присутствующих. Донцов вздрогнул. Ташыбаев и Петров посмотрели на Салиева с удивлением.

— Да, рад, — продолжал Салиев, — я рад честному и самокритичному выступлению Донцова. А проступок его мы осудим, как должно.

«Правильно, Донцов... Правильно, Салиев», — думал Парамонов. В это время в каюту политпросветработы вошел посыльный и, обратившись к замполиту, доложил:

— Товарищ капитан-лейтенант, вас приглашает к себе командир.

Парамонов поднялся. Теперь он мог спокойно уйти, зная, что здесь, на комсомольском бюро, все пойдет так, как нужно, и никакого вмешательства не потребует.

14

Когда у человека цельного и зрелого под влиянием внешних ли неприятностей, или внутренних переживаний рождается недовольство собой и возникает то, что в обыденной жизни мы называем плохим настроением, оно обычно не проходит бесследно и для окружающих. Всякая досадная мелочь — собственный промах или ошибка близких тебе людей, которые в иное время не вызвали бы ничего, кроме желания спокойно их исправить, задевают за живое, волнуют и сердят. Раздражение всем и вся растет. Человек, подавшийся такому настроению, особенно если он горяч по натуре, невольно, и даже бессос-

значительно, ищет предлога, чтобы взорваться. Тут не всегда помогает и длительная привычка к самодисциплине.

Именно такое состояние было у Высотина. Не будь тяжело пережитой им неудачи на гонках, Высотин вполне положительно оценил бы в общем действия экипажа «Державного» во время ночных тревог. Но сегодня он видел только теневые стороны. Медлительность Стебелева, ошибка, допущенная при тушении пожара, безучастное (Высотин его даже не видел) поведение секретаря партбюро, благодушная (так во всяком случае казалось) похвала Парамонова в адрес провинившегося Донцова — все это вышло Высотина из себя. Поэтому, едва Парамонов вошел в каюту, Высотин сказал, не скрывая ни раздражения, ни насмешки:

— Что ж, Николай Николаевич, сегодня нам предстоит разговор отнюдь не такой приятный, как при первой встрече.

Парамонов с недоумением посмотрел на Высотина. «Все еще не успокоился командир», — подумал он. У самого Парамонова, наоборот, после заседания комсомольского бюро настроение было приподнятое.

Высотин, заметив удивление в глазах замполита, еще больше рассердился на него: «Ну, конечно, чересчур благодарен мой замполит».

— Я недоволен политработой на «Державном», — раздельно продолжал Высотин. — Секретарь партийной организации бездействен. Секретарь комсомольского бюро ведет себя на ответственных состязаниях, мягко говоря, как озорник, а замполит... замполит создает в мечтах отличный корабль.

Парамонов продолжал молчать, только на лбу у него отчетливо выступили сразу набухшие жилы. Высотин бил сплеча. Как непохож он был на того спокойного, рассудительного командира, каким Парамонов, пусть за короткий срок, уже привык представлять его себе.

— Что, будем играть в молчанки? — спросил Высотин.

— Не будем, товарищ командир... Разрешите сесть?

— Садитесь.

Парамонов опустил в кресло. Он решил быть выдержанным во что бы то ни стало. Замполит посмотрел в иллюминатор. За стеклом серой пеленой простирался залив, весь в глубоких движущихся морщинах и складках зыби.

— И что у вас за странное спокойствие, — вспылил Высотин. — Тут все из рук вон плохо, а он... — Высотин не договорил фразы и закончил вопросом: — Или, может быть, я не прав?

— Отчасти правы, — сказал Парамонов и замедленным движением пригладил рукой хохолок, торчавший над лбом. — Правы в том, что Донцов совершил ошибку, и в том, что Озеров не всегда на месте, и, конечно, в том, что замполит мечтает об отличном корабле. — Парамонов снова замолчал. Высотин вышел из-за стола и стал ходить по каюте.

— А может, еще что-нибудь скажете? Или мне клепами из вас ваше мнение вытягивать? — сорвалось у него.

У Парамонова возникло острое желание поступить с Высотиным так, как поступал он со своими не в меру горячими противниками в юности, когда еще работал лесорубом в Сибири: схватить в объятия и сжимать, пока не

запросит пощады. Он даже попытался мысленно оценить физическую силу Высотина и тут же усмехнулся: «Что за чушь лезет в голову!» Хорошо еще, что командир, пересекавший большими шагами каюту, не заметил усмешки.

— Скажу вам правду, Андрей Константинович, — вдруг открыто и как-то по-домашнему просто проговорил Парамонов. — Вы сейчас раздражены, вам хочется раздражение свое на ком-нибудь сорвать. Так разве же может у нас деловой разговор получиться? Ругайте уж лучше вволю. Вытерплю. А потом потолкуем. — И Парамонов широко улыбнулся.

Высотин остановился посреди каюты и почувствовал, что краснеет. Если бы Парамонов возражал ему или даже покорно соглашался с ним, Высотин продолжал бы разговор в том же тоне, в каком начал, а может быть, и еще в более резком. Но то, что замполит сразу понял его душевное состояние и не только понял, но и высказал с незлобивой простотой то, что Высотин скрывал от самого себя, обезоружило его. Он медленно подошел к столу и сел напротив Парамонова.

— Погорячился я, — признался он, — и все-таки не тон решаю, а существо дела. Слушаю вас.

Парамонов глубоко вздохнул.

— Вот вы сказали: все из рук вон плохо, — начал он, — а мне этого не кажется. Провалились ли мы на гонках? Это еще с какой стороны посмотреть.

— С какой-ни смотри, Николай Николаевич, все одно и то же, — с горечью возразил Высотин.

Парамонов покачал головой.

— Никогда еще у нас не было так хорошо тренированных гребцов. Значит, если в будущее заглянуть, увидите — еще не одно состязание мы выиграем.

— Разве дело только в состязании?

— Нет, конечно. — Парамонов на минуту задумался. — Но теперь позвольте мне рассказать о сегодняшнем заседании комсомольского бюро, я ведь прямо оттуда.

— Все равно, рассказывайте, время у нас есть, — махнув рукой, сказал Высотин и потянулся за папиросой. «Не хочет замполит о плохом задумываться, все ищет успокоительного...»

Пока Парамонов рассказывал, Высотин глядел на залив. Можно было подумать, что его ничто не интересует, кроме ничем не примечательной и однообразной картины серого водяного пространства и силуэта дымящего парохода, движущегося вдаль. Он и в самом деле твердо решил не поддаваться тому чувству спокойной уверенности, которое хотел вызвать у него замполит. Оно должно было казаться Высотину родственным благодушию.

— Ну, много ли у вас еще таких приятных новостей? — спросил он довольно безразлично, когда Парамонов кончил.

— Больше приятного у меня нет. Есть неприятное, — вдруг резко сказал Парамонов.

— Ого! Вот это уже интересно. Так, пожалуй, дойдем и до настоящего разговора. Так кто же совершил ошибку?

— Одну — вы, товарищ командир.

Высотин посмотрел на замполита в упор. Тот спокойно выдержал его взгляд.

— Какую же?

— Повторение некоторых тревог сегодня было, по моему, неразумным.

— Значит, по-вашему, надо было примириться с ошибками? Да вы знаете, что многие совершили одни и те же ошибки дважды, что вторая тревога прошла далеко не всюду лучше первой.

— Знаю, поэтому и говорю, — продолжал Парамонов. — Если бы перед повторением тех же вводных людям успели разъяснить их ошибки, если бы тех, кто действовал отлично, во-время одобрили, а не заставили теряться в догадки, зачем они делают то же самое... Если бы...

— Хватит. И этого хватит. — Высотин снова порывисто поднялся. — Значит, по-вашему, было бы лучше, если бы я меньше требовал? Так, что ли?

— Нет, — поднялся и Парамонов. — Нет, требуйте с нас всех. Требуйте с каждым днем все строже и больше, товарищ командир. — Теперь и он, отбросив показное спокойствие, заговорил горячо. — И мы у вас будем учиться требовательности. Только не думайте, что все можно изменить в один миг, в одну ночь, одним приказом. И пусть каждый ваш приказ подкрепляется у нас той незаметной порой на глаз, но важной работой, которая скажется завтра, послезавтра во всю силу.

Высотин хмурился все больше и больше. «Что он учит меня? — Он стал подыскивать доводы, чтобы опровергнуть замполита, и сердился оттого, что не мог их найти. — Значит, Парамонов прав». Глубоко затянувшись в последний раз, Высотин погасил папиросу в пепельнице. Потом, переломив себя, сказал:

— Я согласен с вашими выводами, Николай Николаевич, — и, подумав, добавил: — Но сумеете и вы в моих словах увидеть не одну лишь горячность.

Парамонов вспомнил об Озере, о своем добродушном отношении к нему, о том, что не видел его с самых гонок. «Что же должен я сказать командиру, в чем еще признаться, что еще пообещать?» Однако Высотин сам закончил разговор:

— Недавно, помните, Николай Николаевич, вы сказали мне: «Мы стоим на пороге правильного решения», так давайте же теперь вместе и побыстрее перешагнем через этот порог.

...Когда Парамонов ушел, Высотин остановился у иллюминатора и стал смотреть не на залив, а дальше, туда, где катил свои могучие валы океан. Машинальным движением он вытащил из кармана гребешок, расчесал слипшиеся волосы, стряхнул пылинки с кителя и затем вышел в коридор.

Проходя мимо каюты секретаря партбюро, Высотин услышал доносившиеся оттуда голоса и невольно остановился.

— После гонок, когда надо было заниматься Донцовым, вы писали статью для газеты, — гремел голос Парамонова. — Во время тревог строчили какие-то планы на будущий поход, как будто все, что делалось, было для вас слишком мелким. На комсомольское бюро не пришли, снова были заняты каким-нибудь проектом? Ну, что вы писали?

— Доклад, — тихо отвечал Озеров, — задумал в воскресенье собрать людей, поговорить об общих нормах поведения на спортивных соревнованиях. Ведь это нужно.

— Эх, Озеров, Озеров...

— Разве все, что я делаю, плохо?

— Не то чтобы плохо, но как-то несвоевременно, без чувства главного, без мысли о людях.

— Но что же тогда? Может, я не гожусь?

— Должны годиться, обязаны... Вы сами, Озеров, с восторгом приняли идею о создании отличного корабля. А отличному кораблю нужен отличный секретарь партбюро!..

...Высотин прошел мимо каюты Озерова и поднялся на палубу. «А ведь есть характер у моего замполита, твердый и напористый», — подумал он.

15

В этот день Евтерев на редкость рано освободился на службе, позвонил жене, и они условились встретиться на берегу залива. День был погожий, солнечный, и гуляли Евтерева долго.

— Я хочу камешков разноцветных набрать и послать их в Москву подругам, — сказала Любаша.

Евтерев не возражал: «Камни собирать, так камни. На то и свободное время, чтобы отдыхать, как вздумается». Правда, сам он предпочел бы пораньше вернуться домой, сменить китель с тугим и твердым воротничком на просторную пижаму, а после ужина, когда жена, устроившись удобно на кушетке, включив радиоприемник, займется рукоделием, сесть за стол и еще раз просмотреть конспекты, готовясь к завтрашнему собеседованию. Однако высказать это желание жене Евтерев не решился. «Любаша и так живет затворницей, для нее эта прогулка редкая радость». Он поймал в воздухе руку жены и легонько пожал. Любаша снизу вверх посмотрела на мужа.

Держась за руки, они пошли вдоль линии прибоя. Был час отлива, и вода отступила, обнажив лобастые валуны, обросшие морской травой, и острые верхушки подводных скал, торчащие, как огромные зубья. Всюду на берегу виднелись древесные обломки — плавник, выброшенный волнами, лежали еще влажные водоросли, створки ракушечника, белели кости рыб, полузанесенные песком и галькой. Океанская даль равномерно колыхалась, блеклая на мелководье, густосиняя на горизонте. То там, то тут вспыхивали на воде солнечные искры, а порой простирались светлые полосы, будто били откуда-то изнутри лучи прожектора. И тогда еще темней казались места, где волн словно не было, где океан как бы прекратил свое движение и застыл глухими прудами.

Меж тем волны, рокоча, чередой набежали на валуны и скалы, перекатывались через них или вздымались фонтанами. Ветер нес брызги на берег.

Любаша весело подставляла брызгам лицо.

— Ах, как хорошо! Слепой дождик. Ну, право, слепой дождик! — не то прокричала, не то пропела она, таща за руку мужа.

Евтерев наглядеться не мог на жену. Такой жизнерадостной и счастливой он видел ее впервые с той поры, как они приехали в Белые Скалы. Однако он был уже слишком тяжел на подъем, чтобы поспевать за ней.

— Остановимся, Люба, камешков, что ли, поищем.

— Нет здесь камешков, — рассмеялась Любаша, разгадав хитрость мужа, — просто ты медведь, и зовут тебя Михаил Потапыч. Убегу я от тебя. — Мгновенно сбросив туфли, Любаша помчалась по самой кромке берега, только пятки засверкали. Голова у нее откинулась немного назад, за спиной болталась на резинке широкополая шляпа, синяя юбка, которую она придерживала на бегу руками, наполнилась ветром, как парус.

Евтерев пошел за ней медленно, широко во весь рот улыбался. Любаша остановилась у перевернутых вверх дном рыбацких баркасов. Чуть поодаль от них растянутые на жердях сушились сети. У самой вершины крутой прибрежной сопки, как ласточкино гнездо, прилепилась избушка. В ней, повидимому, жил сторож. На берегу никого не было. Из открытого окна сторожки доносилось брэнчание балалайки.

— Посмотри, Михаил, какая прелесть, — проговорила Любаша. На ее ладони лежала большая, величиной с чайное блюдо раковина, створки которой были полуоткрыты. Сколько в ней скромных красок: вот она серая, вот уже зеленоватая, вот почти оранжевая, а внутри голубая и белая, холодная, чистая. Любаша подбросила раковину на руке.

— А тяжела, как кубышка.

— Она и называется кубышкой, — сказал Евтерев.

— А в ней моллюск живет одинокий, как я, когда тебя не бывает дома... Ой! — Створки неожиданно захлопнулись, прицелив Любаше палец. Она затрясла рукой в воздухе, и кубышка шлепнулась на песок.

Евтерев с тревогой смотрел на руку жены, но, увидев, что на ее пальце даже кожа, почти прозрачная, не оцарапана, успокоился и вдруг, повинувшись внезапно возникшему чувству, притянул ее к себе. Любаша положила ему на губы свежую, пахнущую водорослями и морем ладонь.

Из окна сторожки высунулся молодой русоволосый парень в голубой шелковой рубашке, ухмыльнулся и, взяв громкий аккорд на балалайке, пропел на мотив «Саратовского страдания»:

— «Ах, любовь моя — томленье, что за пара — загляденье!»

Любаша вздрогнула. Лицо ее стало смущенным, а мочки ушей порозовели. Она вырвалась из объятий мужа, наклонившись, подняла кубышку и, сняв шляпу, стала бросать в нее камешки и ракушки.

Евтерев стал помогать жене. Потом они взглянули друг на друга и, увидев, что оба покраснели, расхохотались.

— Нет здесь разноцветных камешков, Люба. Белые Скалы не Крым, не Кавказ, — сказал Евтерев.

Любаша еще немного побродила по берегу и неожиданно сказала:

— Пойдем, Михаил. Пойдем домой. — Она потянула мужа за рукав.

Решив сократить обратный путь, они поднялись по тропинке мимо сторожки, чтобы выйти на дорогу. Любаша, не отрывая глаз от шляпы, которую теперь несла в руках, быстро проговорила:

— Вот видишь, — она обратила его внимание на подобранный ею на берегу и теперь лежавший поверх раку-

шек квадратный кусок дерева, изъеденный жуком-древоточцем, — совсем как ажурный ларец и просвечивает насквозь. Я поставлю его на письменный стол, пусть он напоминает о нашей прогулке у моря...

— «Ты подружка, ты дорогая, ды без тебя я изнемогаю», — донесся голос из сторожки. Еще назойливее забрэнчала балалайка.

С вершины сопки открывался вид на широкие зеленые просторы полей, пересеченных холмами, похожими издали на большие стога сена. С холма на холм серой лентой пробегала гудронированная дорога. Загородный светложелтый автобус гудел, как шмель, одолевая подъем. Вот он сделал остановку перед площадкой, огражденной низкими, выбеленными известкой столбиками, на которой стояли люди, и помчался дальше, подблескивая на поворотах широкими стеклами и никелированными частями кузова.

А оксан будто раздвинулся, стал еще величавее и прекраснее. Солнце висело низко, пронизывая воду лучами. Исчезли темные пятна на поверхности залива; волны сверкали, каждую секунду меняя оттенки. Прозрачная зеленоватая-белая пена кипела над их золотистой синевой.

Любаша с трудом отрывала взгляд от океана. Подавленная его величиной, усталая и притихшая, она, опираясь на руку мужа, медленно спускалась по широким каменным ступам к дороге.

На душе у нее было легко и радостно. И она невольно сравнила овладевшее ею чувство любви ко всему окружающему ее просторному и прекрасному миру с тем, какое она испытывала, когда шла с Гариным по ночным улицам Белых Скал. «Тогда ведь тоже было красиво, — подумала она, — но только красота была какая-то непонятная». Ей захотелось поделиться своими мыслями с мужем.

— Скажи, Михаил, почему иногда жизнь кажется такой ясной и простой, а иногда сложной и даже страшной немного?

Он посмотрел на нее, стараясь догадаться о том, что она думала. Ему тоже было сегодня хорошо с ней. И ревность, которая мучила его так часто, казалась сейчас легкой и странной, и разница в их возрасте, обычно тревожившая его, казалась как раз такой, как нужно.

— Мне кажется, Любаша, — ответил он, — надо всегда проверять, что у тебя на сердце и что у людей, которых ты любишь. И если сердца верны — ничего в жизни страшного нет.

Любаша кивнула головой. Она любила мужа таким задумчивым, даже немного сентиментальным, каким он бывал только изредка, только с ней наедине, когда не стыдился своих чувств, не скрывал их за наигранной развязностью.

Сиреневые тени лежали на тротуарах, когда Евтеревы подошли к дому. Любаша открыла калитку и остановилась на пороге. Деревья в саду светились, пронизанные последними лучами заката. От этого тени меж их стволами были мягкими и расплывчатыми, точно пар.

— Я устала, Михаил, — сказала Любаша. Она посмотрела на мужа, на его широкое, доброе лицо, озаренное мягким светом. Он стоял перед ней твердо, будто вросший в землю, большой, налитый силой, которая порою бывает притягательней красоты. — Я устала, и я очень сча-

стлива... — закончила она и, положив руки ему на плечи, потянула к себе.

Евтерев увидел ее полужакрытые глаза с вздрагивающими ресницами; он подхватил жену на руки и быстро пошел по дорожке. Соломенная шляпа, которую она держала за резинку, раскачивалась. Камешки выпадали из нее. Один, другой глухо ударились о землю, потом мелким градом застучали о ступеньки крыльца, последней выпала тяжелая раковина-кубышка, мягко скользнув по ковру.

16

Все в этот вечер было так, как хотелось Евтереву. Из приемника лилась тихая музыка, Любаша, забравшись в кресло, обметывала носовые платки, сам Евтерев сидел за письменным столом, обложившись книгами.

На подоконнике лежала раковина-кубышка, на тумбочку был водружен напоминавший ажурный ларец обломок плавника, изъеденного древоотцем.

Любаша встала, включила электрический кофейник, подошла к буфету, достала чашки, масленку, тарелку с нарезанной тонкими ломтиками колбасой, все это расставила на столе. Заглянув через плечо мужа, сказала ласково:

— Покушаем и будем спать.

Евтерев кивнул головой. «Вот оно, семейное счастье», — подумал он.

Резко зазвонил телефон. Евтерев снял трубку. На его лице отразилась досада.

— Что случилось, Михаил?

— Мне необходимо ехать в порт.

Он вышел в спальню переодеться. Когда он возвратился в столовую, Любаша, уткнувшись в подушку, лежала на кушетке. Евтерев присел рядом, взял жену за плечи.

— Ну, что с тобой? Я скоро вернусь. — Он повернул ее лицом к себе. Глаза у Любаши были красные, волосы растрепались.

— Опять я одна, одна и одна... — Любаша, отстранив его руки, снова повернулась спиной к мужу.

Евтерев украдкой посмотрел на часы. Надо было торопиться.

— А какой хороший был день! — сказал он со вздохом.

— И ты его испортил, ты, а не я.

— Но ведь я же не виноват, Люба, послушай-ка, поди к Золотовым посиди, они ложатся поздно. — Он хотел успокоить жену, но она чувствовала только, что он торопится ее оставить, и это ее раздражало все больше.

— Золотовы в кино ушли, вместе ушли, слышишь, вдвоем! — Теперь она уже сидела на кушетке, сердито поджав губы.

— Ты говоришь «вдвоем» и сердисься. А ведь Золотов реже меня бывает дома. И поскольку я знаю, Полина Васильевна...

— Что Полина Васильевна? — перебила Любаша. — Тоже одна дома, по-твоему, сидит? Да что говорить, иди уже, иди, вижу — на часы посматриваешь.

Евтерев вздохнул. Он хотел во что бы ни стало избежать ссоры.

— Ну, а вот Высотин, с которым я тебя недавно познакомил, — он вообще живет на корабле.

— Ну, каков мне до него дело? — Любаша хлопнула рукой по валику у изголовья кушетки и вдруг вскрикнула, наколовшись на оставленную в рукоделье иглу. Это ее окончательно вывело из себя.

— Золотов и Высотин за корабли отвечают. А ты интендант. Подумаешь, срочные дела!

— Вот как?

— Да, вот так!

Евтерев махнул рукой, схватил плащ-пальто и вышел, хлопнув дверью.

Он мог понять, почему расстроилась Любаша, мог понять, что без него ей будет скучно, наконец, тоскливо, одиноко. Но для чего она, еще час назад милая и любящая, сейчас стремилась его обидеть и задеть как можно больней. «Капризы? Нервы? Или в самом деле чего-то очень важного в ее жизни нехватает?»

В интендантстве, однако, о семейных делах пришлось сразу забыть. Дежурный офицер доложил Евтереву, что по приказу командующего часть кораблей соединения на рассвете уходит в море.

Евтерев направился в свой кабинет. В узком коридоре, которым он проходил, пахло клеем и сургучом, тускло светились электрические лампочки в люстре под потолком. Бесперывно хлопали двери. Младшие офицеры и писари, вызванные дежурным, уже сидели на местах, листая учетные книги, щелкая на счетах. Дробно и резко стучала циплющая машинка.

Обычно всякий выход корабля планировался заранее, и Евтерев узнавал о нем заблаговременно. Но сегодняшний приказ контр-адмирала был полной неожиданностью. Видимо, Серов решил проверить не только готовность кораблей, но и гибкость органов снабжения. Евтерев это отлично понимал; как человек военный, он привык к неожиданным и ответственным заданиям и даже по-своему любил их.

Он испытывал в трудной, напряженной, всецело поглощающей работе какое-то особое удовлетворение.

Евтерев, весь внутренне подобравшись, сел за свой письменный стол и вынул папки с бумагами. Вспомнив разговор с Высотиным, усмехнулся: «Ну что ж, повоюем кастрюльками, мылом, ветошью».

Вооружившись приказами, табелями снабжения по шкиперскому и вещевому имуществу, нормами по продовольствию и топливу, Евтерев пододвинул к себе стопу заявок. Конечно, он мог бы не заниматься лично рассмотрением каждого бланка требования. На то были поставлены младшие офицеры-интенданты и писари. Но сегодняшняя деловая служба напомнила ему военные годы. И он мысленно представил себе, что не кто-нибудь другой, а он сам поведет корабли в море, что не для кого-нибудь другого, а для него самого в сотнях миль от берега, от базы, в непогоду или шторм особую ценность будет представлять каждая бухта троса, каждый лишний килограмм пакли, каждая тонна мазута.

Он вычеркивал из заявок краску и посуду, требуемые сверх норм (без лишней посуды можно обойтись, а рачи-

тельный хозяин не красит корабль в море), и сам дописывал то, что, по его мнению, было необходимо: новые брезенты и обвесы, чехлы на орудия и приборы, необходимые в походе; он приказывал выдавать лучшее сливочное масло, замочить сухари галетами, некоторое количество сахара — шоколадом.

Но вот на глаза Евтереву попала заявка «Державного». Из шкиперского имущества корабль запрашивал только несколько метров парусины. Это так поразило Евтерева, что он поднялся из-за стола и выглянул в коридор. Там среди корабельных хозяйственников, прислонившись к стене, стоял, покуривая ус, Головенченко.

— Сегодня у них аврал, в спешке снабженцы чего хошь дадут, — говорил стоявший рядом с Головенченко худенький старшина с рыжеватыми бачками, — требуй так, чтоб твердость была видна. Верно я говорю, товарищ главный старшина?

Головенченко сердито засопел и ничего не ответил.

— Боцман с «Державного», зайдите ко мне!.. — крикнул Евтерев.

Увидев Евтерева, в коридоре притихли. Старшина с рыжеватыми бачками, проводив Головенченко взглядом, вздохнул и сказал: «Этот из положенного запаса на год выкроит. Из одной шубы три сошьет. Как же, особое почтение».

— Что ж это вы, ни в чем не нуждаетесь? — спрашивал Евтерев.

Головенченко отрицательно замотал головой.

— А ведь чехлам вашим срок уже вышел, разве не нужны новые? И паляя есть? И рукавицы брезентовые?

На каждый вопрос боцману все труднее было отвечать. Никогда еще он не был в таком затруднительном положении. «Интендант предлагает, а боцман: «не хочу». Такое только в сказках бывает».

Евтерев тоже был удивлен. Все, что он предлагал, было положено кораблю по табелю.

Головенченко переступил с ноги на ногу. Он охотно взял бы и втрое больше. Да только вчера командир корабля вместе со старшим помощником осмотрели его хозяйство и нашли, что обвесы и чехлы были в хорошем состоянии — не хуже новых.

«Умеете, Головенченко, беречь имущество», — сказал Высотин, а Кипарисов даже посмеялся над скопидомством Головенченко: «Хватит вам, боцман, трястись над клочком пакли и ветоши, а то придется снова сдавать излишки». Головенченко тогда обиделся, но Высотин заметил это и ободрил его: «Замечательно, боцман, право, замечательно! Быть вам застрельщиком большого дела — экономии государственного имущества на корабле».

— В общем обойдемся, — сказал Евтереву Головенченко хриплым от волнения голосом. — Хоть своя ноша и не тянет, да... — Он не договорил.

В глазах боцмана Евтерев увидел муку. Он протянул подписанное требование Головенченко. Тот повертел бланк в руках, сделал шаг к двери, остановился, заколебавшись, потом решительно возвратился к столу.

— От брезентовых рукавиц не откажусь, товарищ подполковник, — сказал он. — На матросские руки они надобны...

Евтерев кивнул головой.

Покончив с заявками, Евтерев поехал на своей «Победе» по складам и пирсам. Всюду, несмотря на ночное время, кипела работа. На рельсах узкоколеек у складов стояли цистерны с мазутом и соляром, топливо из цистерн перекачивали в нефтеналивные баржи, пришвартовавшиеся у пирса. У одного из причалов шла разгрузка прибывшего транспорта с продовольствием. Из большого здания, где находился холодильник, грузили на машины и отправляли кораблям свежее мясо и рыбу.

Огромное хозяйство открывалось перед глазами Евтерева. «Интендант, — вспомнил он слова Любаши и усмехнулся. — Откуда это у нее? Откуда? Да ведь от меня!» — Евтерев даже схватился руками за голову.

Ну, конечно, это он сам давно привил ей пренебрежительное отношение к снабженцам.

Как неохотно принял он назначение в интендантство! Как неприятно, несерьезно казалось тогда ему, боевому офицеру, заниматься счетами, накладными, бухгалтерскими книгами! Даже в последнее время, когда работа помимо воли начала все более и более увлекать его, Евтерев не хотел признаться ни себе, ни другим в этой заинтересованности. Он продолжал, как это было в разговоре с Высотиным, пренебрежительно отзываться о новой службе.

«Эх, дуб я, дуб, — подумал Евтерев, — сам под собой корень рубил. Да разве я нынче меньше того же Андрея или Терентия Ивановича на флотских весах тяну? Нет, шалишь!» Он посмотрел на далекие цепочки корабельных огней в гавани. Стоящие там корабли смогут уйти в океан на рассвете потому, что он, Евтерев, трудится сегодня ночью.

«Чорт побери, не грех и интенданту голову высоко носить», — подумал он.

Евтерев еще долго пробыл на пирсе, разговаривал с людьми, заходил в складские хранилища; надев комбинезон, заглядывал в цистерны, чтобы лично убедиться, до последней ли капли выкачано из них горючее, торопил грузчиков, давал указания кладовщикам.

Было далеко за полночь, когда он отправился в штаб, чтобы доложить командующему о выполнении приказа. Серова он, однако, не застал. Оперативный дежурный сообщил Евтереву, что контр-адмирал вместе с начальником штаба отбыл на один из кораблей, стоящих на рейде.

Евтерев, выйдя от дежурного, встретил знакомого ему флагманского механика и разговорился с ним о новых сортах машинных масел, прибывших на склад. Вместе они направились по коридору. Их остановил начальник политотдела, стоявший на пороге своей каюты.

— Зайдите, Михаил Сергеевич, — сказал Звенигоров радушно, — слышу ваш бас, думаю, не иначе, это наш интендант рапортует о своих успехах. — Звенигоров засмеялся. — Как самочувствие?

— Отличное, товарищ капитан первого ранга, — ответил Евтерев браво, — и хотя у него уже давно болела голова и шумело в ушах (давала себя знать полученная на фронте контузия), он сейчас ни за что бы не сознался, что не чувствует себя молодцом.

— Верно, — согласился Звенигоров, поняв настроение Евтерева, — выглядите вы отлично. — Начальник полит-

отдела будто и не замечал ни мучнисто-бледного цвета лица интенданта, ни его воспаленных зрачков. — А я вот только что вернулся с заседания горсовета. Обсуждали сельскохозяйственные вопросы... Вы читали, Михаил Сергеевич, опубликованное на-днях Постановление Совета Министров и ЦК нашей партии «О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов»?

— Как же, читал, — ответил Евтерев не задумываясь, — большая, скажу, программа выдвинута перед гражданскими товарищами.

— Почему «перед гражданскими»? — переспросил Звенигоров. — Только ли перед ними?

— Нас, как военных, практически это мало касается, — сказал Евтерев. — Мы ни в заготовках, ни в уборке не участвуем.

— Вот как вы думаете! — Звенигоров прошелся по каюте, остановился перед Евтеревым и сказал: — Вытащите-ка свою записную книжку.

Евтерев послушался, еще не зная, чего хочет начальник политотдела.

— Теперь садитесь за стол и запишите: всем работникам интендантства глубоко изучить Постановление. Провести читку. Организовать лекцию. Проверить знания. Подполковнику Евтереву в ближайшие дни побывать в колхозах. — Звенигоров сделал длинную паузу, выжидая, пока Евтерев все запишет. — А потом, Михаил Сергеевич, очень скоро, сразу же после вашего возвращения, мы еще потолкуем и по поводу нашего участия и по поводу еще кой-каких вещей, небезинтересных для флота, — закончил он.

Звенигоров снял трубку и вызвал дежурного по каюте.

— Прибыл командующий?

— Идите, контр-адмирал вас ждет! — Звенигоров протянул Евтереву руку.

«Победа» мчалась, разрывая светом фар ночной мрак. Евтерев, задумавшись, сидел рядом с шофером. «Что же, придется поехать в колхоз, побывать на полях и даже, наверно, помочь колхозникам».

Дорога круто петляла между портовыми пагаузами, и молодой месяц оказывался то справа, то слева от машины, потом он скрылся за сопкой и вдруг, словно из воды вынырнул, низко повис над гаванью. От него протянулась сверкающая дорожка по темной воде, по влажному гудрону дороги, на мгновение она вспыхнула под колесами автомашины. Шофер на полном ходу свернул на Морской проспект и вдруг резко затормозил. На дороге стояла женщина с поднятой рукой. Евтерев, выскочив из машины, узнал Любашу.

— Ты что здесь делаешь?! Ведь мы могли задавить тебя!

— Не сердись, Михаил, я была такая дура, такая дура, так обидела тебя! И потом не могла уснуть. Я ждала у калитки, долго ждала, а потом пошла навстречу. — Все это Любаша выпалила скороговоркой, взяв мужа под руку.

Евтерев растроганно сказал:

— Чудная ты у меня, право, чудная...

(Продолжение следует)

Редактор *В. Ильинков*

Подписано к печати 7/VI 1953 г. А-03615. Тираж 500 000. Бумага 84×108¹/₁₆ =
= 3 бум. л. — 9,84 печ. л. Учетно-авт. л. 14,98. Заказ № 738.

2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома Главиздата
Министерства Культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вышли из печати:

РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Авдеев В. Ф. Повести и рассказы.

М. 160 стр. 2 р.

Асеев Н. Н. Избранные произведения в двух томах.

Том 1. Стихотворения. М. 228 стр. 6 р. 35 к.

Том 2. Поэмы и переводы. М. 224 стр. 7 р. 40 к.

Бажов П. П. Сказы.

М. 112 стр. 1 р. 40 к.

Бахметьев В. М. Избранное. (Повести и рассказы. — Преступление Мартына. Роман).

М. 808 стр. 14 р.

Васильев С. А. Стихи и песни.

М. 144 стр. 2 р. 75 к.

Гудзенко С. П. Дальний гарнизон. Поэма.

М. 116 стр. 2 р. 25 к.

Замятин В. Д. Поэмы и стихотворения.

М. 139 стр. 5 р. 25 к.

Кирсанов С. И. Макар Мазай. Поэма.

М. 96 стр. 2 р. 20 к.

Михалков С. В. Сатира и юмор. (Басни и стихи).

М. 62 стр. 45 к.

Новиков И. А. Пушкин в изгнании. Роман.

М. 768 стр. 13 р. 25 к.

Павленко П. А. Рассказы.

М. 128 стр. 1 р. 50 к.

Петровский Д. В. Повесть о полках Богунском и Таращанском.

М. 387 стр. 8 р. 20 к.

Светлов М. А. Избранное.

М. 176 стр. 4 р. 85 к.

Седых К. Ф. Даурия. Роман. (Части 1—3).

М. (Библиотека советского романа). 444 стр. 8 р. 40 к.

Сергеев-Ценский С. Н. Севастопольская страда. Эпопея.

Том 2. Части IV—VI. М. 591 стр. 11 р. Том 3. Части VII—IX. М. 672 стр. 12 р. 35 к.

Тихонов Н. С. Два потока. — На втором Всемирном конгрессе мира. (Стихи).

М. 76 стр. 1 р. 15 к.

